

ЯНКА КУПАЛА



Олег
Лойко



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Annotation

Книга известного белорусского поэта, критика и литературоведа Олега Лойко воссоздает жизненный и творческий путь одного из самых выдающихся представителей литературы республики, народного поэта Янки Купалы. Широко используя документальный материал, привлекая архивные источники и воспоминания современников, автор показывает неотделимость судьбы великого поэта от исторических судеб Белоруссии XX века.

Книга посвящается 100-летию со дня рождения Янки Купалы и 60-летию образования СССР.

[Адаптировано для AlReader]



FB2 книгу сделал mefysto

-
- [Олег Лойко](#)
 -
 -
 - [ВЕЛИКИЙ ПЕСНЯР](#)
 - [ВМЕСТО ПРОЛОГА](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)

- [ПОСЛЕСЛОВИЕ](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)



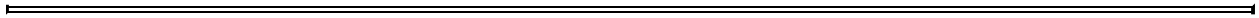
- [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [INFO](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)

- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)

- [48](#)
- [49](#)



ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 13

630

Олег Лойко

ЯНКА КУПАЛА



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

*

Авторизованный перевод с белорусского
Г. Ф. Бубнова (главы первая — девятая)
и *И. Т. Бурсова* (главы десятая — двенадцатая).
Переводы стихов в указанных главах,
кроме оговоренных в примечаниях,
Г. Ф. Бубнова и И. Т. Бурсова

Предисловие народного писателя Белоруссии,
Героя Социалистического Труда *Ивана Шемякина*

Рецензенты:
вице-президент АН Белорусской ССР, академик АН БССР *И. Я. Науменко*, председатель Совета по белорусской литературе СП СССР, старший научный сотрудник ИМЛИ имени А. М. Горького, профессор *А. И. Овчаренко*

© Издательство «Молодая гвардия», 1982 г.



Анка Урнара.

ВЕЛИКИЙ ПЕСНЯР

Давно уже белорусская общественность, читатели говорят о необходимости восполнения нашей литературы художественными биографиями замечательных просветителей — Франциска Скорины, Симеона Полоцкого, Кастуся Калиновского, Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича...

Вызывало удивление, что до сих пор не вышло ни одной подобной книги ни у нас, ни в «Молодой гвардии» — в прославленной горьковской серии «Жизнь замечательных людей».

А между тем современный уровень белорусской литературы, утверждение в ней большого отряда всесоюзно известных прозаиков, поэтов, критиков вселяли надежды, что силы, готовые к созданию соответствующих книг, книг-памятников, есть.

Вот почему с особенным вниманием, с наилучшими надеждами я принялся за чтение книги Олега Лойко — литературоведа и критика, доктора филологических наук, профессора Белорусского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета имени В. И. Ленина, автора шести монографий, двухтомной истории белорусской литературы дооктябрьского периода и, что не менее важно, — поэта, известного по стихотворным сборникам, выходящим как в Минске («Если в дороге ты», 1970; «Скрижали», 1981), так и в Москве («Моя планета», 1971; «Расколдованное Полесье», 1976; «Немига», 1981). С углублением в чтение мои надежды переросли в радость, в добрую творческую зависть. Это, безусловно, удача! Книга написана горячим сердцем человека, влюбленного в творчество Купалы, высокой эрудиции, вдумчивого исследователя — литературоведа и историка, что в деле создания художественной и научной биографии такого выдающегося, но и сложного в своей деятельности, в своем творчестве и миропонимании поэта (каждый великий поэт — явление сложное, противоречивое) имеет особенное значение.

Мне кажется, что книга потому и удалась, что написал ее хороший поэт, серьезный ученый, проникнувший в тайны купаловской поэзии, сумевший по стихам, по их настроению, времени и месту написания восстановить с точностью, которая не вызывает сомнения, многие факты биографии Купалы, его взаимоотношений со своими современниками, людьми разных политических взглядов, ориентаций — и таких, как Колас,

Буйло, Игнатовский, Тарашкевич, которые верно служили народу во все периоды его революционной истории, и с теми, кто, испугавшись Октября, оказался за пределами Родины или скатился в националистическое болото.

Хочется особенно подчеркнуть именно это качество книги Олега Лойко — ее историческую достоверность не только там, где она подтверждена документами, но и в тех случаях, где документов нет, не было их или же они утрачены и автору своей фантазией, исследовательской интуицией, знанием эпохи надо было восполнить эти «белые пятна». Олег Лойко делает это не на путях романного вымысла, но опять же на основе документов — стихотворений, поэм, драм. Автор верит в давнишнюю истину: биография писателя — это его произведения. У такого исключительно искреннего и правдивого поэта, каким был Купала с первого своего стихотворения «Мужик» и до последнего поэтического клича «Белорусским партизанам», написанного незадолго до его трагической смерти, это действительно так. Нужны тонкое чутье поэта и глубокая пронизательность исследователя, чтобы проделать подобную работу и сделать ее на высшем уровне.

Правда, нельзя не отметить, что подспорье документов не могло не отразиться на стилевой особенности книги. Вторая часть ее более романная, конфликтная, динамичная, первая — ближе к литературоведческому исследованию. Но самое главное, что книга есть, — исторически достоверная, правдивая, искренняя.

Книга Олега Лойко о Янке Купале выходит в год 100-летия со дня рождения народного поэта Белоруссии — большого праздника белорусской национальной культуры, который по решению ЮНЕСКО отмечался во всем мире. Думаю, что это будет еще один достойный памятник Великому Песняру, равный тому, который стоит в Минске, в Купаловском сквере, работы А. Аникейчика. С той только разницей, что тот — в бронзе, а этот — в живом взволнованном слове, которое придет в дома многих тысяч читателей Белоруссии и всех братских советских республик. И, что тоже глубоко знаменательно, произойдет это в год 60-летия образования Союза Советских Социалистических Республик.

ИВАН ШАМЯКИН,

народный писатель Белоруссии,

Герой Социалистического Труда

ВМЕСТО ПРОЛОГА

Каждое новое столетие по-особенному ждет солнца, по-особенному радуется молодому месяцу. Однако виден или не виден был в ночь под 1900 год молодой месяц над одиноким хутором Селищи, затерявшимся среди холмов и перелесков центральной Белоруссии — на Минщине, — об этом не узнать уж сегодня. Но что вся семья Луцевичей — ее глава, муж и отец Доминик Онуфриевич, его жена и мать его детей Бенигна Ивановна, два их сына и пять дочерей — была счастливой оттого, что все они вместе — за одним столом, под одной крышей, — об этом можно сказать определенно. И еще определеннее, что самому старшему сыну Луцевичей, Ясю, шел в ту ночь восемнадцатый год, и никто из застольников не подозревал, что новое столетие вместе с ними встречает будущая слава Белоруссии, Народный ее поэт, чье имя станет одним из символов белорусской земли. И не знал никто из Луцевичей тогда и того, что в XX столетии им — всем за одним столом — больше уже не собираться. А еще Ясю неведомо было, сколько радости и сколько горя отпустит ему грядущее столетие и что люди, с которыми столкнет его судьба счастливая и судьба злосчастная, — одни уже есть на свете, иных еще нет...

Отец и мать сидят умиротворенные, нежно поглядывая на всех своих семерых детей. А Яся что-то беспокоит, Ясю отчего-то не терпится, и он время от времени Всматривается в застекленное темнью окно. «Вот обожду чуток при отце, при матери, — думает, — и...» Ясю чудится какой-то необыкновенный цветок — не ландыш, не шалфей, даже не светоянный [1]... Что за цветок чудится Ясю, не знают о том ни отец, ни мать. А сын все поглядывает в окно, и сердце его гулко бьется в тревожном и сладком предчувствии чего-то такого, о чем он словами пока сказать не может, но что влечет его, тянет с невероятной силой, воспротивиться, не подчиниться которой не во власти Яся. Не во власти Яся справиться с собой, укротить свою мысль, смирить слух, жаждущий услышать неслыханное, отворотить глаза, стремящиеся увидеть невиданное, сдержать руки, рвущиеся тронуть нетронутое. О цветке же, неодолимо его манящем, Ясь одно знает: он должен быть цветком счастья — счастья для себя и каждого, для всех людей на свете. Счастья вечного, как солнце, как небо, как пути-дороги под ними...

Что и говорить, необычная это дата — начало столетия. Ведь в самом деле, разве в сердце каждого человека, вступающего в новый век, не

возникает чувство, будто он снова в начале начал, будто снова на земле все начинается возникать впервые, как огонь, как вода...

Впрочем, все на этом свете начиналось у Яся Луцевича, как у всякого другого человека, со дня его рождения, хотя, как у всякого человека, час и место рождения остались точно в темноте. Вязьинки — небольшой хатки над небольшой речушкой, где вязали плоты, отсюда и название места — Ясь не помнил вовсе. Вышел из нее, как из ночи... Он вроде и видел из колыбели низкий потолок над собой и вроде не видел; видел с рук матери Бони и няньки Агаты Сай в небе солнце, звезды, тучи, на земле — деревья, траву, сверкающую гладь пруда и унылую громадину курганища и не видел. Так когда же Ясева настоящая жизнь началась?..

Не вечен ты, человек, и вроде бы вечен. Ибо разве не началась в Вязьинке Ясева жизнь уже с теми жизнями, что там когда-то рождались — задолго-задолго до него, Яся? И разве не будут люди жить там, в Вязьинке, когда про него, Ивана Доминиковича Луцевича, уже никто и не вспомнит? Разве не отзовется его душа когда-нибудь в ком-нибудь, как порою в нем самом вдруг пробуждаются голоса, им не узнаваемые? Или это, может, Ясю так лишь кажется?..

...Спустя полвека люди раскопают Замэчек — курганище подле хаты, в которой появился на свет Иван Доминикович Луцевич, — первобытную стоянку человека второго столетия нашей эры. Откроются археологам шесть срубов, в которых когда-то горели огни очагов, у которых люди грелись, на которых что-то жарили, пекли, а в глиняных посудинах закипала вода. Не голоса ли жителей этого черного селения слышал через столетия рожденный возле их курганища Ясь? Не на их ли зов и стремился он вдаль?..

— Что молчишь, сынок? — спрашивает отец.

— А разве я молчу? — удивляется Ясь.

Действительно, разве он молчит, если думает, если ждет, глядя в законную темень, что вот подойдет сейчас Незнакомец, постучит в окно, позовет...

Но в окно стучал пока лишь один северный ветер. Он рвал солому на стрехе, солома таинственно шелестела над окошком, над причудливыми, дивными узорами, вышитыми на стекле морозом. «Не тот ли это цветок? — согревая своим дыханием стекло, думал Ясь и дивился: — Когда же на самом деле расцветают цветы — летом или зимой? И как назвать для себя самого цветок своего счастья, цветок счастья всех людей?..» Ответов на эти вопросы у Яся еще не было, но было одно из самых радостных чувств: «Как хорошо, что у меня еще все впереди! Как хорошо!..»

Глава первая

КОГДА РАСЦВЕТАЕТ ПАПОРОТНИК?

На Соборную площадь, и в этот весенний день молчаливо-застылую, патриархально-величественную, Ясь Луцевич ступил чуть ли не с прежней детской робостью, даже растерянностью. Хотя... чего, собственно, теряться, робеть? Когда он бегал тут мальцом лет десяти, все ему казалось тогда огромнее, незыблемее. На ратуше, полновластно отсчитывая время, били часы, и он поневоле сдерживал шаг под аркадой ратуши, которая представлялась ему волшебным обиталищем вечности, а часы — мерилем чего-то такого, что выше и медленнее облаков в небе, и стоящего над самой головой июньского солнца, и круговорота звезд в полночь. Не по себе тогда было Ясю и от угрюмо обступающих со всех сторон Соборную площадь колоколен; и от почернелых, вековых монастырских громадин; и от мысли, что где-то здесь, в одном из толстостенных, неприступно-парадных зданий, сидит первый человек губернии, самый главный тут после царя. Это о нем говорил отец: «Хоть и рядом, а далеко...»

Отец... Уже три года нет отца. А как оставил Минск, не найдя в нем счастья, так и все тринадцать минуло. Надежда у отца была тогда на коня. Но возчик-бологол остался гол как сокол — горько шутил отец. Быть возчиком, да не быть лакеем — опять же, как разбогатеть? К тому же отец — ладный, рослый, неутомимый говорун и весельчак, человек тороватый — мог все, до последней копейки, отдать первому встречному — только разжалоби его, а что самому давали ездоки, никогда не пересчитывал. Где уж при такой натуре разжиться на извозе! И пришлось вернуться к более привычному, традиционному для рода Луцевичей промыслу — к арендаторству^[2]. Арендаторство отец предсказывал и своему старшему сыну Ясю. Он окончательно изуверился в Минске, изуверился и в науке, налегать на которую заставлял тут Яся не только добрым словом, но и уздечкой. А потом отец, видимо, согласился с матерью; «Может, жому с книги хлеб и есть, но не сыну арендатора, да еще в такое лихое время...»

Чаю же, однако, задумал Ясь? Что сказал бы на это отец? Мать что сказала бы, Ясь знает, как знал тогда, когда впервые покидал хату — ее, материнскую...

В действительности же хата матери не принадлежала — она принадлежала пану Войтеховскому, у которого вдова Луцевич ее снимала в

аренду — на время. Однако решетке Яся оставить хутор Селищи и податься бог весть куда было для Бенигпы Ивановны, или нани Бони, как называли ее в округе, решением сына оставить именно ее, материнскую, хату. Сначала пани Бонн прикрикнула на Яся — не помогло. Тогда принялась укорять — тоже впустую. Тогда замкнулась в себе, как и сын, замолчала чуть не на неделю.

Ясь матери у порога коротко сказал:

— Пойду!

Мать, как стаяла лицом к печи, не шелохнулась. Он помедлил было, рукою нащупывая позади себя холодную дверную скобу. Думал: мать все же отвернется от печи, глянет в сторону двери. Не отвернулась. Не глянула. Переступил через порог, выходя из хаты спиной, увидел: к окну припала — растерянная, слезы по щекам — старшая из сестричек Лёля. Резко повернулся на солнце и, не оглядываясь, пошел.

Ясь хорошо помнит: не смерть отца толкнула его за порог — в неведомый, огромный мир. Не она...

Отец лежал на скамье — вытянувшийся, побритый, — головой в угол, ногами к двери. Лежал не в своей хате, замученный жизнью, безвременный покойник: он прожил всего пятьдесят четыре года.

Ясь силился запомнить лицо отца — суровое, даже величественное в своей застылости, точно святое. Но глаза Яся застилал туман. Туман спадал, и он видел, как плачет одними плечами мать — слез уже не было. Туман снова напелзал, обволакивал, и отцово лицо начинало казаться Ясю живым. Но почему же оно, расплываясь, двоится, троится?.. Ясь напрягает зрение, силясь удержать перед глазами лик отца. Но тщетно... Становится страшно: что это?.. Целый сонм голов! Он узнает помещиков Здоховского, Жебровского, Высоцкого, Тарчинского... А вон и головы их жен, их детей, их внуков — всех, на кого всю свою жизнь гнул его отец, Доминик Луцевич. Головы выскакивают из тумана точно гончие — с разинутыми пастьями, с огненными языками. И каждая требовательно визжит, каждая норовит золотыми челюстями вгрызться в отцово тело. А впереди всех голова Стефана Достоевского, владельца сенненской, под Минском, усадьбы, минского губернского писаря. В зубах головы пана Стефана — трешница. И эту замусоленную трешницу она сует почему-то в руки Яся, а не в сложенные на груди руки отца. «Я не ваш управляющий! — кричит Ясь голове пана Достоевского. — Я — сын Доминика!..» Но голова насаждает, властно шипит: «Idź!» — «Куда идти?» — «Bierz trzy ruble! Idź kup stryczek...»^[3] Иди на счастье купи веревку, на которой повесился арендатор у соседа-помещика. Купи на счастье ему, пану Достоевскому!

О, пан Достоевский знает секрет человеческого счастья. Он не станет, как последний дурень, искать его в пуще на Купалье!

А это уже голос его, Ясика, — голос хлопчика из далекого Купалья, которому так хотелось, чтоб ему спели. И Ясик слышит:

*Зашло солнце,
Взошел месяц,
А нашего пана
Ведут вешать;
Пусть ветер обвеет —
Авось подobreет...*

«Авось подobreет...» — подпеваает Ясик батраку Андриюша — своему одногодку. И что, что это творится, со всеми этими Здоховскими, Высоцкими, Тарчинскимц Достоевскими?! Головы их начинают испаривать серыми мыльными пузырями, вкатываться в туман, таять вместе с туманом — на земле остается одна мокрядь... И как бы спадает с глаз Яся обморочная завеса — перед ним опять лишь отец-покойник. Но Ясь еще долго-долго не может прийти в себя...

Решения податься в люди не было и тогда, когда брат и две сестрички умерли. Ясь чувствовал себя таким виноватым, что даже плакать не мог. Ксендз был в черном, как все ксендзы, и была серая, печальная осень. Хоронили детей не в Селищах, потому что хуторяне-арендаторы как не имели своего жилья, так не имели и своего кладбища. Хоронили умерших в селе со странным названием Корень, странным, потому что все тут, казалось бы, должно корениться, расти, а не находить себе вечное успокоение. Но как раз в этом селе был костел, при костеле — кладбище, вот и хоронили.

Брат Казя умер неделей раньше от скарлатины. Скарлатина задушила и сестричек — Сабинку и самую любимую Ясем веселунью Гелечку. А еще ведь и полгода не прошло, как хоронили отца. Мать ходила как тень: казалось, ветер подует, и она упадет. Ясь поддерживал мать под руку. Опора, какая горестная он ей опора!..

Ксендз отпевал, как обычно. Возвышенно и мелодично звучала его непонятная латынь, и не поддаваться ее очарованию даже в этом своем непоправимом горе Ясь — напрасно силился — не мог. Но вот затихло в разлапистых кладбищенских соснах эхо отпевания, и ксендз подошел к Ясю:

— Za dwie głowy biorę jak za dwa pogrzeby...^[4]

Ясь, может, и равнодушно отнесся бы к словам особы в сутане, потому что, как и отец, не дрожал над рублем, тем более не стал бы торговаться здесь, над святыми, оплаканными им и матерью могилами. Но столько денег, сколько затребовал ксендз, у Яся не было: все, что нашлось в хате, он отдал врачам. Он и мысли не допускал, что врачи окажутся бессильными и ему придется везти сюда, под кладбищенские сосны, сразу два обитых изнутри голубой материей гробика. Ясь, потрясенный горем, никак не мог сейчас уразуметь, почему была одна панихида, а платить надо за две? Неужели два эха пошло по соснам от равнодушной ко всем Ясевым бедам латыни?

Чуть ли не впервые, окидывая взглядом обрюзгшую, толстую фигуру ксендза, Ясь рассматривал в лицо черное. Он одолжил денег тут же, на кладбище. Ксендз остался доволен. Но теперь Ясь мог оспорить кого угодно: не могила родила бога, нет! В могилах двух его сестричек бог для Яся умер навсегда. Это было прощание с небом. Нет, не с солнцем, не со звездами, не с голубой высью. С небом, которым торгуют ксендзы — те, кто обещает рай «во облацех», а тут, на земле, проповедует покорность, смирение, столь умиляющие их слезы. Долой же обман, рядящийся в черный цвет скорби!..

Что-то непримиримое, отчаянное гневом и болью kloкотало в его сердце. И совсем неожиданно эхо этого гнева, этой боли своей Ясь услышал на одной конспиративной квартире в Минске, услышал в словах тех, кого в душе окрестил шальными головами.

Не без боязни, как и сегодня, собирался Ясь Луцевич в тот дом. Дом находился не в центре, как этот, куда он шел сейчас, а на окраине — тихий, скрытый от посторонних глаз густорослым вишенником. Но и в тот дом и в этот Яся подбил пойти один человек, которому он всецело доверял, который хоть и был на конспиративной квартире своим, но шальной головой Ясь его не назвал бы. Тогда в потайной комнатке за самоваром произносилось много речей, и столь пламенных и страстных, точно ораторы собрались весь мир перевернуть вверх тормашками. Тогда, казалось, каждую минуту могли ввалиться жандармы и потащить туда, откуда уже нет возврата или, по крайней мере, трудно вырваться. Ясь, если ему честно себе признаться, и впрямь этого побаивался. Но шальным головам страх, казалось, был неведом. И. не с того ли дня страх перед огромным миром стал неведом и ему, Ясю?.. Хотя так ли уж неведом, если он робеет, теряется на этой улице?..

Дом Дворжица на Губернаторской улице Ясь нашел быстро. Однако

сразу переступить порог этого дома не решился и теперь медленно — взад-вперед — прохаживался мимо застекленной парадной двери — массивной, двустворчатой, с наложенными на стекло причудливыми узорами металлической оковки. Поначалу в этой оковке Ясь увидел острогрудые алебарды, сторожащие вход в здание. Затем она показалась ему нагромождением — ряд над рядом — серпов: из одной ручки — по два серпа дугами в разные стороны, а посреди — из той же ручки, клювиком вверх — острая пика. Но вот и серпы эти вовсе уже не серпы, а распутившиеся бутоны, в чашечках которых — самые обыкновенные тычинки. Хотя нет, это же месяцы, как он сразу не сообразил! И вот уже то слева одновременно всходили месяц молодой и месяц на ущербе, то справа. Сызмала Ясь от матери слышал: увидеть прямо перед собой молодой месяц — на счастье. Но упаси боже увидеть его, глянув через левое плечо! А тут — и молодой месяц, и — на ущербе. Что-то они пророчат? «А, wszystko jedno»^[5], — отчаянно крутнулись в его голове спасительные словечки, вошедшие в привычку еще с Беларучской школы, где он одну зиму учился.

Табличка возле двери, забрызганная, видимо, еще в мартовскую слякоть, показалась Ясю сурово безучастной. На ней печатными, солидными буквами было написано: — КРАЙ. Поверх какой-то замысловатой вязью шли буквы поменьше, образуя слово СЪВЕРО-ЗАПАДНЫЙ. «Веребочные, — усмехнулся одними губами Ясь, — точно путы на КРАЕ». И тут же посерьезнел: надо было решаться. Не то чтоб уж вовсе не знакомые люди находились за дверью этой, казалось Ясю, на весь мир знаменитой редакции. Но этих людей он еще ни разу не видел и, как они встретят его, не знал. Потому и так медлил. Когда же наконец толкнул окованную дверь, очутился в довольно длинном коридорчике. Освоившись после яркого майского солнца в полусумраке помещения, на двери справа прочел: «Издатель-редактор М. П. Мысавской». К издателю-редактору Ясю как раз и нужно было, и легонько, но в коридорной тишине сдалось, что на весь губернский Минск, он постучал пониже таблички. Отозвался ли кто за дверью, Ясь не услышал, но дверь под его рукой легко подалась.

— Что вам, юноша?

Человек, сидевший за столом, мельком глянул на часы и тут же сунул их во внутренний карманчик на поясе. Ясь шагнул к столу и положил на него вчетверо сложенный листок из школьной тетради. Человек за столом точно спохватился:

— Ага! Это о вас мне говорил Владимир Иванович? Самойло?

— Да. — В горле у Яся пересохло.

— Так, так, — вроде бы все еще думая о своем, человек за столом

быстрым движением развернул листок и стал читать. Ясю казалось, вечность прошла, пока он наконец услышал: — Это ваше первое стихотворение?

— Не совсем...

«Трудно поверить, — думает человек за столом. — Но как не поверить?!» Мысавской, а это был он, смотрит на Яся. Нет, и все же не вяжутся эти синего отлива белков глаза, эта бледность юношеского лица, мягкость его черт с тем, что на листке написано. И курточка сидит, ровно на паничке; ровно у панички, перехвачен узелком-бабочкой и топорщится острыми уголками безукоризненно белый воротничок манишки.

Мысавской вновь тянется рукой к листку, вновь начинает читать, на этот раз вслух. Чтец из него не ахти какой, к тому ж не шибко получается по-белорусски, но Ясь, который никогда никому не читал своих стихов и впервые слышит их из уст другого человека, просто поражен. Ему чудно, что, читая его стихотворение, Мысавской преобразился. Ясю кажется даже, что вовсе и не он написал стихотворение, а Мысавской — этот саратовский мужик, как зовет его Самойло. И не о ком-то — о себе и от себя он громко и горячо говорит сейчас;

*Что я мужик — все это знают,
И сплошь да рядом — свет велик —
Меня насмешкою встречают:
Ведь я мужик, простой мужик!*

*Читать, писать я не умею,
Негладко ходит мой язык.
Я всю-то жизнь пашу да сею —
Ведь я мужик, простой мужик!*

*...В болезнях, бедности страдаю
И сам себя лечить привык,
Я вовсе доктора не знаю —
Ведь я мужик, простой мужик!*

Лицо Мысавского помрачнело, брови хмуро сошлись на переносице, губы, казалось, побледнели, когда выдавливали:

*Уж, видно, я повинен сгинуть,
Как в темной чаще лесовик,
И псом бездомным мир покинуть...*

Зато, победным, торжественным аккордом прозвучали заключительные строки, утверждающие человеческое достоинство мужика:

*Но если жить я долго буду,
Коль будет жизни путь велик,
Вовек я, братья, не забуду,
Что человек я, хоть мужик!*

*И тот, кто жизнь мою узнает,
Услышит только этот крик:
Хоть мною каждый помыкает,
Я буду жить — ведь я мужик!*^[6]

Мысавской был человеком эмоциональным и скрыть свое восхищение от прочитанного не мог. Но, по-видимому, сильно засело в нем и самое первое впечатление, когда он никак не мог связать воедино облик автора и стихотворение, только что прочитанное. Он и сейчас продолжал вопросительно смотреть на текст, точнее, на подпись под ним: Янук...

— Янук, — сведя в размышлении густые брови, тихо басил Мысавской. — Хорошо! Это от мужика, от его имени. Были же у вас, у белорусов, Яська-хозяин из-под Вильно, Матей Бурачок, Сымон Ревка, не так ли? Теперь к ним прибавится Янук, пусть. Но не кажется ли вам, молодой человек, — резко взлетает голос Мысавского, — что ваше сермяжное «Янук» не шибко вяжется с языческим «Купала»?.. Вы не мужик, а пишете о мужике. Ладно, с этим можно согласиться. Но вы же не язычник, чтобы называть себя им? Но коль уж назвались, пишете как их близкий потомок — автор «Слова о полку Игореве»! Читали?..

Ясь «Слова о полку Игореве» не читал и густо покраснел. Мысавской сделал вид, что не заметил смущения юноши, и продолжал:

— И все-таки, чтобы говорить от имени мужика, как вы здесь, — указал глазами на листок, — кем нужно быть?

— Купалой.

Ответ прозвучал столь уверенно и твердо, что теперь уже смешался

Мысавской:

— Г-где логика?

— Я родился на Ивана Купалу. — У Яся было такое чувство, словно он в чем-то оправдывается.

— Ах, вот как! Добро, добро, — неизвестно с чем соглашаясь, кивает головой Мысавской. — А ваша настоящая фамилия, простите?

— Луцевич. Иван Доминикович.

— Впрочем, звучит, — подхватывается из кресла Мысавской. — Я-ну-ук-Ку-упа-ала. Луцевич Иван Доминикович...

— Доминикович?! Так я и знал! Поляк, католик, шляхтнок, а туда же — в мужицкую свитку рядиться. Интриганы!

Голос раздался неожиданно — откуда-то из-за полуоткрытой двери, неприятно-резкий, дребезжащий. Но Мысавской даже не повернулся на него, только лицо устало и брезгливо передернулось. А из сумрака приемной в комнату шагнул некто в форменном сюртуке и, демонстративно обращаясь к Мысавскому, снова громко заговорил:

— Вы правы, Михаил Павлович, правы! Ку-па-ла, — презрительно скривились губы незнакомца, — и впрямь воскрешение языческой дикости. Стоит ли его приветствовать? А вообще-то, позволю себе доложить, Михаил Павлович, вот результат вашей сомнительной деятельности. Я не раз предупреждал: на кой вам пригревать всяких желторотых юнцов, которым бог знает что мерещится и которые черт знает что готовы учинить во вред нашему государю?!

Фигура в форменном сюртуке вела себя развязно. Но что Яся в незнакомце поразило особенно, так это глаза. Они то ли в самом деле страшно косили — правый глаз в левую сторону, левый в правую, — то ли казались такими, будучи на удивление глубоко проваленными в глазницах, но выражение их было хищным. Зелено-бутылочный, темный блеск роговицы усиливал это неприятное впечатление.

— Демагоги, — злобно витийствовал неожиданный визитер. — И вы, и этот...

— Лука Ипполитович! — Мысавской был в гневе. — Этот, как вы изволили выразиться, пришел не к вам. Такие к вам не пойдут.

— Зна-аю, зна-аю, — придавая своей позе и голосу значительность, не унимался смахивающий на привидение Лука Ипполитович. — Зато я, как видите, здесь: аз есмь, аз бых, аз бэнду^[7]. Так-то!

— Это мы еще посмотрим! — отрезал Мысавской. — Для дискуссий, кажется, не приглашал.

— Случайно, случа-айно попал на ваше ран-де-ву, — нарочито

растягивал слова Лука Ипполитович. — Но прелюбопытно, должен доложить...

— Не из пугливых! — выдохнул Мысавской, отрывая кулаки от стола. Как огромный и неповоротливый Лука Ипполитович выскользнул в приемную, Ясь сразу и не понял.

— Гнида! Гадина! — не мог остыть Мысавской, но потом спохватился, что перед ним один только Ясь: — Извините...

— За что?

Показал глазами на дверь.

— Не испугаетесь? Вы же такой... — хотел сказать «интеллигентный», но что-то помешало, и он, чуть запнувшись, произнес: — ...Молодой. И как будто не от мира сего.

— Я не такой, Михаил Павлович, — ответил Ясь.

— Не такой? Какой же?..

Ясь был еще в том возрасте, когда человек большей частью живет во власти своих стремлений, не вызывающих у него ни тени сомнения относительно своей ясности и определенности. А Ясь теперь стремился только к одному, одного только желал — читать книги и писать стихи. О том же, что по силам ему, а что нет, что умеет, чего не умеет, Ясь имел еще смутное представление. Что он знал о себе? Знал, что у него «неприятный» почерк. Потому и не вышло из него писаря, потому и дал ему отставку следователь из Радошкович. Хотя, по правде, причиной там был вовсе не почерк. Уже в 1910 году Купала напишет своему первому биографу — петербургскому литератору, уроженцу белорусского местечка Копыль Льву Максимовичу Клейнбарту: следователь «был вполне культурный человек, играл на скрипке и любил при случае позабавить своих гостей (врача, начальника почтовой конторы и др.) чтением следственных уголовных материалов (об изнасилованиях и разврате подростков)». Следователь, безусловно, заметил, как стыдливо краснел при его читках молодой писарь. Следователь, вероятно, Карла Маркса не читал, но, как говорится, нутром чуял, что революция начинается и с чувства стыда. Поэтому никакого бунта от совестливого неопита он ждать не стал, а «по-дружески» посоветовал ему «вернуться к прежнему состоянию», короче — просто выгнал.

Знал Ясь и еще одно неприятное свойство своей натуры. Пожалуй, именно оно год тому назад еще более усугубило положение семьи, которое и без того было незавидным. Тогда, после смерти отца, Ясь просил пана Войтеховского не лишать аренды матери-вдовы, убеждал, что та с нею справится — дело привычное. Выслушал пан, отказал. Не удалось Ясю развеять его мрачные сомнения, не нашел нужных слов, от которых пан,

может, и расчувствовался бы. Эти слова пришли к нему потом, после, когда возвращался с панского двора домой на хутор. Ясь не однажды ругал себя за это свое «лестничное красноречие»: внутреннее, молчаливое, оно действительно было ему более свойственно, нежели красноречие открытое, беседное. Запоздалое, оно и сейчас наплыло на Яся, когда он, еще выходя из города, стал припоминать — подробность за подробностью — свое посещение редакции «Сѣверо-Западного края».

И почему-то первым делом всплыла в памяти Яся фигура неизвестного ему Луки Ипполитовича. Конечно же, решил Ясь, его появление у Мысавского не было случайным, как уверял в этом сам визитер. Конечно же, Мысавской под наблюдением: больно смела его газета, объединяет вокруг себя всех, кто любит народ, кто ратует за его просвещение, за школу на родном, белорусском, языке. Потому и Самойло дружит с Мысавским. Вообще круг знакомств у Владимира Ивановича широкий. Это он познакомил Яся и с Алесем Бурбисом, и с Сергеем Скондриковым, и с братьями — Иваном и Антоном — Лапкевичами. Это у приятелей Самойло Ясь брал прокламации, брошюры, читал, распространял среди своих знакомых. Мог же Лука Ипполитович про что-то такое и пронюхать. Вот и заявился... Ну что ж, пусть его... Куда больше Яся занимает сейчас иное. «Вы не мужик, — звучит в нем раздумчивый голос Мысавского, — не мужик, а пишете о мужике... Не кажется ли вам, что не шибко вяжется... сермяжное с языческим?..» Но Ясь так чувствует! Он и впрямь не потомственный, «чистый» мужик, но мужик — по духу. И дух этот зовет его, чувство долга зовет говорить от имени мужика. Ясь тут не идет на обман, не совершает подлога, ведь обиды и горе мужика — его обиды и горе, а его судьба — их общая судьба... «Слова о полку Игореве» он пока что не читал, но прочтет. Обязательно. Он и сам от слова — из песни и сказки, из легенды, героем которых он так часто видит себя. О, как ошибаются те, кто отказывает народу в высокой поэзии, в мечте, кто противопоставляет лапоть цветку папоротника! Нет, он далек от мысли утверждать, будто в каждой мужичьей душе жива сегодня жажда этого цветка. Но ведь именно в ней, в мужичьей душе, взошел он когда-то, именно им, простым мужиком, а не кем-то другим, он вымечтан. Гнет веками убивал в народе, нещадно растаптывал этот цветок. И теперь он как засохшая закладка в библии столетий. Но он жив! Жив! Его нужно вынуть на свет божий, отчаровать, и он вновь расцветет, пьяня своим ароматом мужичьи души. Пусть вроде бы издалека идет к мужику он, Купала, но это «издалека» — очень дорого и понятно мужику, потому что плоть от плоти его и кровь от крови, потому что передалось-досталось от предков-

пращуров, которым счастье и пригрезилось когда-то в образе чуда-цветка. Просто мужик забыл, кто он и что он; нужно воскресить в нем человека, белоруса, подняв его к высокому Купалью, к тому, что сам же когда-то создал. И если он, Ясь, придет к мужику как песнярь его, его поэт, мужик познает Купалье, постигнет как самое себя. И Ясь Луцевич идет; он тот, кому искать купальский цветок счастья; он должен найти его — для себя, для мужика; он — Янук Купала...

Формально Ясь Луцевич и в самом деле был не из мужиков. В этом, 1905-м, великом — для всей России революционном — году он паспорта еще не имел. Но когда 15 сентября 1907 года Минская мещанская управа выдаст Луцевичу Ивану Доминиковичу паспорт, на первой странице его будет записано: звание — мещанин. Этот мещанин, однако, не происходил из среды ремесленников или мелких торговцев. Он родился в семье землепашцев пана Замбжицкого. Именно землепашцами этого помещика и названы в «Семейных списках Минской мещанской управы» все пять братьев Луцевичей: Доминик, Михаил, Адам, Антон, Юлиан (семейном списке Луцевичей за 1883 год, то есть составленном год спустя после рождения будущего поэта). Землепашцами Луцевичи стали после того, как не получили официального подтверждения на шляхетство, которого более тридцати лет добивался Онуфрий Луцевич — дед Янки Купалы. Впервые указ Правящего сената — Временной служебной геральдии — о неутвержденности рода Луцевичей в шляхетстве из-за недостатка доказательств дед получил на руки в тридцать три года и, понятно, удовлетворен не был. Дело Луцевичей Правящим сенатом рассматривалось затем в 1850, 1856, 1862, 1864, 1869 и 1871 годах, но упорствовал и разорительно тратился дед Онуфрий напрасно. Напрасно аж до седьмого колена восстанавливал родословное древо — князь Лев Витгенштейн лишил его последней надежды, выгнав из родового гнезда, из Лазаревщины в Игуменском уезде Минской губернии. Эту Лазаревщину в окрестных деревнях именовали еще Луцевичами, потому что жили в ней одни Луцевичики, как называли ее владельцев на здешний лад. Сами же Луцевичи окрестили свою батьковщину Песками: тут и в самом деле один песок приходилось им пахать-перепаживать.

Получил же род Луцевичей Лазаревщину еще в 1692 году, 9 декабря, на основании привилегии князя Радзивилла. Первыми владельцами стали сыновья Станислава Луцевича: Ян, Базыль и еще один Ян. Выходит, Станислав — один из самых далеких предков Янки Купалы, известных нам сегодня, — родился где-то в первой половине XVII века. Таким образом, в

начале века XX Ясь Луцевич в свои двадцать три года имел все основания гордиться своим родом-племенем, который насчитывал ни много ни мало два с половиной столетия известности, который принадлежал к гербу Новина, восходящего своей историей ко временам Болеслава Кривоуста (XI в.). Хоть Луцевичи были мелкой, застенковой шляхтой, их род дал не одного признанного — гражданского и военного — деятеля местного масштаба. Но в основном предки Янки Купалы были именно «земьянами», как названы они в привилегии князя Радзивилла от 1692 года, — это значит вольными землепашцами, чиншевиками, хоть за службу у Радзивиллов от чинша освобождались. Таким образом, они принадлежали к бедной, как уже говорилось, застенковой или так называемой серокафтанной шляхте. Серокафтанной потому, что ходили не в шитых золотом кунтушах, традиционных для зажиточной шляхты, а в серой, домотканой, как и мужицкие свитки, одежде. О какой зажиточности речь, если, например, в 1774 году четыре Луцевича — Игнат, Фома, Людвиг и Ян — вместе владели двумя душами крестьян. Тем не менее род Луцевичей был шляхетским родом: его представления о жизни, социальная психология, традиции и обычаи не выпадали, не выламывались из того, что характеризовало собой мелкую шляхту как общественное состояние, что определяло ее национальный облик и историческую судьбу. Из этой среды вышли и Тадеуш Костюшко, и Адам Мицкевич, и Кастусь Калиновский, и Валерий Врублевский, и Ярослав Домбровский...

...Спросили бы вы, однако, у Яся, шедшего домой от Мысавского, за что, почему он так любит свободу?

Он бы, наверно, ответил словами собственного стихотворения:

*И люблю ж я, люблю
Эту волю свою!
Лягу в землю землей —
Возьму волю с собой.*

Люблю, и все тут! По сути, только и сказал бы Ясь Луцевич, который вскоре станет самым вольнолюбивым белорусским поэтом. Станет прежде всего потому, что страстно желал земли и лучшей доли мужику, желал свободы краю своему, народу. Но о том, что мятежностью духа он как бы впрямую наследовал своим вольнолюбивым предкам, тем же крестьянам-повстанцам Наливайко или Вацилы, Янка Купала вряд ли будет когда-нибудь задумываться. А ведь, в сущности, Белоруссия издавна собирала

свои обиды, чтоб однажды в чьем-то могучем слове сполна их высказать; она веками копила в себе жажду свободы, чтобы чьим-то могучим голосом во всеуслышание заявить о ней. Будет Купала задаваться вопросом, за что он любит Пушкина, и ответит конкретно: «За его гордость, за сознание человеческого достоинства», «За то, что он живой борец за свободу, за счастье человечества». Купала всех любил, кто любил свободу. Идею свободы он изначально утверждал целью своей жизни.

С просветленной душой возвращался Ясь от Мысавского. Возвращался, обуреваемый самыми высокими чувствами, словно у того же Мысавского он только что не столкнулся с Лукой Ипполитовичем. Но не было сейчас в мире силы, которая могла бы заставить усомниться в своих порывах того, кто вскоре станет и самым благородным белорусским поэтом. Однако об этом своем благородстве, о его истоках он будет менее всего думать: просто он так, а не иначе видит и чувствует — жизнь и себя в жизни. Благородство было формулой его бытия. Врожденной? Может быть...

Спросили б вы еще у Яся, шедшего от Мысавского, почему он так смахивает — обликом, статью, жестами — на шляхтюка. Ясь, наверно, первым делом обиделся бы, потому что как раз намек на это он уловил в словах Мысавского: «Вы не мужик, а пишете о мужике». А потом, он и сам не знает, почему вообще-то и впрямь похож на шляхетского отпрыска, а не, скажем, на интеллигентов из народа, что пробиваются ныне к знаниям через «мужичьи» университеты, наподобие Несвижской семинарии... Но ведь ежели по правде, он шляхтич. Неугомонным был род Луцевичей: чего не добился дед Онуфрий, добился его сын Доминик. Сын, правда, пошел в обход: взял да не в свою парафию^[8] отвез первенца Яся, а в соседнюю — к знакомому ксендзу. Тот и вписал в метрику Луцевича Ивана Доминиковича, что он шляхтич... Шляхтич? Нет и нет! Слишком Ясь натерпелся в свои двадцать три года от всякой шляхты, чтобы считать за честь быть причисленным к ней записью в метрике. Что «шляхта» происходит от немецкого *schlagen*, *Schlacht* — «бить», «битва», то ли от белорусско-польского «шлях» — «путь», он не знал и не об избиениях-битвах думал, памятуя о шляхетности духа. Шляхту как таковую он возненавидел давно, хотя, собственно, не этим словом обозначал ее, а всеобъемлющим «пан», «паны» — те, у кого арендовал его отец, арендует мать, у кого судьба определяла арендовать и ему...

...В Боровцы из Минска или из Боровцов в Минск Ясь обычно добирался где с возчиками-бологолами, где пешком. Надеялся, что, как и в Минск, подвезет кто-нибудь и сейчас, и не ошибся: доехал до самой

Паперни. Слез и направился на Пильницу. В Пильнице он перейдет по мосточку Вячу, а там — ежели напрямик, опушкой леса, вдоль речной поймы — уже рукой подать до Боровцов. А подвез Яся знакомый возчик из Пасадца. Их, бологолов, измаянных дорогой, но всегда смешливых и словоохотливых, Ясь знал едва ли не всех, как знал этот проселок — ведущий на северо-восток Долгиновский тракт. «Долгиновский тракт, — думал Ясь, — долгий путь. А каким-то он будет у меня?..» Нет, в правильности выбора он не сомневался. И благодарен Самойло, что подсказал, какое стихотворение отнести Мысавскому: их ведь у него целая тетрадь. Если Мысавской опубликует «Мужика», все в его жизни будет тогда иначе. Все! Он напишет новые стихи и опубликует их, напишет еще новые...

Вот, оказывается, есть и русские газеты, которым нужны такие стихи, есть люди, которые открыто восхищаются простым, мужицким словом...

С холма уже видна Пильница. Ясь невольно остановился. Тут, на холме, над необъятным — сколько глазу хватало — простором, над сквозной, разбегающейся вдоль Вячи равниной, он вдруг показался себе великаном, таким огромным, что, мнилось, простри он руку, и та коснется далекого горизонта. Даже дух захватывало. А вокруг стояла весна; траву бурно гнало в рост; березы, уронив к земле свои зеленые косы, красовались, точно невесты на выданье; из боровых перелесков тянуло живицей; раскатывался окрест оглушительный птичий грай; а над Вячей, точно облитая молоком, еще доцветала черемуха: здесь ее были целые рощи...

Словно с неба на землю, спускался Ясь в деревню. Рядом с черемуховой кипенью еще более серо, чем обычно, проступили низкие соломенные стрехи. Убогость, неприглядность, тяжелая молчаливость жилищ совсем не вязалась с этой цветущей, ликующей весной. Чем ближе Ясь подходил к Пильнице, тем больше думал о доме, о матери.

Он был похож на мать: как и она, не шибко разговорчивый, та же задумчивость во взгляде, та же белизна лица. В народе исстари говорят: сын, похожий на мать, счастливый. Но со счастьем у Яся не все просто. Он идет наперекор. Не себе наперекор — ей...

Боровцы встречали обычно. Ясь никак не мог тут прижиться. Он с первого взгляда невлюбил и эту древнюю, как мир, хату со сползшей набок стрехой, с кривыми окошками на дорогу; и эту огорожу возле нее — штакетины через одну, гнилые — вот-вот повалятся стойки-столбы. Стороной обходит радость вдовью хату — чужую, недосмотренную...

Мать поздоровалась и молчит. Яся подмывает рассказать, где он был,

похвалиться, что, может, скоро напечатают в газете его стихотворение. Но речь он заводит о другом:

— Лето побуду с вами, помогу, а там...

— Сынок, сынок, — вздыхает мать. — И дался тебе этот легкий хлеб...

«Легкий хлеб» звучит в ее устах как осуждение, как упрек Ясю в несерьезности, даже, может, ветрености, вряд ли дозволительной в его возрасте. Ее тревожит, ее пугает ненадежность этого хлеба — то ли дело земля-кормилица, потому и щемит-заходится сердце от боли: «Сынок, сынок...»

Доминик Луцевич, отец, любил повторять: «Хуже нет, чем догонять и ждать». Ясь не догонял — ждал и мучительную напряженность этого ожидания тщательно скрывал от матери, от сестер: не было, считал, никакой нужды обременять их своей душевной тревогой, сомнениями.

И он уже который день подряд только и старался показать, что его, кроме хозяйства, ничего не занимает. А на самом деле занимало — и днем и ночью...

...Ясь проснулся в холодном поту. В хате было еще темно. Неумоимо тикали ходики. Мать и сестры спали — с полатей доносилось их ровное, спокойное посапывание. А он уже так и не смог уснуть до раннего в мае рассвета. И чтоб как-то скоротать остаток ночи, стал припоминать, что же снилось ему до того, как некто в черном с головы до пят навалился на него, схватил за горло, принялся душить. В мозгу хаотически всплывали, горяча воображение, странные обрывочные картины: лица и фигуры, когда-то им виденные, голоса, когда-то им слышанные, строки, когда-то им читанные.

— ...Quo vadis?! Камо грядеши^[9], голь перекатная, парий?..

— В «Северо-Западный край»! — звучит в Ясе его же собственный голос. Только он, Ясь, вовсе не голь перекатная, не парий. Он — патриций! На нем праздничная, торжественная тога. А туника! Легкая, воздушная материя волной спадает с его левого плеча, правой рукой он поддерживает вторую половину белой волны. Патриций! А действительно, почему человек должен быть рабом? Даже если он им родился, разве нет у него иной судьбы, кроме невольничьей?..

— Ты не родился рабом! — слышит Ясь необыкновенной силы голос. Сколько в нем горечи, боли, муки! Да это же Конрад^[10], вдруг узнает Ясь, и вот уже его голос сливается воедино с голосом Конрада:

Внимай, природа, мне! Внимай, о боже правый!

*Вот песня, вот певец, достойный вашей славы,
Я — мастер!
Я — мастер, я протягиваю длани!
На небеса кладу протянутые длани,
И, как гармоники стеклянные круги,
То звонко песнь поющие, то глухо,
Вращаю звезды силой духа.
И бурей звуков ночь наполнилась вокруг:
Я создал звуки те, я знаю каждый звук.*

*Я множу их, делю и снова сочетаю,
В аккорды, в радуги я сонмы их сплетаю,
Рождаю молнии движением руки...
Моя любовь не так, как на цветке пчела, —
Не на одном почил человек,*

*Но все народы обняла
От прошлых дней доньше и вовеки.
И не столетье, не одну семью, —
Весь мир я принял в грудь мою,
Как море принимает реки.
Люблю народ, как муж, любовник, друг, отец...
Одно с моей страной дано мне бытие.
Мне имя — Миллион. За миллионы
Несу страдание свое.
Как сын глядит безумным оком,
Когда отца ведут на эшафот,
Так я гляжу на мой народ,
Ношу его в себе, как носит мать свой плод...[\[11\]](#)*

...Конрад подает Ясю руку — прощается, уходит. Его громадная фигура шагнула к звездам.

— Я теперь знаю, что и как мне писать!.. — успевает Ясь крикнуть в спину Конраду и видит... Он видит себя перед окованной дверью. Войди попробуй! Дом Дворжица. Полукружья, а промеж ними — пики, острые пики. Наткнешься на такую — сердце кровью стечет!.. А серпы — каждый готов тебя срезать под корень. Серпы?.. Месяцы-молодики! Видишь, они светло всходят перед тобой — на счастье. И в их призрачном свете

полукружья сходятся, сжимаются в бутоны, чтобы тут же — на глазах — раскрыться. Раскрылись! И там, где были пики, тычинки неведомых ему цветов. Протягивай руку, рви. Не цветы ли это купальские?..

Днем всплыла над Боровцами туча. Невыспавшийся Ясь не мог не радоваться первому майскому грому, который пал не на голый лес. Верная примета — к урожаю. А гром гремел весело, молодо, раскатисто. Листва сирени под окнами хаты глянцевито блестела, как начищенная. Туча, как всплыла, так и сплыла, и дышалось после грозы легко и празднично...

...Владимир Иванович Самойло приехал совсем неожиданно. Завидев его бричку еще на выезде из леса, Ясь тут же на порог и к калитке. Высокий, худощавый, с продолговатым лицом, казавшимся еще длиннее от клинообразной бородки, он радостно обнял Яся.

— Так к-когда р-расцветает п-папоротник, К-купала знает? — заикаясь сильнее обычного, спрашивал возбужденный, веселый Самойло, поднимая над собой, точно флаг, газету. — Аг-га, аг-га, не з-знает!..

Первое, что бросилось в глаза Ясю, — с двух сторон над названием газеты — в правом и левом углах — число и год: 15 мая 1905 года. Мысавской сдержал свое слово: он опубликовал стихотворение «Мужик», поместив его рядом с рассказом Льва Толстого «Три сына». Что ж, более видного и почетного места, чем рядом с великим русским писателем, в газете не было.

И то ли в шутку, то ли всерьез Владимир Иванович, поостыв и почти не заикаясь, проговорил, обращаясь к Бенигне Ивановне:

— Вот и нет больше вашего Яся, нет и Ивана Доминиковича. Зато есть отныне Янук Купала!

Мать молчала.

Глава вторая

КРУГ АДА ВТОРОЙ...

В Яхимовщине особой новизны в работе для Яся Луцевича не было: изо дня в день проращивай солод — ячмень, овес, просо; стели их на сутки постелями — по девять-десять на грядке; бери на каждую постель замочку; следи, чтоб всегда готовой была матка — дрожжевая выжимка...

Кругом идет у Яся голова, когда он склоняется над бродильными чанами. От густого духа дрожжанки можно потерять сознание, но смотреть за брожением — это обязанность помощника винокура, как и следить за подачей спелой бражки в перегонный аппарат, за отделением бурды, за ходом спирта. Всё тут в движении. Весь в движении — в готовности, в хлопотах, в беготне — и помощник винокура. Всюду нужен глаз да глаз!

Но глаз не мог без книги, не мог без строк, что, ложась линейка в линейку, становились стихами. Стихов набиралось все больше, и в конце концов это стало вызывать у Яся противоречивые чувства: реже — радость, чаще — недовольство, затяжное, мучительное, потому что переживаемое в одиночку. Что и говорить, нелегко быть автором книги, которая — вот она! — вроде бы есть и которой в то же время нет — не издана. Но еще труднее сознавать, что стихи, рвущиеся из твоего сердца, чтобы быть услышанными, до другого сердца не доходят. Колокол без языка, лес без эха, птица без крыльев — кем только не представлял себя в своих мучениях Ясь Луцевич.

Летом этих мучений он еще знать не знал. Летом был подъем — точно сами собой рождались строки о народном горе, о мужичьей доле, о злосчастной своей судьбе. Стонала душа, протестовала, нетерпеливая: «Невмоготу! Довольно, хватит...», «Невольник, кланяйся весь век...» Невольник никому больше кланяться не желал. Невольник задумывался над своей участью: «Я сею, чтоб другие тенью пришли и сняли урожай?» Невольник противился: «Довольно. Всё. Конец терпенью. И колокол гудит: вставай!» Невольник же и утешал себя:

*Эй, хлопчина, оставь, не тужи,
Не гляди ты сквозь слезы на свет —
В двор господский поди и служи,
Как служил и отец твой, и дед.*

Эти строки «хлопчина» Ясь Луцевич написал перед отъездом сюда, в усадьбу пана Любанского. Сердце его холодело при одной мысли о том, что его тут ждет: «Трудись и горюй», «сил на чужих не жалея», «забудь, что и ты человек, и работай на пана весь век...» Писалось же, однако, легко. Выдумывать ничего не приходилось, и душа, казалось, просто, без всяких усилий, выпевала печальные, сурово-горестные строки.

Вновь на долгую зиму оставил Ясь Луцевич в Боровцах мать. В первые дни в Яхимовщине он только о ней и думал, и думы эти тоже не были радостными. «И зачем на горе родила меня ты?» — спрашивал сын издалека и признавался:

*Как беглец чужбину,
Я клянусь, страдая,
И свою судьбину,
И твою, родная...*

В начале декабря дошел до Яхимовщины ноябрьский номер «Нашей нивы», в котором сообщалось, что поэт Янук Купала подготовил к печати первый сборник стихов под названием «Жалейка». Это Яся и обрадовало, и удивило. Обрадовало, что книга еще не вышла, а о ней уже пишут. Удивило же, что газета, которая сообщает о «Жалейке», до сих пор ни единой строки его не опубликовала. А он ведь в «Нашу ниву» отослал более десятка стихотворений.

«Пусть, — рассуждал Ясь, допоздна засиживаясь у Андрея Посоха, учителя из соседней деревни Городиловки, — пусть не напечатали «Отклика на 29 октября 1905 года в Минске» — посчитали острым, подцензурным. Но послушай, Андрей, почему же не печатают это?»

Ясь встает. Руки ложатся на спинку кресла. Взгляд устремлен в какую-то лишь ему, Ясю, открытую даль. Голос вопрошающий, взволнованный:

*А кто там идет по болотам, и лесам
Огромной такую толпой!
— Белорусы.*

*А что они несут на худых плечах,
Что подняли они на худых руках?*

— Свою кривду.

*А куда они несут эту кривду всю,
А кому они несут напоказ свою?
— На свет божий.*

Андрей Посох думает: все, стихотворение кончилась. Но его молодой товарищ продолжает:

*А кто ж это их — не один миллион —
Кривду несть научил, разбудил их сон?
— Нужда, горе.*

Эта «нужда» и это «горе», произнесенные с нажимом, кажется Посоху, торжествуют в стихотворении, простирая свои черные крылья над теми, кого они же «кривду несть научили». Но торжество это именно кажущееся, ибо научить нести кривду — значит пробудить. От векового сна, от вековой покорности. И вот «не один миллион» — весь народ как бы разом тронулся в путь к своему будущему, к своему полнокровному и полноправному национальному бытию. И в этот выход еще одного народа из сумрака истории вглядываются удивленные обитатели мира:

*А чего ж теперь захотелось им,
Угнетенным века, им, слепым и глухим?*

Ясь делает короткую, едва уловимую паузу, словно задумывается на мгновение, и вот уже не горе и нужда торжествуют — торжествует голос поэта:

— Людьми зваться!.. [\[12\]](#)

Людьми...

И был тогда обычный декабрьский вечер. Как всегда, горела на столе лампа-трехлинейка, стопками — проверенные, непроверенные — лежали тетради с диктантами. В печке гудело пламя, сильно и часто потрескивая,

— видать, хозяин не пожалел смолистых еловых поленьев. На окнах извечные замысловатые узоры вырисовывал мороз. И словно уже не звучало в комнатке учителя Городиловской школы стихотворение, которое бледный и взволнованный юноша только что читал, стоя за спинкой кресла.

— Людьми звать, людьми... — все еще занят своими мыслями Ясь Луцевич. — Что ж тут подцензурного, Андрей? Естественное человеческое желание. А что противозаконного в выходе белорусов из тьмы, из исторического небытия? И почему «Наша нива» этого не печатает? Ума не приложу. Чего вам хочется, Панове?!

— А им хочется знать, кто же там идет? — пытаюсь поднять настроение друга, шутит Андрей Посох. — Присматриваются...

— Долго присматриваются — роса глаза выест, — не принимает шуточки Ясь и замолкает, задумывается...

Помощник винокура в усадьбе пана Любанского весьма скоро убедился, что помощник он только на словах. Работать же пришлось с чернорабочими и почти как чернорабочему. Те, понятно, поначалу приглядывались к «пану помощнику» — новый человек как-никак, — но отнеслись к нему с уважением сразу: и разговаривали почтительно, и при встрече здоровались первыми, приостанавливаясь и чуть кланяясь. Но «пан помощник», оказалось, не из тех, кто ждет, пока ему «наше вам» скажут. Сам первым и руку подаст, и о делах справится. И говорит и с панами, и с ними не по-польски, как винокур Сосновский, а по-здешнему, по-белорусски. Рабочие сразу же заметили, что новый помощник очень внимателен к ним: когда и с чем ни обратился бы к нему, всегда выслушает, более того — еще и попросит рассказать о себе. Это, в свою очередь, подогревало интерес местного люда к «пану помощнику».

А Ясь Луцевич даже не знал, чем он теперь больше поглощен: жаждой писать и читать или окупаться в жизнь других людей. Эта неведомая ему прежде тяга проявилась в Яхимовщине во всю силу. Он и писал и читал. — Он и заводил знакомства со все новыми людьми, охотно шел во все новые хаты, душой приобщаясь к думам и чаяниям народа, к его судьбе.

Песенников, сказочников, рассказчиков Ясь любил сызмала. Но в детстве к народной мелодии, к народному слову он тянулся неосознанно, как бы всем существом своим растворяясь в их завораживающей стихии, будучи не в силах — даже пожелай он — противиться их неодолимой власти. Теперь же пришло сознание. И хоть песню он любил по-прежнему, но тут, в Яхимовщине, не на ее зов и звук пошел он первым делом, а на голоса беседы — на мелодичный басок Осипа Парфена, на неторопливую

речь Василя Кононовича...

Кононович напоминал Ясю Луцевичу его отца — не внешностью и характером, а перипетиями своей жизни.

Дядька Василь пришел на винокурню от сохи. Их, детей, у родителя было что маку, а земли — бабе сесть. Типичный представитель огромной армии раскрестьяненного после реформы 1861 года крестьянства. О Доминике Луцевиче в таком случае можно было говорить как о разарендованном арендаторе. И тот и другой были горемычными героями своего времени, порождением пореформенного сорокалетия, которое тружеников земли превращало в ее пасынков, сгоняя с насиженных, обжитых мест, вынуждая кого оброчить, чтоб стать последним арендатором на родной — своей и не своей — земле, кого податься на винокурни и мыловарни, другие всякие заводы и заводики, чтоб рождать первых белорусских пролетариев.

Если Василь Кононович старше Яся, то Осип Парфен чуть помоложе. Говорун, интересный рассказчик, он знал уйму разных баек, историек, легенд родных ему окрестностей Яхимовщины. Это он и поведал Ясю печальную быль из крепостных времен. О, как поразила она воображение молодого помощника винокура!

...В страшном, невыразимом отчаянии Томаш, влюбленный в красавицу Алену. Он ошеломлен коварством пана, который дал согласие на их свадьбу, а теперь требует Алену в свои покои: у него-де, у пана, право сюзерена на первую ночь с невестами своих холопов. Томаш в гневе: топтать его человеческое достоинство, отнимать честь у любимой? Но что он может? Он бессилён преградить дорогу панским гайдукам, оградить свое лебединое счастье от их звериных лап. Свет чернеет в его глазах, и только посверкивает из-под скамьи, как холодный месяц-молодичок, отточенным лезвием топор. Одного топора, понимает Томаш, не хватит на всех панских холуев, но его достанет на белую грудь его избранницы Алены, которую Томаш — нет! — никому не отдаст. Никому! И топор, блеснув перед глазами омертвелых гайдуков, опускается на грудь любимой...

Эта горестная быль и легла в основу поэмы «Никому». Эпос народа становился эпосом Янки Купалы.

А песня народа? Она в первую очередь была песней Женщины, и все, чем наполнилась она, было от щедрости и доброты Женщины. Эта песня как-то и встретила поэта в Яхимовщине — одинокого, на поздней ноябрьской дороге. В хате, мимо которой проходил Ясь, были вечерки.

С улицы, из темноты, он хорошо видел сквозь окна, как, устроившись на скамьях вдоль стен, на услончиках у запечка, девушки пряли кудели. В большинстве своем они сидели за пряслицами, подсунув под себя донце, — точно плыли куда-то в причудливых однопарусных лодках. Две-три девушки расположились за коловоротами и, как в волшебные зеркальца, глядели в прикрепленные к коловоротам дощечки с куделью. Ясь знал, что обычно хлопец, ухаживающий за пряхой, специально для нее эти дощечки рубанком выстругивает, ножечком узоры вырезает, долотцем выдалбливает. И чаще всего это солнце с расходящимися лучами, реже, когда хлопец отлучается в солдаты, — всадник на коне: чтобы помнила пряха о своем суженом, не забывала о нем на вечерках.

А девчата пряли и, как водится на посиделках, пели, и особенно выделялся один голосочек — звонкий, переливчатый, заклинаящий:

*Будь богатым, как земля,
Будь здоровым, как вода,
Будь наклонным, как ветла!..*

Клониться, как ветла к воде, Ясь в свои двадцать четыре года еще ни к кому не клонился. Им владели самые разные чувства, кроме одного. Он уже изведаль горечь обид народных, кипел жгучей ненавистью к панам, горячо сострадал мужику-горемычнику, был преисполнен любви к родному краю и лишь не знал пока что «страсти нежной», хотя с тайным трепетом и думал о ней. Думал, однако и до Яхимовщины, и в самой Яхимовщине воли своему сердцу не давал. И то, что поэт столь долго сдерживал, «взнуздывал» его, о, как же дорого он вскоре за все за это поплатится! Но покамест молодой помощник винокура справлялся с порывами своего сердца, хоть оно уже и пошло на звук песни Женщины, на зов красоты Женщины...

Звали ее Эмилией. 8 декабря 1906 года Купала напишет:

*Я сердцем разбуженным сладостно чую:
Тебя не желать мне, а только любить —
Любить, как сестрицу свою дорогую,
И, словно родимую матушку, чтить...*

Пряхи вели мелодию тонко, чисто, слаженно, то с игривым весельем,

то с притворным испугом:

*А гуляло солнышко
Да по небу ясному,
А гуляло, гуляло,
В тучку ховалось,
Месяца боялся.
— Ховайся, не ховайся,
Я тебя где хошь найду,
Я тебя к себе возьму! —
А гуляла девчоночка
Да по новому по крылечку,
А гуляла, гуляла,
Средь подружек ховалась,
Молодца боялся.
— Ховайся, не ховайся,
Я тебя где хошь найду,
Я тебя к себе возьму!*

В песне девушек было такое очарование, что, слушая ее, молодой помощник винокура и себя стал представлять молодым месяцем, от которого, девчатки, прячьтесь, ой, прячьтесь!..

Решение прочесть стихи рабочим винокурни пришло, казалось, неожиданно. Однако исподволь оно созревало давно, рожденное все тем же необоримым желанием выйти к простому люду, для которого, собственно, эти стихи и писались. Но, собрав рабочих, Ясь, понятно же, не откроется им: так и так, мол, я сочинитель, послушайте меня. Нет, он просто поначалу почитает газету, а затем стихи... якобы из той же газеты. И тоже якобы не свои — чужие. Ему важнее всего удостовериться, понятны ли они простым людям, способны ли дойти до их сердец.

Стихов Ясь отобрал немного, остановившись по размышлении на тех, которые напрямую обращены к слушателю, к громаде. Будучи от природы стеснительным, волновался чрезвычайно. И когда в назначенный день еще только вышел из хаты, где проживал, им овладела столь сильная робость, что он всерьез подумал: а не дать ли отбой этой затее, пока не поздно. Подумал и тут же устыдился своего малодушия, стал спускаться с крыльца. «Хоть бы поручень какой — опереться», — усмехнулся грустно. Поручней

на крыльце не было...

Контора винокурни в первый же день обратила на себя внимание Яся своей изящностью, которую он тогда же окрестил панской. Сегодня же она с этими напоминающими развернутый веер фронтонами, с узорчатыми карнизами, углами отменной кладки показалась издали сущим белокаменным дворцом. В нем ли ему читать стихи!.. Рабочих, конечно, лучше было бы собрать в цехе, у контрольно-перегонного аппарата: там и тише и привычней. Но и пан винокур там бывает чаще. А как он воспримет рабочую сходку с чтением газеты и стихов своим помощником, нетрудно себе представить. Потому Ясь и поднялся на второй этаж винокурни, предпочитая присутствие сула и солода, нежели пана винокура.

Послушать, что нового пишут в газете, охотно согласились Василь Кононович, Осип Парфен, Архип Зыбайло, Иван Ключеревич, еще несколько рабочих.

Пришли к назначенному времени, расположились кто где.

— Начинайте, Доминикович!

Начинать-то и было труднее всего. Ясь выглядел бледнее обычного. Ярче обычного блестели его глаза. И весь он как-то вытянулся, построжал. Развернул «Нашу ниву», стал читать статью о свободах.

— «А надобно знать, — обретал уверенность голос Яся Луцевича, — что во всех краях, где народ сам пишет законы, он добился таких порядков, которые обеспечивают равенство всех людей перед этими законами. За равенство же в богатстве долго еще, видать, будет идти борьба на свете!»

— Что верно, то верно, — вставляет словцо Парфен, как бы поощряя читать дальше.

— «Чтобы положить конец бесправию, — продолжает Ясь, — необходимо добиваться, чтобы каждый человек был свободным; чтоб арестовать его можно было только по требованию суда; чтобы следствие начиналось не позже, чем через 24 часа после ареста; а если не будет доказательств виновности, чтоб его тотчас же выпустили на свободу; чтобы...»

— Во копают! — не может скрыть своего удивления Василь Кононович.

— Ежли б да кабы, на печи росли б грибы, — шумно вздыхает кто-то из рабочих за спиной Парфена.

Ясь усмехается и все тем же ровным тоном читает, а где и от себя говорит о требованиях свободы совести и веры, слова и печати, союзов и собраний, забастовок. Слушатели согласно кивают головами, поддакивают, хвалят газету за смелость. А Ясь переворачивает «Нашу ниву», читает

«Песню острожника» из Максима Горького: «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно...»

Холодный цементный пол, закопченные стены, редкие узенькие окошки, и тут, на винокурне, всходит ли солнце, заходит ли — все едино темно.

— «Идемте...» — выдохнул Ясь название нового стихотворения: поверх газеты у него уже лежит мелко исписанный листок. Но рабочие этого не замечают. Они слышат в голосе Доминиковича призыв: идемте отсюда, из винокурни, из каменной этой тюрьмы... Они слушают напряженно, затаив дыхание, чуть подавшись вперед на страстное слово поэта:

*Идемте, разлив наших слез осушая,
Идемте с надеждой на лучшую долю
В тот край, где заря занялась молодая,
Где ласковый ветер шумит по раздолью...*

В конце Ясь читал стихотворение «Там...».

Там льется кровь... —

начал он, и голос его дрогнул: как и в минуты, когда он писал эти строки, взору его предстало все, что там происходит. Но он справился с волнением и теперь уже чеканил каждое слово:

*...там за свободу
Борцы опять на смерть идут.
А вы, —*

поэт обводит взглядом своих слушателей:

*все крепче год от году
Вы спите тут, хоть там вас ждут.*

И это их, своих слушателей, Ясь Луцевич спрашивает — без обиняков, напрямую, глаза в глаза, — спрашивает:

*Скажите мне, а за кого же
Они падут в полях немых?
И кто он, кто он, кто дорожке
Огромной этой жертвы — их?*

Молчат вчерашние крестьяне, не знают, не догадываются:

*Так вот, их шлет — вперед! не трусьте! —
Несчастный, злобный человек.*

Ясь набирает полную грудь воздуха и даже привстает на носках, выдыхая свое отчаяние, боль, укор:

*А вы, отродье Белой Руси,
Во сне иль вас палач засек?!*

Не по себе становится слушателям: заглядывались, точно вину какую почувствовали, точно только что проснулись, глаза протерли. А голос поэта звучит властно, повелительно:

*Восстаньте, или, смок державный,
Царь высосет всю кровь из вас!
Восстаньте! Стонет край неправный,
Он вас зовет, как звал не раз.
Восстаньте, гляньте, боже милый,
Свободы солнце кличет вас!*

Таким одухотворенным, таким вдохновенным, окрыленным помощника винокура рабочие никогда еще не видели. Никогда еще так не звучал, как звучит сейчас, в закопченных стенах винокурни, голос Ивана Доминиковича. И никогда так не сияли, как сияют сейчас, его глаза.

*...И пусть от грома ваших сил
Падут неволи кандалы!*

Ясь закончил чтение, а рабочие все не расходились.

— И складно же кто-то написал, — басил Василь Кононович.

— За такие стихи по головке не поглядят, — задумчиво говорил Парфен.

А Ясь, пряча свернутый номер газеты в карман, молча улыбался...

О чтении «Нашей нивы» рабочим винокурни в конторе стало известно на завтра. Назавтра же винокур Сосновский вызвал помощника Ивана Луцевича к себе, дабы выразить ему свое неудовольствие. И не только свое. Не подав руки, не пригласив присесть, Сосновский начал официально, польски:

— У пана Луцевича, кажется, есть мать? И пан Луцевич, конечно, любящий сын и, конечно, доставлять ей огорчений не хочет?

Ответа Сосновский не ждал.

— И потом, пан Луцевич сюда на работу приехал, не так ли? И это он хлопотал у меня о должности помощника, а не я, и, кажется, не пан Любанский просили его прибыть к нам?..

Пан Луцевич слушал. Оказывается, его поведением весьма и весьма недоволен помещик Любанский. Когда помощник винокура выдуривался на малопрстойных банкетах у всяких там кононовичей да Парфенов, читая какие-то белорусские стишки, это было его, пана помощника, дело. Пан волен был также обращаться к здешним паненкам со своими любовными мадригалами, которых настоящая шляхтянка, понятно, никогда не примет вместе с их хамским языком. Пан Любанский мог еще смотреть сквозь пальцы и на то, что помощник винокура по вечерам пропадает у особы подозрительного поведения — у пана из мужиков Анджея Посоха, хотя тоже... Пану Любанскому известно, что пан паuczyciel^[13] получает «Нашу ниву» — возмутительную газетенку, которую народным учителям, как и всем добропорядочным гражданам Rosji^[14], выписывать и читать не пристало, даже запрещено. Но того, что позволил себе вчера помощник его винокура, пан Любанский никак nie oczekiwał^[15]. Он всегда думал, что пан Луцевич все-таки шляхетный и благоразумный человек...

«Угрожаете, пан Любанский?! — кипел гневом Ясь. — Напоминаете о матери, о ее горькой судьбе? За миску похлебки купить меня хотите, сломать? Не выйдет. И шляхетности я у вас одалживать не буду. И газеты ваши рабочим читать не стану. Чего ж это вам хочется, Панове? Отворотить меня от тех, кто изо дня в день ломит на вас, от таких же париев жизни, как я сам? От их дум, надежд? Наконец, от их языка? Моего языка!..»

— ...А пока идите, вас ждет дело. — Сосновский отвернулся к окну, давая понять помощнику, что выслушивать его не намерен.

Дело пана Любанского и впрямь ждало. Но Ясь Луцевич стоял у перегонно-контрольного аппарата и все не мог остыть от гнева, смотрел на дрожащие стрелки датчиков температуры, безводности и все не мог сосредоточиться. А сам аппарат высоченный, из четырех царг; в каждой царге по восемь регард; регарды — овальные тарелки, укрепленные на станине болтами, — этажами поднимаются чуть ли не до потолка. Глядит на них, думая свои думы, помощник винокура, зло, ненавидяще глядит, как будто им уже адресует свое «чего вам хочется, Панове?». А регарды выпучивают глаза-болты, вращают ими, пренебрежительно взирая с высоты и вроде как насмехаясь над Ясем, над его бессильным и немым гневом. Бессильным и немым?!

*Чего вам хочется, панове?
Неужто чудится беда
Вам в белорусской речи, в слове,
Столь презираемом всегда?*

Гнев заговорил, обретая силу. Стихотворение началось, мучительно ища своего продолжения. Ясь — присаживается к столику.

*Бойтесь нашей песни слезной,
И наша скорбь пугает вас?
Хотелось бы во тьме острожной
Держать нас вечно, как сейчас?*

Стихотворение как бы оцетинивается вопросами. Но регарды молчат. Да поэт уже и не видит их. Он сейчас — на трибуне, на площади, на вече. Он — адвокат своего языка, своего народа. И какая это мелюзга — пан Любанский, Лука Ипполитович, шляхтюки с Радошковичской ярмарки, брезгливо сторонящиеся мужика, презирающие его язык!.. Однако, имея в виду и их, поэт записывает в свою тетрадь:

*А что вам, собственно, такого
Сказал и сделал белорус?*

Но довольно вопрошать. Надо требовать, утверждать.

*Не стоит злобной и напрасной
От века бранью исходить,
Не погасить вам правды ясной:
Жил белорус и будет жить!*

*К свободе, к равенству, к наукам
Мы вырвемся из вечных пут.
И быть властителями внукам,
Где нынче деды слезы льют!*

Ясь перечитывает написанное и чувствует: чего-то вроде бы не хватает в стихотворении. Но чего? Излишне оптимистическая концовка? Но ведь так оно и будет, должно быть — в этом его вера. Да, однако пока что... А что пока что?.. «Хамская» натура все снесет?! «Хамская», «хамская»...

*Совсем не с «хамскою» натурой
Пришли из далей вековых.
И свист доносчиков понурых
Не устрасит, поверьте, их!*

Ясь записывает эти строки, вновь перечитывает стихотворение и теперь остается доволен: «Вытерпим еще больше, но будут, будут властителями внуки!..»

...После вызова в контору прошла неделя, может, две, и помощник винокура Ясь Луцевич понял, что он хозяевам неугоден, что до лета, до конца сезона, на который он в Яхимовщине осенью нанялся, ему не дотянуть. Спустя годы, вспоминая о своей работе на винокурнях, Янка Купала напишет в автобиографии: «Познал там такой ад, о котором до того и представления не имел». Яхимовщина, после Сёмкова, где он постигал тайны винокурения, была вторым кругом этого ада. Весной 1907 года, и впрямь не дотянув до конца сезона, Ясь Луцевич переехал на работу в Дольный Снов. Начинался круг ада третий...

Глава третья

НАЧАЛО ВОСХОЖДЕНИЯ

Легенда о необыкновенном, исключительном поэте Януке Купале разнеслась по Белоруссии чрезвычайно быстро. Этому содействовало время — тоже необыкновенное, исключительное, время историческое: революция 1905–1907 годов. Край пробудился, пребывал в ожидании, искал выразителей своей социальной и национальной неволи, исторических обид, мужичьей жажды земли и воли, светлого будущего. И неудивительно, что самый даровитый поэт, который в это время трудно, мучительно пробивался из сумрака неизвестности к свету своего дня, сразу же был замечен, сразу же стал одариваться народной любовью. И легенда о нем повсюду опережала его, светлая и чарующая, как сам праздник, который дал поэту имя...

11 мая 1907 года стихотворение Янука Купалы «Косцу» появилось в «Нашей ниве». В марте 1908 года в петербургском издательском товариществе «Заглянет солнце и в наше оконце» («Загляне сонца і у наша ваконца») вышел первый сборник Ивана Доминиковича Луцевича «Жалейка Янкі Купалы», который вскоре станут называть просто «Жалейка». Но поэт стал широко известен среди читающей белорусской публики еще до «Жалейки». В июльских 1907 года номерах «Нашей нивы» были опубликованы его стихи «Лето», «Разве это много?!», «Из песен безземельного», в августовских — «Непогода», «Учись», «Из песен о мужицкой доле», в сентябрьских — «Были у отца три сына», «Зачем?». Социально-программным среди них следует считать стихотворение «Разве это много?!». В нем поэт как бы предъявлял «миру и богу» перечень своих требований. Чего же, однако, он желал? Всего только:

*Пашенки с волоку^[16],
Луг неподалеку,
С горницей хатенку.
Молодицу-женку,
Шматок сала к хлебу
Да рубль на потребу,
Здоровья и воли
И чуточку доли...*

*И все!.. Если строго —
Так ли это много?!*

Серьезные социальные требования, как видим, выражались раешником, будто они были шуткой, не более. Это давало возможность обойти цензурные рогатки. С той же целью использовалась поэтом и народная песня. Стихотворение «Были у отца три сына» публиковалось в «Нашей ниве» под названием «Старая песня на новый лад», а в песне-то раскрывалась судьба всей белорусской деревенской молодежи с ее горевыми, извилистыми путями-дорогами:

*За весной весна — один
Поднимает панский клин;*

*Нанят в стражники второй:
Пуля, сабля, сам — герой;*

*Третий смерть нашел свою —
За земельку пал в бою.*

Здесь уже борьбу за землю, за волю молодой поэт без всякого раешника провозглашал целью своей жизни. И теперь все дело было за тем, чтобы эту борьбу объявили своей целью все отцовские сыновья.

*Учись, бедолага: наука — подмога
В борьбе с темнотой и недолей, —*

советовал поэт.

Кто же, однако, ты сам, бедолага, что смеешь учить нас? На это отвечали кручинные песни о мужицкой доле... Подписанные псевдонимом Янук Купала, они представляли поэта читателю «Нашей нивы» в облике безземельного, сермяжного мужика-страдальца. Они были горестны до отчаяния, эти песни. Ибо Янук Купала понимал, что робкие сетования на судьбу не способны задеть человека за душу, вырвать его из социальной инертности, поднять на борьбу. И он плакал над народной недолей, стонал дактилическими строфами, как еще недавно стонали над всей крестьянской

Русью дактили великого Некрасова:

*Что же ты, непогода слезливая,
Беспросветно висишь над землей?..*

.....

*И не хочешь ты горю мужичьему
Сострадать, непогода, ничуть...*

Сострадала «горю мужичьему», «слез сдержать не могла» муза молодого Купалы. Но уже и первыми своими стихами в «Нашей ниве» поэт как бы возражал своим будущим хулителям, которые объявят его «интеллигентом в пастушьей шкуре», заведомо нарочитой плачеей-причиталкой, не видящей из-за вдовьих слез красоты мира. Это высокомерие эстетствующих опекунов поэзии не позволило им заметить «Лета» — гимна родной природе, ржаной ниве, где «каких только нету красот!..». А ведь «Лето» было одним из первых стихотворений, которыми со страниц «Нашей нивы» Янка Купала начал свое обращение к мужику. Он видел и понимал красоту жизни; причащаясь ею, набирался веры, силы, но изначально акцент сделан на печали, ибо горевою была судьба самого поэта, судьба его народа. Потому и стихотворение «Лето» заканчивалось строками:

*Дай же, лето, мне веру могучую
В то, что счастье заглянет в мой дом.
Дай для песен мне силу живучую,
Для борьбы с униженьем и злом!*

С выходом «Жалейки», с появлением в «Нашей ниве» таких стихов, как «За правду, за волю, за лучшую долю», «Врагам белорусского», «Развейся, туман...», «Левон», «Где вы?..», Купала определенно перемещался в центр белорусской поэзии, становился в ней фигурой номер один. Уже другие поэты начали адресовать ему слова признательности. Первым это сделал старый минчанин, художник и бухгалтер Альберт Павлович, публикуя в «Нашей ниве» в марте 1908 года стихотворение «Зернышко правды». Затем Алесь Гарун прислал поэту благодарные строки с каторги, из Сибири, куда этот участник революции, столяр, эсер-максималист был сослан. Одно из первых своих стихотворений,

«Бездольный», посвятил Купале Тишка Гартный — уже в то время социал-демократ. И Павлович, и Гарун, и Гартный — все это пока что незнакомые поэту люди.

Но Купала оказывался в центре не одной лишь поэзии, а всей литературно-общественной жизни Белоруссии, борьбы ее народа за свое национальное и социальное освобождение. Причем оказывался в этом центре, будучи далеко и от Вильно и Минска, и от городов поменьше — Витебска, Гомеля, Гродно. Новым местожительством его стал Дольный Снов. Где-то на полдороге между Несвижем и совсем тогда еще малоизвестной станцией Барановичи, в тамошних равнинных просторах затерялась дольносновская винокурня, а помощник дольносновского винокура Иван Луцевич, почти вовсе о том не зная, не только обретал по всей Белоруссии друзей, но и наживал врага за врагом.

...К концу 1907 года революция уже затухала по всей России. Наступала полоса реакции, и все выше поднимали Голову те, кто дрожал при одной мысли о народном гневе, кто видел в нем свой конец. Теперь же, воспрянув духом, они коршунами бросились на расправу с передовыми, революционными силами России. Еще в конце 1905 года в Вильно было основано черносотенное общество «Крестьянин». Его вдохновители Ковалюк, Вруцевич, Коронкевич стали издавать газету с тем же названием, по сути, противопоставив свою позицию купаловскому «Мужику». Правда, к этому времени, к концу 1907 года, Купала уже был автором не только «Мужика». Но тем пуще расходились черносотенцы. В 1908 году они уже оформились в виленское «Белорусское общество», издавали газету «Белорусская жизнь», которую редактировал бывший сотрудник суворинского «Нового времени» некто Солоневич М. Ф. В начале 1907 года в Вильно возник и «Русский окраинный союз», который год спустя преобразовался в петербургское «Русское окраинное общество» с собственным печатным органом «Окраины России». Редактором и тут был махровый реакционер профессор Кулаковский. Вскоре «Русское окраинное общество» стало именоваться «Западно-русским обществом» и насчитывало что-то около трехсот членов, «произведя набор» главным образом из столичной аристократии и высшего духовенства, из чиновничества, генеральства, профессуры. Часть членов этого общества была, понятное дело, своим происхождением, своей родословной связана с Белоруссией, носила белорусские фамилии, но на саму Белоруссию, как и на Украину, все «Западно-русское общество», смотрело как на окраины «единой и неделимой» и с наступлением реакции со всех колоколен принялось поносить «белорусинство», «мазепинство». Махровое

черносотенство выискивало в национально-освободительном движении политический криминал, подталкивало власти к расправе над новоявленными «пророками», ратовало за лишение народов-соседей тех прав, которые царь, напуганный революцией, вынужден был в 1905 году предоставить. Особенно беспокоило шовинистов существование именного указа Николая II от 25 декабря 1904 года об отмене всяческих ограничений в использовании местных языков в девяти губерниях: Виленской, Ковенской, Минской, Гродненской, Могилевской, Витебской, Волынской, Киевской, Подольской. Как раз на основании этого указа было принято правительственное постановление, утвержденное царем 14 мая 1905 года, о свободе печати на местных языках в девяти выше перечисленных губерниях. Реакционеры неистовствовали: какое сейчас время? Начало 1908-го! После третьеиюньского переворота прошло больше полугода. Что же царь медлит, не закрывает этой тарбарской «Нашей нивы»? Почему он дает возможность плодиться разным там Купалам?

В атмосфере черносотенного разгула хозяевами ситуации почувствовали себя господа националистической закваски из польского «Kurjera Wileńskiego», из «Виленского Вестника». Им тоже бельмом на глазу был «мужицкий язык». Их тоже приводило в бешенство все, что на нем писалось и печаталось, тем более направленное против социального угнетения, против претензий польских панов на политическое господство над белорусским мужиком, которое они оспаривали у русского царизма. Каким бы странным это ни выглядело сегодня, но польским националистам тогда действительно казалось, что оживление общественно-политического, культурно-литературного движения в Белоруссии спровоцировано агентами самодержавия с целью оторвать белорусов от «праматери» Польши и что чуть ли не черносотенцы «белорусифицируют» исконных поляков.

С наступлением реакции одной из первоочередных задач «Нашей нивы» стало определение ею своей настоящей позиции и защита этой позиции от нападков монархистов, черносотенцев, польских националистов, клерикалов. Потому и появилась в газете 23 марта 1908 года передовая статья, написанная ее тогдашним редактором Александром Власовым. ' «Белоруссия, как известно, — писал автор, — расположена между Польшей и Великороссией. И с поляками, и с русскими белорусскому народу доводилось иметь отношения, общаться еще в самые давние времена; продолжается это общение и сейчас. Со стороны России к нам приходит немало хорошего. Именно великая русская культура, идеи лучших людей России о свободе, о правах Человека были для нашего края, для мужика-белоруса тем светом солнца, который во многом помог им

пробудиться от векового сна; наш мужик и впрямь пробудился так же, как и мужик русский, польский, литовский. От русской культуры мы и теперь берем науку, знания обеими руками... Опять же и Польша имеет свою великую культуру, и белорусам было бы полезно использовать из нее все, что можно...» Охарактеризовав, таким образом, историю и тогдашнее состояние отношений между народами-соседями, автор далее переходил, что называется, к злобе дня: «...Многие честные, справедливые и мудрые люди из русских и поляков весьма и весьма сочувствуют белорусам...» И это была правда — самая что ни на есть истинная правда. «Наша нива» не могла, конечно, не отдать дань уважения тем, кому Белоруссия уже навеки обязана: Пушкину, Некрасову, Добролюбову, Репину, Пушкину с его раёшными, но такими ласковыми строками: «Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли»; Пушкину с его словами о «тихих сетованиях народа, издревле нам родного» (как был точен великий Пушкин в каждом слове вообще и в частности, называя извечные сетования белорусов на свою судьбу «тихими»!). Некрасов же первым из русских поэтов создал впечатляющий образ мужика-белоруса в своем знаменитом стихотворении «Железная дорога». А Добролюбов, славный Добролюбов! Это ему принадлежат слова, необычайно дорогие сердцу каждого белоруса. «Относительно белорусского крестьянина, — писал великий русский критик в 1860 году, — дело давно решенное: забит окончательно, так что даже лишился употребления человеческих способностей...» Добролюбов иронизировал, Добролюбов направлял стрелы своей иронии в реакционеро-современников, но как бы предвидел и мракобесов начала XX столетия. Что же, однако, думал сам Добролюбов «относительно белорусского крестьянина»? «Не знаем, в какой степени ложно это мнение, потому что не изучали специально белорусского края, но поверить ему, — заявлял критик, — разумеется, не можем. Целый край так вот взяли да и забили, — как бы не так!.. Посмотрим, что еще скажут сами белорусы». И белорусы стали говорить, и прежде всего слова благодарности и признательности. Да только не российскому самодержавию, не тем, кто расхотелся, распоясывался в условиях реакции. Им ответ был один, ответ, который самой гневной отповедью прозвучал из уст Купалы.

Нет, свое стихотворение «Врагам белорусского», написанное на винокурне в Яхимовщине, поэт не приурочивал к выходу «Нашей нивы» с передовой статьей Александра Власова — он, понятно, и знать не мог, что таковая вообще готовится. Это в самой редакции решили поместить его в том же — девятом, мартовском — номере. И стихотворение прозвучало как взрыв. Не называя имен, оно било по всей ораве мракобесов, копошащихся,

точно ужачье племя, на выгреве у реакции. Било по «Крестьянину», «Русскому окраинному обществу», «Kurjeru Wileńskim», «Виленскому Вестнику». Било по доносчикам обеих столиц и всех провинций — без оговорок, наповал. И теперь уже личными врагами Купалы становились и лидер «Крестьянина» Ковалюк из Вильно, и профессор Кулаковский из Петербурга, и те триста и иже с ними душителей народа из накрахмаленной столичной аристократии, черносутанного духовенства, служилого и отставного генеральства, лизоблюдного чиновничества, правой профессуры. Ненавистными глазами взирали они теперь на Купалу. Купала же в Дольном Снове тем временем и не подозревал, сколь быстро пополняется армия его врагов и что он стал центральной фигурой белорусского возрождения, как тогда называли общественно-политическое и литературно-культурное движение в Белоруссии...

А в Боровцах сдохли коровы. В Боровцах на аренде Бенигны Луцевич. Сдохли, то ли объевшись росистым клевером, то ли забравшись в некий чертополох-отраву. И теперь вповалку лежали все три за околицей со вздутыми животами: Вишня, Кветка^[17], Люта. Их даже не прирезали. Не успели. А если б и прирезали, куда мясо девать — лето ведь? Мать стояла над неподвижными тушами и беззвучно плакала. Слезы градом катились по темным от солнца, обветренным щекам. Надо же свалиться такому несчастью на ее детей, на нее саму... Как быть дальше? Аренда большая, насилу управились за два лета. На что купить корову? А если купить, чем платить пани Стжелковой?..

Ясь тоже стоял над коровами молча. Глядя на мать, он понимал, о чем та сейчас думала. Горе и в самом деле было большим. Землю крестьяне именуют кормилицей, и, кроме нее, земли, только еще одно существо на свете называют они этим словом — корову, хоть, может, корова больше поилица, нежели кормилица. И если нет в хлеве коровы, нет в хозяйстве половины души.

Сердце Яся болело. Все лето в Боровцах он снова был как на распутье. Что же дальше? Этими скитаниями он сыт по горло! Эта неопределенность существования порядком поднадоела! Эта неустроенная жизнь ему опротивела! Особенно винокурня. Но вот сейчас, над неподвижными коровами, перед молчаливыми материнскими слезами, все собственные горести показались Ясю мелкими, надуманными...

И все же... Дольный Снов, распростился ли он с ним? Или же вновь собираться ему по осени туда, вновь крутиться белкою в колесе между суслом и солодом, между контрольно-перегонным аппаратом Сименса и

бурдой? В Дольном Снове Ясь Луцевич был не только помощником винокура, он был уже тут и поэтом Янкой Купалой. Помещик Гартинг, владелец винокурни, — одного поля ягода с паном Любанским. Но другим человеком оказался винокур Сарнецкий: он явно симпатизировал молодому автору белорусских стихов, как, впрочем, и его жена, пани Мирослава. Где-то сразу же по приезде Яся в Дольный Снов Сарнецкие пригласили его к себе, радушно приняли, и с тех пор новый помощник винокура стал бывать в их доме частенько. Пани Мирослава, женщина привлекательная, образованная, тонко чувствующая, та оказалась просто добрым ангелом для Яся, к которому тут, в Дольном Снове, пришло чувство, столь трепетно им ожидавшееся, но ничего не принесшее, кроме сущих мучений. Неизвестно, как звали дольносновскую паненку, которая заставила горячо забиться сердце поэта и которой было адресовано признание: «Первую тебя я так любил». Как так, можно догадаться из другого стихотворения, написанного раньше, чем это, — «На прощание». В нем как на ладони безнадежно влюбленный поэт, который, оставаясь в своих ежедневных хлопотах помощником винокура, страшно мучится от сознания, что своей избраннице не ровня. Пани Мирослава сразу же уловила, каким могучим душевным порывом рождено стихотворение «Не гляди...». Пани Мирослава глядела, и поэт не стал от нее таиться. Не самой дольносновской красавице, которой он посвятил стихотворение, — Ясь прочел его пани Мирославе. Впрочем, стихотворение вроде бы оказывалось и по адресу: будучи немногим старше Яся, силой выданная родителями замуж за пожилого, больного эпилепсией винокура, сама пани Мирослава до встречи с белорусским поэтом о любви, пожалуй, знала только то, что вычитала из книг. С горящими глазами, взволнованная и несколько смущенная своим душевным порывом, слушала она глуховатый голос Купалы:

*Не гляди на меня, не гляди, отойди —
Я боюсь твоего колдовства и огня!
Надо мной ты смеешься... Ступай, не гляди —
Ты погубишь, погубишь навеки меня!*

*Взгляд очей твоих душу измучил мою.
И с собою мне справиться не по плечу:
То к тебе заспешу, то вдруг стану-стою,
То жалею тебя, то проклятья шепчу.*

Не стряхнуть с себя наваждения пани Мирославе: не сам ли Адам Мицкевич ожил перед нею?..

*Ты не любишь меня. Ты мечтаешь о тех,
У которых дукаты звенят наяву...
Что же дам я тебе? Я беднее их всех,
Я в скитаниях тяжелых на свете живу.*

Пани Мирослава знала ту, которую манил звон дукатов. О, будь пани Мирослава на ее месте, она ни за что не повторила бы ошибки Марыли Верещачки^[18] — не пошла бы за постылого графа Путкамера. Она пошла бы за этого — «живущего в скитаниях тяжелых», за этого — отвергающего в отчаянии свою неразделенную любовь:

*Я же буду терпеть и тот день проклинать,
Когда встретил тебя и увидел твой взгляд.*

*Уходи, не гляди! Это, видно, судьба,
Что вовеки уже ты не будешь моей.
Уходи иль погубишь меня и себя —
Вон бушует во мне кровь сильнее и сильнее!*

— О, если б вы так для меня написали, дорогой Ян! — прошептала пани Мирослава.

Ясь Луцевич покраснел, поднял глаза на пани Мирославу, и, чтобы не выдать, как непривычно порозовели щеки и у нее, пани Мирослава отвернулась к окну.

Стихотворение, посвященное ей, поэт принес назавтра. Оно называлось «Из песен недоли» и было о конвое, который «бредет, сверкая саблями», об арестантах, позванивающих кандалами, о сиротинушке, «у ворот плачущей с голоду, стынувшей с холоду», и о самом поэте, о том, что «за работою бесполезною силы губятся неокрепшие». Под конвоем арестантов вели — это и Ясь наблюдал, и пани Мирослава — трактом, мимо винокурни, на Несвиж, Минск едва ли не каждый день. И каждый день у ворот винокурни плакали сиротинушки.

Стихотворение заканчивалось словами:

*Эх, и как тут жить
Сердцу чуткому,
Не согретому,
Одинокому!*

На чье же это «сердце чуткое» намекал поэт? На свое? На сердце пани Мирославы? Посвящая ей стихотворение, Ясь, понятное дело, и думал о пани Мирославе, о ее сердце, которое не шибко-то разумел и согревал пан винокур. И потому оно, сердце пани Мирославы, казалось Ясю одиноким. Но пани Мирослава все восприняла иначе.

— Дорогой мой поэт, — смущенно заговорила она, — я допускаю, что ваше сердце никем не согрето. Но неужели вы у нас одиноки? Неужели я вас не понимаю?..

— Понимаете, пани Мирослава, как никто, понимаете, — заторопился успокоить ее Ясь. И тут же в последней строфе зачеркнул слово «одинокому» и надписал над ним «отчужденному».

Пани Мирослава улыбнулась.

— Будемте ж друзьями!.. — сказала она.

В начале 1908 года во Львове на украинском языке вышла брошюра И. С. Свентицкого «Возрождение белорусской письменности». В приложении к ней Свентицкий поместил два стихотворения Купалы: «Что ты спишь?..» и «Там». Это были те самые стихи, которые поэт написал и читал рабочим в Яхимовщине. А Свентицкому он передал их в прошлом году в редакции газеты «Минский курьер», где его с Илларионом Семеновичем и познакомил тогда же Самойло. Едва брошюра вышла в свет, она тотчас же легла на стол петербургского цензора Васенцевича-Макаревича. Цензор прочел произведения Марки Бездольного (так было подписано стихотворение «Что ты спишь?..») и Янука Купалы (это имя стояло под стихотворением «Там») и, найдя их крамольными, передал брошюру графу Муравьеву «для запрещения... с невыдачей просителям». Муравьев наложил резолюцию: «Запретить согласно докладу и не выдавать». Это произошло 5 марта 1908 года, буквально за несколько дней до выхода в Петербурге в товариществе «Заглянет солнце и в наше оконце» сборника «Жалейка». И счастье Купалы, что бюрократическая машина сработала на сей раз не столь оперативно, как в случае с брошюрой Свентицкого. «Жалейка» попала на рассмотрение в Санкт-Петербургский комитет по делам печати при министерстве внутренних дел только 14 октября 1908

года. Постановление последовало жесткое: наложить арест и привлечь к ответственности лиц, виновных в напечатании. А 4 ноября тот же комитет обратился к прокурору Петербургской судебной палаты с отношением, в котором просил начать следствие против Купалы и тех, кто имел касательство к изданию «Жалейки».

А Купала, ничего не подозревая, проводил лето в Боровцах. Мать дала «Жалейке» иную аттестацию:

— Это, сынок, не та картонная дудка за два злотых, которую ты когда-то упросил отца купить. Эта не расклеится. Хотя всякой напасти ждать можно — лихое сейчас времечко...

«Как в воду смотрела, — стоя над сдохлыми коровами, думал Ясь. — Да если б только это...»

Как раз вчера дядька Амброжик из соседних Мочап принес Ясю газету «Минское эхо» за девятое июля. «Тут и про тебя», — только и сказал. Ясю было приятно, что дядька Амброжик знает, кто такой Янка Купала, и водит с ним дружбу. Ясь развернул газету, и горячая волна подкатила к сердцу: отзыв, первый отзыв на его стихи, на его «Жалейку»! Глянул на подпись: Ядвигин Ш. И интерес его еще больше возрос.

Ядвигина Ш. Ясь знал давно. Под этим псевдонимом выступал Антон Иванович Левицкий. Еще в Радошковичах, в пору своей писарской карьеры, слышал о Левицком Ясь Луцевич. В доме следователя не однажды вспоминали мужицкую пьесу, написанную лет десять тому назад радошковичским аптекарем Антоном Левицким. Может, потому, что один из гостей следователя, акциз-ник, просто умирал со смеху, говоря о мужицком театре пана аптекаря, или «холопомана», как он еще презрительно называл Левицкого, Ясю сразу и запомнилось имя этого человека из Карпиловки.

А в Карпиловку Ясь пришел из Селищей — взять книг да еще из любопытства: каков он, этот пан, рискнувший мужицкий театр создать? Хозяин Карпиловки оказался человеком с особинкой, компанейским, энергичным, и, хоть был гораздо старше Яся — на целых четырнадцать лет, — они подружились. Хлебосольный Антон Иванович обычно усаживал молодого поэта на веранде, щедро и настойчиво потчевал; затем они переходили в гостиную, и после чарки-другой беседа вновь оживлялась, нередко затягиваясь допоздна. Левицкий был вторым человеком в жизни Яся, который побуждал его к писанию стихов.

Уважал Ясь Ядвигина Ш. чрезвычайно: он видел в нем бывалого литератора, который печатался уже и в Минске, и в Вильно. А еще Левицкий учился когда-то в университете в Москве. Что всего лишь год он

там учился, ореола не развеивало, потому что Ясь Луцевич об университете и мечтать боялся. А еще Ядвига Ш. был участником студенческих волнений, и ему пришлось отсиживать за это в знаменитых тогда на всю Россию Бутырках. Словом, Антон Иванович был в глазах Яся еще и самым настоящим революционером. И понятно, что мнением этого человека он весьма дорожил.

С первой же фразы Ясь узнал своего старого приятеля: по игривости тона, по шутливому присловью: «Лучше быть первым на деревне, чем вторым в Риме». Ясь шутку принял, не замечая, что в контексте отзыва она не столь уж безобидна, что противопоставление «деревни» и «Рима» ставило «деревню» на заведомо низшую ступень. Но затем эта игривость тона стала раздражать, потому что перешла уже в унизительную развязность. «Томик белорусских стихов Янки Купалы» — «новоиспеченный»... Самойло — «белорусоман»... Язык белорусов — «умирающее наречие», «топорный»... И что с того, что после слова «топорный» в скобках стояло: «Пусть простят мне белорусы!»? Что с того, что Купала дважды был назван поэтом народным и даровитым? Сути дела это не меняло: Ядвига Ш. задел Яся за живое. Он поверить не мог, что все это написал Антон Левицкий из Карпиловки, который сам был автором прекрасных рассказов на прекрасном, казалось Ясю, белорусском языке.

А вот это как понять? «И если мечтам белорусоманов — воскресить и дать литературную оболочку умирающему белорусскому наречию суждено осуществиться, то среди пионеров этой идеи одно из первых мест займет, бесспорно, Янка Купала». Вроде и на похвалу похоже, на пророчество даже. Но неужто Антон Иванович и себя к «белорусоманам» причисляет? Слово-то какое! Особенно коробила Яся вторая его часть, ассоциировавшаяся с обманом^[19], жульничеством. «Англоман, французман — это понятно. Но людей, называющих себя возрождениями, окрестить «манами»?! Чушь какая-то», — негодовал Ясь.

Ну а это уже отголоски их давних споров в Карпиловке: «Мы воздержимся пока от детальной оценки по существу и тенденциозности большинства стихотворений «Жалейки». «Почему воздержимся?» — недоумевал Ясь. Объяснялось весьма туманно: стихи, мол, писались во время революции, «что не могло не отразиться ни на отзывчивости, ни на восприимчивости поэта вообще...». В примечании к рецензии сообщалось, что автор подготовил второй сборник, и выражалась надежда, что «в нем даровитость и взгляды поэта выступят более определенно, более рельефно». «А что, — не без раздражения думал Купала, — в «Жалейке» взгляды не определенные, не рельефные? Да полноте, Антон Иванович, и

определенные и рельефные. Мужичко-революционные! Уж вам-то мои взгляды известны. И чего хотелось бы вам, знаю — помню ваше предостережение: бойтесь мужика, его ненависти, не разнуздывайте ее... Неприятие вами тенденциозности «Жалейки» — никакая для меня не новость!..»

Замечания о художественных достоинствах сборника тоже были «извинительными» (рецензия шла в русской газете, по-русски, и именно этим русским словом и определил их Ясь). «Жизнь белоруса слишком монотонна, — писал Ядвигин Ш., — и мы не должны поэтому быть особенно требовательные в разноколерности сюжетов...» В общем, критику «Жалейка» показалась одноцветной. «Хорошо еще, что серой не назвал», — грустно усмехнулся Ясь.

Недоумение вызвала и та часть рецензии, где Ядвигин Ш. позволял себе «высказаться за сохранность чистоты особенностей белорусского говора, и тем более в поэзии». К чему бы это? Повторное чтение дело вроде бы проясняло: Ядвигин Ш. в «Жалейке» чистоты языка нигде, оказывается, не обнаружил, кроме как в стихотворении «Соха», которое он назвал «классическим образцом». И тут же, правда, оговаривался, что «таких стихов в «Жалейке» читатель найдет немало», ибо автор ее — поэт очень даровитый. Даровитый, потому, мол, и сумел на топорном языке создать не одно «вполне лирическое стихотворение».

После такого первого отзыва на свои стихи Ясь Луцевич чувствовал себя не лучшим образом. Чего в нем больше, искреннего одобрения или сомнительных похвал, он решить не мог, как не мог теперь твердо себе ответить: истинно ли откровенный человек его друг — Ядвигин Ш.?

Покидая Дольный Снов весной, Ясь не знал, вернется он опять сюда, на винокурню, или не вернется. Сарнецкий же, видя настроение своего помощника, будучи посвященным в его мечты, говорил, что если намерениям пана Луцевича не суждено будет осуществиться, то и в новом сезоне он с радостью встретит его в Дольном Снове. Ясю, однако, эта радость меньше всего улыбалась. Не было никакого желанья все начинать сызнова, он давно жаждал вырваться из заколдованного круга, по которому он — осень-зима-весна-лето — блуждает.

А прощаясь с дольносновской паненкой, которая впервые пробудила в нем обжигающую радость и горечь любви, Купала обещал:

*Свою самую лучшую песню,
Одинокий, сложу о тебе.*

Самая лучшая песня у поэта всегда впереди. Мечту о ней у Купалы родила любовь. Купала, который говорил Андрею Посоху, что для него все его стихи равны, этот Купала неожиданно начинает думать о своей самой лучшей песне и написать ее клятвенно обещает себе и любимой. Предчувствие ли это, что самые лучшие произведения будут вдохновлены женщиной? Понимание ли, что любовь — исток самых высоких песен?..

Своего обещания дольносновской паненке Купала, однако, не выполнил. Видно, дольносновская любовь была еще не та любовь. Не та, раз ее заглушили другие чувства. Они вдруг, разом нахлынули на Яся в Боровцах летом 1908 года. Нахлынули и вылились в стихах «Развейся, туман...», «Из песен жизни», «Тучи и думы», «Где вы?». Все это были стихи чрезвычайно горестные, очень личные — точная фиксация душевного состояния Купалы, находящегося на распутье, терзающегося тем неведением, той неуверенностью, с которыми он ждал приглашения из Вильно, где его уже хорошо знали, где он второй год активно печатался.

Весьма легко представить Купалу в Боровцах возле старенькой, покосившейся хаты — временного пристанища арендаторши-матери, легко, если вчитаться в его строки-заклинание:

*Развейся, туман, не клубися угрюмо
Над хатой, и, дождик, не лей!
Пусть выглянет солнце, пусть горькая дума
Души не терзает моей.*

В Боровцах действительно точно в тумане жил поэт и не видел никакого просвета впереди. Его давние мечты об учебе, о Вильно, пронесенные из юности через ад винокурен, были и в самом деле горькими, изводили поэта своей неосуществимостью.

*Что-то мне лучшую жизнь предвещало,
Выше и дальше маня.*

Это «что-то» сидело в нем — не изгнать, не забыть, не отмахнуться. Оно было зовом его судьбы; оно «выше и дальше манило» и, конечно же, думал Ясь, только «лучшую жизнь предвещало».

Но картина, которую Купала рисовал в Боровцах, поставив себя в ее центре, отражала не только тамошний ландшафт:

*Стою и гляжу я на хату кривую,
На ниву пустую свою —
И катятся слезы, и я горевую
Негромкую песню пою;*

*И небу молюсь я; и, жизнь озирая,
Жду силы-подмоги в беде.
Но — темень глухая от края до края,
Ни свету, ни следу нигде...*

Тщетно ждать откуда-то «силы-подмоги» — в стране господствовала реакция. Всебелорусской картиной реакции становились стихи Купалы, пронизанные его личной болью, отчаянием:

*Ни свету, ни следу... Изводятся силы.
Дух правды погас роково.
А счастье? Неволя, тоска и могилы —
Вот горестный образ его...*

Могилы — чьи? Тех, кого поэт называл «хлопцами непокорными», ушедшими «с песней удаюю» «на поле на просторное». «Поле просторное», конечно же, революции. А что же теперь, после революции? Каким он стал, этот мир? Этот край, что с ним будет? Много и напряженно размышлял Купала в Боровцах, признавался нерадостно:

*По небу черные тучи плывут —
Черные думы уснуть не дают.*

«Черные думы» возникли у Купалы прежде всего от сознания бесконечности горя на земле, горя бедолаги-человека, который впустую пока что весь свой век «воюет... с тучами». Что же становилось песней жизни этого человека? Сумеречная весна в курной хате, где он рождается; короткое лето без счастья и утехи; сырая осень с несжатым колосом на ниве; суровая зима — последняя четверть года как последняя четверть жизни человека. Несжатый колос в снежном сугробе находит свой вечный ночлег. Не похож ли на этот колос он, Ясь, одиноко засидевшийся в

Боровцах в ожидании осени?

Писал Ясь Луцевич свои горестные стихи и, конечно, не подозревал, что как поэт стоит на пороге создания одного из первых своих грандиозных произведений — поэмы «Извечная песня», которую заметит и похвалит сам Максим Горький. Горький скажет: «Вот бы перевести ее на великорусский язык!»

«Извечная песня» не была песней о любви, обещанной дольносновской паненке. Это вновь была песня о мужике — о вековечном горе селянском, человеческом, о горе самого Яся Луцевича, его матери, его отца, безвременно сошедшего в могилу.

...Коров закопали там, где они пали, содрав только шкуры для кожевников. Казалось бы, закопали — и дело с концом. Не век же убиваться. Только где там... Легко ли было той же матери войти в пустой хлев? А какими глухими казались ей теперь вечера без звонких ударов упругих струй молока о белый подойник! Ненужными, нелепыми безделушками уже который день сушились на штaketинах черные кринки. «Вешки скорби», — с горькой иронией думал о них Ясь.

Видеть же, как переживает мать, и вовсе невыносимо. «И вот вечно, вечно так: не одно, так другое», — растерянно сокрушалась она, разводя руками.

«Вечно, вечно так», — эхом отдавалось в сердце Яся. И как покончить с этим вечным, извечным? Как перервать пуповину у мачехи-недоли, не отпускающей от себя ни матери, ни его, Яся? Она и отца не отпускала, а отпустила — так уж навсегда, в небытие...

А может, само горе производит человека на свет? И мыкает он потом его весь век, не размыкает?.. Нет, с этим Ясь согласиться не мог. Не горем и не на горе рождается человек. Человек рождается для счастья... Для счастья, как птица для полета! И рождает его всесильная жизнь. Вот Купала и даст первое слово ее Величеству Жизни пусть говорит о человеке вообще:

*Всех сильных он будет сильней,
Всех мудрых он будет мудрей...*

*Так будет он долгие годы
Царем, властелином природы.*

И царь этот будет весь век

Название носить — человек^[20].

Но поэт Купала не станет описывать жизнь человека вообще. Разве он осмелится утверждать, что знает, что такое человек вообще. Он знает, кто такой мужик, какова его судьбина от колыбели до гроба, и будет изображать то, что знает...

Общий план новой, совсем неожиданной для Яся поэмы сложился сразу. Она будет состоять из ряда картин: первую станет рождение Мужика в липовом корыте, последнюю — смерть Мужика, его похороны. «Вы, пан Левицкий, — не мог забыть Ясь Луцевич рецензии в «Минском эхе», — говорите, что «жизнь белоруса слишком монотонна»? Зря это вы, Антон Иванович. Ничуть она не монотонна — ни жизнь вообще, ни жизнь мужика-белоруса. Потому я и выпишу свадьбу Мужика как самый высший момент его бытия:

*Вот где, братцы, разгуляться!
Вот когда потехе час!..*

А Молодой своей невесте будет говорить у-меня!

*Станем жить мы по-иному —
Как никто и никогда...»*

«Извечную песню», как, впрочем, и все другое, Ясь писал одержимо, быстро — подчас целые монологи без правок ложились на бумагу, точно они были обдуманы и набросаны заранее. Поэт рисовал и самую что ни на есть реальную, обыденную жизнь мужика, как тот пашет, сеет, косит, жнет, и размышлял о крестьянской судьбе вообще, начиная с времен крепостничества и кончая нынешними, послереволюционными, годами. Он стремился показать Мужика не беспамятным существом, а человеком, который умудрен опытом истории, и потому вкладывал в его уста слова:

*Вышибала мне панщина дух,
Волю звал — думал: даст она хлеб.
Но как будто не прерван тот круг —
Я все так же и беден, и слеп.*

Извечная песня бедности и слепоты!..

Ясь Луцевич доволен: ему удастся показать, объяснить, в чем причина смерти Мужика, что свело его в могилу. Но вот сам-то Мужик не знает, почему, за что, за какие такие грехи он осужден на извечное горе: рождается — не знает, умирает — не знает. И тут Яся Луцевича осеняет мысль: его герой, его Мужик, не может, не должен оставаться в этом полном неведении. Пусть и после смерти не дает ему покоя его злосчастная судьба. Пусть тенью встанет Мужик на своей могиле и вопрошает жизнь, людей, что же его так рано, без поры, сгубило, в чем причина его извечного горя?.. Поэт дописывает заключительную, XII картину поэмы и называет ее «На кладбище». Ясь Луцевич чувствует удовлетворение: он задумал, и он создал апофеоз мужичьей жажды счастья — даже с того света встает его герой, чтоб узнать, есть оно, это счастье, на земле или же нет его?..

Поэма, таким образом, была не только печальной, сродни кандалному звону, песней об извечном селянском горе — она получилась и как гимн неодолимому народному стремлению к счастью, и как пророческий призыв рвать извечные цепи жизни, основанной на нечеловеческих законах.

«Извечную песню» Купала закончил 22 августа. Поставил дату. Подписал: «В Боровцах». Вздохнул. На душе тяжело: он вроде и свалил с нее камень и вроде бы вовсе не сваливал...

...Дядьку Амброжика Ясь увидел, как и Самойло когда-то, еще на выходе из лесу. Шел дядька быстро — явно торопился. «Не ко мне ли? Никак опять что-то вычитал?» — зная Амброжика как грамотея на всю округу, читающего чуть не все минские и виленские газеты, подумал Ясь. Дядька Амброжик действительно сворачивал к Луцевичам, и было что-то торжественное в его осанистости, в том, как он здоровался с Ясем, как, точно впервые, разглядывал его.

— Ну, что новенького в этом мире? — пригласив в хату, спрашивал Ясь тем временем гостя.

Тот, лукаво поглядывая, спросил, в свою очередь:

— А что, мил друг, «Нашу ниву» выписываешь?

Коль дядька Амброжик завел речь о «Нашей ниве», Ясь тотчас же догадался, почему он и говорит и выглядит иначе, нежели в тот раз, когда приносил «Минское эхо». Тогда в нем была какая-то виноватость. Ясь «Нашу ниву» получал и уже прочел в ней большую рецензию на «Жалейку».

— Как же, выписываю, — не мог сдержать улыбки Ясь, видя, как гость на мгновение растерялся, даже сник — его миссия в Боровцы расстраивалась, теряла всякое значение.

— А я... это... думал, не знаете, — с «ты» на «вы» перешел дядька Амброжик. — Вот и выбрался...

— Спасибо, спасибо, что не забываете Яся, — входя из кухни в горницу, решила спасти положение Бенигна Ивановна. — И раз к обеду угодили, не откажите. Ясь, приглашай гостя.

За столом, выпив чарку и другую, дядька Амброжик никак не хотел налегать на закуску, отмахиваясь от настойчивых угощений Яся. Гость был из тех, кого хлебом не корми, а дай поговорить и особенно почитать. В нем жила какая-то природная жажда просветительства. И он сейчас неописуемо обрадовался, увидев достойный объект своего просветительства в лице Бенигны Ивановны. И после очередной, третьей, чарки извлек из кармана свитки газету.

— Сын-то, по всему, пани Бонн, вам не читал, что тут про него пишут? — спрашивал дядька Амброжик и, не ожидая ответа, предложил: — Тогда я прочту. Ловко, скажу я вам, написано, ловко!

Он развернулся спиной к окну, чтобы на газету падало больше света, и не спеша, выразительно, точно смакуя, произнес первые слова:

— «Белорусская поэзия. «Жалейка». Песни Янука Купалы». Это, пани Бонн, название статейки, — попутно пояснял дядька Амброжик. — Пишут же вот что: «До недавнего времени за белорусским языком никто у нас не признавал права на самостоятельную жизнь, его высмеивали, называли «дубовым», «хамским», ему отводилось самое незавидное место: дальше мужицкого задворка, дальше убогих мужицких полей не смело выходить мужицкое простое слово... В школе и в жизни все было сделано так, что и сам мужик-белорус стал чураться и родного языка своего, и своего народа».

А что, разве неправда? — поднимал дядька Амброжик глаза от газеты. — Истинная правда, пани Бонн, видит бог, истинная. — И читал далее: — «...Восьмимиллионный белорусский народ, задавленный вековым гнетом, забытый богом и людьми, рассеянный среди неприютных болот, лесов, гор и песков, не имел даже песняров-печальников и заступников...»

И вот, паузой выделил Амброжик эту весть, Белоруссия дождалась-таки своих «печальников», и принадлежит к ним в первую очередь молодой поэт Янук Купала.

— Гляньте, гляньте, пани Бонн, — поворачивал дядька газету к Бенигне Ивановне. — «Янук Купала» тут не просто напечатано, как другие слова, а выписано. Это нам всем говорят: обратите внимание, запомните.

Большое уважение тут выражено...

С последними словами дядька Амброжик даже встал и вещал теперь, точно с амвона:

— «Песни Купалы — это зеркало, в котором отражается душа белоруса, его жизнь, его родной край; это правдивый, неподдельный голос, исходящий из глубин народной души, это — «крик, что жива Беларусь!». И тот, кто раньше не верил, что белорусский народ сможет пробудиться и пойти собственной дорогой, должен теперь признать, что белорусы еще не умерли, что еще имеют силу жить и развиваться, что уже сами они «несут свою кривду на свет божий», захотели «людьми зваться»...»

Улыбаясь возбужденному голосу дядьки Амброжика, Ясь думал, как это все непохоже на рецензию Ядвига Ш. «Умиряющее наречие...» Не умирало и умирать не собирается, Панове — шляхта! И снова Ясь ушел в себя, в тот напряженный внутренний спор, который, кажется, никогда в нем и не затихал. И теперь доходили до него только отдельные, обрывочные фразы. Да и то лишь те и лишь потому, что были созвучны его думам, укрепляли его веру в свою правоту, в свое предназначение. «Мысли я взгляды «Жалейки» — это мысли и взгляды народа... На великое строительство края зовет нас песня... В «Жалейке»... жизнь мужика, образы родной сторонки... и вес полно сочувствия, теплоты, любви к бедному, забитому краю...» Пока Ясь спохватился и вновь настроился внимательно слушать гостя, тот подбирался уже к последним строкам.

— «Мы искренне поддерживаем песняра, — произнес дядька Амброжик таким тоном, словно это «мы» звучало не от чьего-то имени, а от имени самого дядьки Амброжика — единственно он не счел нужным ткнуть еще себя при этом пальцем в грудь. Заключительные слова дядька тоже вымолвил так, точно они были его личным напутствием Ясю Луцевичу: — Пусть его думы... найдут дорогу в каждую хату сельчанина-белоруса. Пусть «Жалейка» будит народное самосознание, пусть помогает белорусам очнуться от векового сна, жить новой жизнью, расти и развиваться в добром согласии с братскими народами-соседями!» — Как сват на свадьбе, оглашая эти пророческие пожелания, стоял в красном углу купаловской горницы славный сосед из Мочан дядька Амброжик...

...В начале сентября Ясь Луцевич получил долгожданное приглашение из Вильно. Ему предлагали место в частной библиотеке Б. Л. Даниловича и сотрудничество в газете «Наша нива». Радость поэта была несказанной. Мечта его жизни осуществлялась.

Глава четвертая

ЗАЧАРОВАННЫЙ ЦВЕТOK

Ждало Янку Купалу Вильно многонациональное, идейно и литературно пестрое — один из значительных центров общественно-политической и культурной жизни России, Польши, Литвы и Белоруссии начала XX столетия. Ждало Вильно передовое, демократическое и настороженно-молчало или враждебно посверкивало пенсне Вильно официальное — с помпезным возле Кафедрального костела памятником Екатерине II и не менее громадным — у дома губернатора — Муравьеву-вешателю. И вовсе безразличным к какому-то Купале было, понятно, Вильно клерикальное, Вильно расфранченного Георгиевского проспекта, законодателей последних поэтических мод, вольготно чувствовавших себя под крылом губернского официоза — «Виленского Вестника», пропольского «Kurjera Litewskiego», черносотенного «Крестьянина». Вильно, однако, знало Купалу гораздо лучше, нежели он Вильно, которое пригласило его к себе. К нему, передовому, демократическому, и ехал поэт — молодой, энергичный, полный надежд, радуясь подобному повороту в своей судьбе.

Но к приподнятому, праздничному настроению подмешивалась и тревога: ехал-то он все-таки в город незнакомый, к людям, достаточно ему неизвестным, навстречу событиям, предвидеть которые не дано и величайшим поэтам. Как все его попутчики в то утро, с поезда Купала направился в город тоннелем. Но, поднявшись по ступенькам наверх, куда он пошел первым делом и к кому, кто знает сегодня? Он мог пойти по давно ему известному адресу «Нашей нивы» — на Виленскую, 20; мог направиться и в библиотеку Бориса Даниловича «Знание», которая находилась на главном проспекте города и куда он приехал работать помощником библиотекаря.

На следующий день по приезде в Вильно Ивана Доминиковича встретила тогда совсем молоденькая Павлина Меделка — красавица, стройная, как былиночка, с тонкими чертами лица, с задумчивыми серыми глазенками под чернявыми бровками и светлым лобиком, обрамленным волнистыми, каштанового цвета волосами. Спустя годы она вспомнит:

«...Однажды утром зашла я к знакомым. Мне открыл дверь молодой мужчина. Он был в жилете, рукава белой рубашки закатаны, высокий

твердый воротничок манишки подпирал подбородок, светлые волосы, еще мокрые, гладко причесаны. Впустив меня, он остался в кухне.

— Кто это? — спрашиваю у хозяйки.

— Янка Купала, — отвечает. — Вчера приехал.

— Ку-па-ла?.. — удивилась я. — Я совсем другим его себе представляла.

— А что, не понравился? — смеется она.

Я замолчала, потому что уже вошел Купала, приодетый. Светлые небольшие усики торчали вверх остро закрученными концами. Познакомились. Начался разговор. Купала шутил, спрашивал у меня, много ли в Вильно красивых девчат, весело ли они проводят время. Вообще, говорил со мной, как с девчушкой, которая отнюдь не прочь пошутить с молодым хлопцем. Я насупилась и не отвечала, недовольная столь игривым поворотом разговора. Он представлялся мне гораздо старше, солиднее. Это же человек, которому предсказывали большое будущее, поэт, стихи которого так глубоко проникали в душу, захватывали. И вдруг на тебе — обыкновенный хлопец, да еще затевает такую несерьезную беседу».

Дадим слово еще одному очевидцу — писателю Максиму Горецкому, который видел Купалу в Белорусском клубе на Виленской, 29, видел, правда, спустя пять лет после первой его встречи с Павлиной Меделкой. Тогда, стесняясь, Купала прочел тихим грудным голосом несколько своих стихотворений. И кажется, станцевал полечку с какой-то девушкой. Потом выпил стакан чаю в буфете и тишком ушел из клуба. Был он тогда еще «молодым, лет 30, и блондин, отчего казался еще моложе. Ходил в скромном сером костюмчике и в старых, поношенных ботиночках». Герой, рассказывающий об этом у Горецкого, подумал: «Такой незаметный человечек, а так складно пишет стихи!»

Совсем другим Купала показался хозяйке квартиры, где он остановился и где его назавтра впервые встретила Меделка. Но кто она была, эта хозяйка? Почему и на склоне лет Павлина Викентьевна не назвала ее имени? Кто из редакции привел Купалу на эту квартиру? Ибо, думается, перво-наперво в «Нашу пиву» пошел он в то утро: ему хотелось поскорее увидеться с людьми, представлявшимися издалика исполинами духа, бескорыстными защитниками всего прекрасного, светлого, всего для него святого. Тем более что по отношению к нему они были еще и благодетелями: пригласили в Вильно, подыскали работу. Купала просто не мог не пойти в редакцию, чтобы поблагодарить людей, сделавших ему добро...

С пышными черными усами, плечистый, огромного роста, редактор-

издатель Александр Никитович Власов действительно смотрелся богатырем. Но при всей внешней импозантности было в нем что-то вроде и запанибратское: то ли в басовитом, ухающем смехе, то ли в бесконечном «пане мой», то ли в обрыве чуть ли не каждой фразы вопрошающим «что»...

Братья Иван и Антон Лапкевичи не походили друг на друга вовсе. Младший, Антон, — ровесник Купалы и настоящий в то время редактор «Нашей нивы», — невысокого роста, с белым красивым лбом, с темно-серыми глазами. Иван же на целую голову возвышался над братом, отчего его продолговатое лицо еще больше казалось вытянутым. Они были сыновьями железнодорожного чиновника из Минска. Оба окончили университет (Антон учился даже в двух — Петербургском и Дерптском) и оба талантливые люди: старший увлекался древностью, младший проявлял недюжинные литературные способности в публицистике и в критике. С братьями Ясь Луцевич познакомился еще в Минске. Спустя годы Антон Лапкевич будет вспоминать, что «в 1905 году ему довелось впервые встретиться с этим скромным, робким и неуверенно чувствующим себя в Минске молодым человеком». В тех же воспоминаниях Антон Лапкевич писал: «Редакция сразу же оценила способности поэта и стала помещать его произведения на почетном месте — рядом с произведениями Якуба Коласа. Наконец редакция «Нашей нивы» вызывает Купалу из деревни в Вильно, расстаравшись для него работу... Поработав год в Вильно и употребив себе на пользу, с одной стороны, книжные богатства библиотеки, а с другой — ближайшее знакомство с нашенивцами, Купала осенью 1909 года перебирается в Петербург...»

Ближайшее знакомство с нашенивцами... Да, оно началось с приездом Купалы в Вильно, с его работой в газете, однако выглядело не таким гладким и розовым, как это много позже — в 1929 году — пытался представить бывший редактор «Нашей нивы». Воспоминания другого нашенивца, Вацлава Ласовского, гораздо ближе к правде, когда он тоже в 1929 году писал для Инбелькульта о купаловских «некоторых серьезных и неприятных переживаниях перед отъездом из Вильно в Петербург в 1909 году...».

Сам же Купала в письме от 21 сентября 1928 года признавался своему первому биографу: «...В 1904–1905 гг. я познакомился с белорусскими революционными деятелями (кажется, членами «Громады») В. И. Самойло — бывшим моим репетитором, Бурбисом — будущим комиссаром земледелия БССР, Скондриковым и братьями Лапкевичами. Они давали мне нелегальную литературу для распространения и т. д. Ближе я тогда с

ними не сошелся, потому что я по природе своей был больше индивидуалистом и не мог бы выносить партийного или иного какого подчинения». Другими словами, молодой Ясь Луцевич в самом начале отмежевался от Лапкевичей как организаторов политического движения. В Вильно же был сделан выбор окончательный, и началась конфронтация Лапкевичи — Луцевич, которая будет ой какой долгой, ой какой сложной...

В том же автобиографическом письме поэта мы находим и нечто совершенно противоположное утверждениям Антона Лапкевича. Вот слова Кўпалы: «Пребывание в Вильно и встречи с виленскими литераторами и общественными деятелями существенно на мне не сказались». Поэт правдив и откровенен, он не хочет обвинять в своих бедах кого-то другого, он все берет на себя: «Виной тому я сам, слишком увлекался компанией второго сорта, к сожалению». Чуть дальше у Купалы о жизни в Петербурге: «Пребывание мое в Петербурге в смысле встреч с русскими литераторами мало чем отличались от Вильно. Также увлекался веселой компанией, которая в смысле духовном мало чего могла дать...» Причиной тому, утверждал поэт, была «моя тогдашняя застенчивость, а может быть, и маленькая гордость, не хотелось идти на поклон».

Запомним эту купаловскую «маленькую гордость». Запомним! Она во многом объяснит нам Купалу в жизни, во взаимоотношениях с людьми, поможет нам понять его как личность. Сам Купала о своей гордости написал «маленькая», а Владислава Францевна, жена поэта, 26 лет прошедшая с ним рука об руку, в своих воспоминаниях о муже перво-наперво отметит, что он «был очень гордым, никогда не любил жаловаться на свою судьбу». «Был очень гордым», хоть Павлине Меделке при первой встрече показался всего лишь озорником кавалером, Максиму Борецкому — «незаметным человечком» с «тихим грудным голосом», Антону Лапкевичу — «скромным, робким и неуверенно чувствующим себя... молодым человеком». Какие обманчивые впечатления от первых встреч с Купалой! Насколько не совпадало внешнее, кажущееся с глубинным, сущностным в его личности. Купалу в первый год его жизни в Вильно в достаточной мере не понимали ни Павлина Меделка, ни братья Лапкевичи, ни Власов, ни Ласовский, который стал работать секретарем «Нашей нивы» с марта 1909 года, переехав в Вильно из Петербурга. Лучше всех в это время поэта понимал один Самойло. Да и то по-своему. В Вильно как раз и случилось то, чего Самойло страшно боялся и никак не предрекал Купале. Богемщина? Нет, хотя Владимира Ивановича, разумеется, беспокоила и «веселая компания». Но что особенно и прежде всего тревожило Самойло, так это Женщина, которая могла забрать, полонить всего Купалу. А она уже

и забирала поэта, полонила его...

Гордое сердце Ку палы давно уже томилось в ожидании пришествия Ее, и давно уже это сердце не подпускало Ее к себе, видя в Ней препятствие на пути к книге, к поэзии. Купала боялся Ее прихода, и тот же Купала, как бабочка на пламя, нет-нет да и устремлялся на огонь любви. До сих пор, однако, он летел на него, его ни разу не достигая, ибо до сих пор он не находил взаимности. И в этом смысле горькой сиротиной считал себя поэт на свете. А тут, в Вильно, она взяла и пришла, пришла раньше, нежели он успел посвятить ей стихотворение, назвав ее «долгожданной»:

*Ты пришла ко мне, когда
Зазвенели холода,
Тын стонал, и взад-вперед
Хохлик бегал у ворот...*

Неслучаен тут стонущий тын, как и хохлик-дьяволенок, перебегающий дорогу любви...

*Ты согрела сердце мне
В полутьме и полусне;
Пани ты была, я — пан...*

Имя пани знала молоденькая Павлина Меделка. Не было ли оно именем той хозяйки, которую не назвала Павлина Викентьевна, вспоминая о первой встрече с Купалой? Ее имя знал и В. И. Самойло, когда писал Б. И. Эпимах-Шипилло: «Любовь женщины — любовь слепая, распыляющая душу, творящая чудеса; эта любовь пробуждает и «чудо», заложенное в поэте; любовь мужского духа, зрячая, просвещенная, воедино собирает душу поэта чистейшим чувством дружбы, благодарности, делает из него настоящего рыцаря духа без страха и упрека — героя не на минуту, а на всю жизнь».

Откуда вдруг у Самойло это противопоставление любви женской и любви мужской? Почему в том же письме от 2 декабря 1909 года он «по поводу нашего бедного Яну-ка» выражал неприкрытое опасение: «боюсь за него очень»? Что он имел в виду?..

Это называют любовью с первого взгляда. Была ли она в самом деле таковой, трудно сказать, но что все началось с первой встречи, это

несомненно. А первая встреча произошла действительно в то время, когда еще «звенели холода» — в марте 1909-го, не в самом начале, но где-то близко к нему. Вацлав Ласовский вспоминает, что в Вильно из Петербурга он переехал именно «в первых числах марта» и, надо полагать, где-то вслед за этим праздновал новоселье, на котором Купала и встретился с нею. Ласовский снял квартиру на Александровском бульваре в доме номер 18. Она была совсем небольшой: комната — четыре аршина на восемь, и примыкающие к ней крохотные сени — пол-аршина на четыре, которые делали жилье немного просторнее и к тому же оказывались бесплатными; с ними квартира выглядела совсем не шестирублевой в месяц. За столом из редакции были Антон Левицкий и Янка Купала. Редактор и издатели не посчитали для себя за честь присутствовать на столь скромном новоселье[^] Из домашних нового секретаря газеты были жена и ее сестра. В своих воспоминаниях В. Ласовский то обеих сестер называет Пеледами, то лишь сестру своей жены — Софью Иванаускайте. В этом уже выразилось отношение пана Вацлава к своей жене: он вроде забывал, что и она — Лаздину Пеледа, и она — писательница.

Под псевдонимом Лаздину Пеледа сестры из Каунаса Мария и Софья Иванаускайте выступили в литовской литературе еще в 1898 году. К этому новоселью в Вильно у сестер уже были изданы книги «Скиталец», «Исчезло, как сон», «Матушка позвала». Была у них и еще одна книга, ровесница купаловской «Жалейки», — «Прекрасная жалейка». Как это удивительно совпадало: он, Купала, — просто жалейка, они, Пеледы, — прекрасные, волшебные жалейки! Сестры писали в своих книгах об угнетении народа помещиками, о неприкаянности выгнанных из родных мест крестьян, об их вечном хождении по мукам, о сиротском одиночестве, о горькой судьбине литовской женщины, а также о духовной опустошенности, деградации шляхты. Ничего еще вышедшего из-под пера Лаздину Пеледы не читал Купала, переступая порог их нового жилища. Но богатство и сложность внутреннего мира сестер, духовную напряженность их жизни он почувствовал сразу же, как только завязалась после первых молчаливых тостов беседа.

Благодаря Ласовскому мы знаем, о чем они тогда, будучи еще едва знакомы, говорили. Ласовский записал: «Янка Купала хвалил Блока и Словацкого. Горячей поклонницей последнего была моя жена... Значительную часть вечера заняло сравнение Метерлинка и Словацкого («Król-Duch»). Левицкий был против всяких модернов, и с ним солидаризовалась Пеледа (Софья)».

Как же часто, однако, ненароком выдают себя, свои потаенные чувства

даже умнейшие люди! Уже двадцать лет спустя, вспоминая этот, 1909 год, Вацлав Ласовский сделал в машинописном оригинале собственной рукой весьма, как ему казалось, важную для охранения его чести правку. Помните: «Янка Купала хвалил Блока и Словацкого. Горячей поклонницей последнего была моя жена...» Так вот, то, что Купала хвалил Словацкого, Ласовский опускает. Словацким — в поправленном тексте — начинает восхищаться только жена пана Вацлава: не дай бог, читатель заподозрит, что у Купалы и пани Марии что-то общее!..

Не с того ли мартовского вечера у Ласовских родилось у поэта желание написать и свой сон — сон в купальскую ночь на кургане, сон о цветке счастья, которое ищут не дети, как у Метерлинка, а то ли он сам, Купала, то ли кто то другой, но обязательно взрослый герой. Об этом своем замысле поэт сразу же скажет петербургскому профессору Б. И. Эпимах-Шипилло, как только в Вильно, где-то на переломе лета и осени 1909 года, впервые с ним встретится. А тогда, на самом новоселье, когда «значительную часть вечера заняло сравнение Метерлинка и Словацкого», Купала вступил в разговор, заметив, что какая-то уж больно книжная символика у Метерлинка — совсем не то, что у Словацкого.

Пани Мария не соглашалась:

— А Великая Радость Быть Справедливым, Радость Быть Добрым, Радость Завершенного Труда, Радость Мыслить, Радость Понимать, Радость Созерцать Прекрасное?..

— Слишком много радости, — говорил Купала, — и от Труда у Метерлинка не пахнет потом. Абстракция! Меня это не трогает. А вот о царстве будущего — хорошо, о детях, рвущихся в мир, — жить, создавать Всеобщую Конфедерацию Планет Солнечной Системы, огонь, который будет согревать Землю, когда остынет Солнце, уничтожать несправедливость... Помните, пани Мария, как это там. Время ищет честного человека: «Еще нужен честный человек, хотя бы один, в качестве необыкновенно редкого явления...»

— Время до сих пор его ищет, — улыбается пани Мария, и глаза ее, искристые, оживленные, кажутся Купале, как у маленького героя Метерлинка, полными звезд. А как горячо, увлеченно говорит она о вдохновенном возвышении у Метерлинка настоящих радостей жизни, ее ценностей: Блаженства Голубого Неба, Блаженства Леса, Блаженства Видеть Зажигаются Звезды, Блаженства Бежать По Росе Босиком...

— А будучи голодным, больно ли станешь всем этим восхищаться? — спрашивает Купала.

— Но ведь Метерлинк мир собственничества осуждает, — парирует

пани Мария. — И не только его. Вспомните Тучных в Земном Блаженстве! Блаженство Есть, Когда Уже Не Чувствуешь Голода; Блаженство Ничего Не Понимать — слепое, точно крот; Блаженство Ничего Не Делать и Блаженство Спать Больше, Чем Нужно, у которых руки как хлебный мякиш, а глаза как желе из персиков...

Купала удивлен: так помнить детали и подробности пьесы Метерлинка! Он говорит пани Марии комплимент, но тут же выражает и несогласие: чтобы руки лодыря да сравнивать с хлебом?!

— Воплощение Хлеба у Метерлинка, — продолжает Купала, — вызывает у меня чисто человеческое неприятие, как, впрочем, и Воды, и Огня. Ну, почему тот же Хлеб у Метерлинка должен носить роскошное убранство, кажется, паши — высокий тюрбан, ятаган? Призрак Хлеба у него с огромным животом, с толстыми красными щеками. Наша белорусская сказка никогда бы не стала так трактовать хлеб. Хлеб для нас не экзотика. Вот тут я Метерлинка не понимаю.

— Белорусский поэт и впрямь не может этого понять, если он поистине народный, — подхватывается пани Мария. Она рослая, с огневыми глазами. — И огонь для вас, пан Ян, другое, и вода... У Метерлинка он только жжет, у вас же он прежде всего купальский, очищает, и вечный, как знич... [\[21\]](#)

— Знич ваш, литовский, — замечает Купала.

— Если наш, то и ваш: я вам дарю, — улыбается пани Мария.

От ее улыбки на душе у Яся легко, солнечно.

*Красота... Дочь Слова,
Королева одного из северных народов, —*

читает он вслух из Словацкого и шутит:

— Если вы, пани Мария, королева одного из народов севера, владычица, то почему бы вам и не быть столь щедрой: принимаю от вас знич и благодарю.

Купала, встав, имитирует грациозный поклон. За столом весело, шумно. Цитирует Словацкого и хозяин квартиры, не подозревая, что весьма к месту, адресуя строки и такой оживленной сегодня своей жене, и такому галантному сегодня Купале:

*Мне лик ее, сонный доселе,
Стал солнцем яснеть перед взором.*

— Я же неспроста дарю вам огонь, пан Ян, — с певучим литовским акцентом, растягивая имя Купалы, говорит пани Мария. — И вообще на свете именно так, как утверждает Словацкий:

*Пророки в огне возникают, и новый
Неведомый мир гуляры предвещают.*

Пророки — что-то не шибко нравятся они хозяину квартиры, и он пытается увести разговор в сторону, но пани Мария и Купала и сами уже заняты иным. Они вообще, как дети, перескакивают с одной темы на другую, и оба точно помешаны на Словацком.

Она:

*— ...Ранам пурпурным уста отверзая...
Страданья свои увяжу я в гирлянду,
Как тот, кому больно за тысячи братьев.*

Это же так прекрасно, пан Ян! Не правда ли?

Он:

— А это еще прекрасней:

*Летящее солнце держа над челом,
Серебряный месяц топтала ногами.*

Или:

*Кровь скакуна шпоры густо омает —
Так буду мчаться, покуда народы
Мне не покажут другую, как ты,
Хотя б королевой огня иль воды.*

И как на саму королеву огня и воды смотрит на пани Марию Купала, обычно спокойный и молчаливый, а тут такой возбужденный и разговорчивый. Характера Купалы Ласовский еще не знает, а потому на

разгоряченность поэта особого внимания не обращает. А пани Мария и Купала уже говорят о любви, нет, не вообще о любви, а опять же о той, о которой в «Króli-Duchu» Словацкого. Мария ужасается:

— Нет, нельзя полюбить человека только за то, что он имеет силу, что наводит страх на других, что осуждает кого-то на муку!

— Но ведь это-то как раз и удивляет Короля-Духа, — уточняет Купала. — Он сам поражен, что его полюбили-вознесли за его силу, за страх, который он на людей нагнал, за страдания, на которые свой народ осудил.

— Такого в жизни не может быть, — не соглашается пани Мария, — знать, что кто-то палач, и любить палача.

— Есть психология личности, и есть коллективная психология громады. Любовь интимная, любовь мужчины и женщины — это одно. Совсем по иным законам формируется любовь громады, общества к своему кумиру...

Все это неторопливо стал излагать Ласовский, не глядя ни на пани Марию, ни на Купалу, ни на Левицкого, ни на сестру жены — Софью. Его логикой поначалу очень уж было увлеклась Мария: увлеклась в Петербурге, в Императорской публичной библиотеке, где когда-то познакомились, где столько вместе читали, прочитанное обсуждали. Но давненько уже тон пана Вацлава в разговорах то ли с женой, то ли с кем другим переменялся — стал академически спокойным: пан Вацлав знает себе цену, знает, что умен, и плохо, думает Мария, что показывает, что знает. Так о своем супруге Мария думает тоже давненько уже.

— Таким образом, — вещал отстраненно-холоден Ласовский, — это вполне вероятно, что утверждает Король-Дух: народ можно купить кровью, любовь народа — пролитой того же народа кровью. И Словацкий лучше вашего брата, — взгляд на Купалу, — знал психологию массы, когда писал:

*Не один сельчанин вечером долгим
Утешится песней и с гордостью вспомнит,
Как предок на смерть шел с отвагой великой,
Казнимый своим Королем и владыкой.*

Вот видите, песня узреет заслугу даже в рабской покорности казнимых, объявит смелостью бездействие вообще, соглашательство с королем-узурпатором. А короля-убийцу не осудит. Не так ли, наши пророки? — Ласовский вновь обращает взгляд на Купалу и Левицкого. — Или вы не станете утешать себя песней перед кем-нибудь, может, более

кровожадным, нежели Король-Дух?..

Глаза Купалы пылали. Он в этот момент просто ненавидел спокойный, менторский тон хозяина квартиры. А чего стоил намек на возможное прислужничество лирой, да еще кумиру, готовому купить любовь к себе кровью?!

Глаза Ласовского ледяные, черные. «Как у хохлика», — сторонясь их душой, подумал Купала.

— Вы его не знаете, — стараясь сгладить впечатление от слов мужа, говорит пани Мария. Но тосты на отходную были опять веселы и беззаботны, словно никакая черная кошка и не пробежала между гостями и хозяином. Купала, целуя руку приветливой хозяйки, может, чуть дольше, чем полагалось по этикету, задержал ее в своей, чувствуя узость ладони, холодноватость длинных пальцев.

Гостей провожал хозяин. Пани Мария оставалась на пороге, и Купала не мог забыть ни в тот вечер, ни назавтра и послезавтра тихого ее приглашения:

— Заходите...

Рыцарство духа, романтизм В. И. Самойло понимал по-своему: он был оригинальным критиком, эстетиком, философом. Любил Александра Блока, тонко и глубоко чувствуя его поэзию и опять же оригинально ее трактуя. Совсем не случайно статью Самойло, опубликованную в Минске в сборнике «Туманы»^[22], Блок выделил, имя критика запомнил, его мнение посчитал одним из «немногих исключений»^ которые его чему-то научили, и в материалах «Из первой биографии» поставил это мнение в ряду с тем, что писали о его творчестве В. Брюсов, Вяч. Иванов, Д. В. Философов. Более того, между А. Блоком и В. Самойло возникла переписка, из которой сегодня известны четыре письма Самойло к Блоку.

Блока в своей статье о нем Самойло сравнивал с Достоевским. Оба писателя поражали критика пророческими прозрениями; интересовало его и отношение Блока к традиции. «С русской традицией, — писал Самойло, — связывают его Вл. Соловьев и Тютчев, а образ Мадонны ставит его в самую интимную связь с эпохой Возрождения, а отсюда — со всем последующим развитием человечества, на которое этот образ имел такое огромное влияние...»

Самойло был идеалистом, искал в жизни Мадонну, искал «чистого» романтизма, а молодость уже уходила — в 1909 году ему было уже за 30. Он нашел идеал своей любви у Блока, всем сердцем полюбил Янку Купалу. «Мне он очень дорог» — эти слова тоже из письма Самойло к Эпимах-

Шипилло. Дорог, а тут на пути поэта становится женщина, да не Мадонна, а пылкая, влюбленная, самоотверженная. Мужская правда Купалы, казалось критику, может обернуться, если уже не обернулась, «нашей», их правдой — женской. А это значит, не терпит ли крах в Купале романтик, возвращать которого начал в нем Самойло, не терпит ли фиаско его, Самойло, искренняя любовь к поэту, та самая, которая — «не требует, она угадывает». Любовь Купалы к женщине требовала всего Купалы. Это видел Самойло и в отчаянии восклицал: «О, уважаемый профессор, помогите ему Вашими прекрасными испытанными средствами, не утратившими, однако, всей свежести юношеской чистоты и веры в человека сердцем. В Ваше влияние я глубоко верю... Купала Вас полюбит, помогите ему...»

Но не только от «женской» правды, от любви спасал романтик Самойло романтика Купалу. Письмо Самойло со слезной просьбой к Эпимах-Шипилло пошло из Минска в Петербург десятью днями позже, нежели из Вильно К тому же профессору было отправлено письмо самого Купалы. В нем уже не слезная просьба слышится, а крик отчаяния, безысходности. «Многоуважаемый паночек! — писал поэт 21 ноября 1909 года. — Простите, что осмеливаюсь так часто Вам надоедать, но что я, горемычный, поделаю, если мое скверное положение к этому вынуждает. Я хотел бы спросить у Вашей милости, что хорошего слыхать о моем деле? В Вильно я долго продержаться не смогу, а так искренне хотелось бы не погибнуть и пожить где-нибудь в культурном месте, чтоб закалить и отшлифовать себя для служения делу белорусскому. Пан Антоний Л., приехав из Петербурга, ничего мне утешительного не привез. Мне же очень хотелось бы засесть в Петербурге в какой-нибудь библиотеке: уж как-то страшно я люблю это занятие! Если подвернется что-нибудь, телеграфируйте мне — я в любую секунду могу к Вам явиться.

Если ничего сносного не придумаете, со мной, по правде, плохо будет.

Еще раз прося дороженького паночка и всех сотоварищей не забывать обо мне, остаюсь с уважением и искренним пожеланием всего доброго. И. Луцевич».

Гордый Купала, он в жизни менее всего жаловался на свою судьбу. А тут в одном письме о себе и «горемычный», и «скверное положение», и «долго продержаться не смогу»...

Что с Купалой действительно могло случиться что-то плохое, об этом знал Самойло, когда садился за письмо профессору Эпимах-Шипилло. Знал также, почему поэту в Вильно долго держаться не под силу, почему он может погибнуть. Женщина? Да, женщина была. Но к краю пропасти Купалу подвела не она, хоть, безусловно, усугубила его положение. Не в

любви надо искать первопричину безвыходной ситуации, в которую попал поэт, еще и года не прожив в Вильно.

В упоминавшемся письме Самойло к Эпимах-Шипилло первопричина драмы Купалы 1909 года излагается так: «Между нами говоря, — переходил критик на доверительный тон, — Купала, как настоящий поэт, — ленив и больше верит вдохновению, чем работе. Эту веру в нем нужно оздоровить — ровно настолько, чтоб не убить вдохновения. И я думаю, что пребывание у Вас, пусть и временное, окажет на него именно это благотворное влияние. В Вильно, к сожалению, этих условий — не убий, не потуши духа, любви — не было, и зачастую у них с редакцией не совсем получалось, чтоб рядком да ладком. Он, кажется, поленивался, его недооценивали».

Вообще нельзя не обратить внимания на то, что Самойло не делает из Купалы кумира, не боится говорить о его лени, хоть, думается, и эта легенда пошла не из его уст — Самойло лишь повторил ее. Вслед за кем? Скажем так: за теми, кто пустил эту легенду гулять по свету, кому она была выгодна. Мы ведь еще увидим, как работал Купала в газете — точно заложник, когда ничто не выбивало его из колеи, когда ничто не противоречило его идее служения национальному возрождению, не убивало, не гасило духа, любви. И вот здесь тысячу раз прав Самойло, когда писал: «В Вильно, к сожалению, таких условий... не было». «Рядком да ладком» же у поэта с нашенивцами не получалось потому, что его и в самом деле в редакции не понимали, недооценивали, а главное — из-за резкого расхождения Купалы с тем, чего он в принципе никогда не мог принять, с чем никогда не мог согласиться.

Как же случилось, что Вильно, куда так рвался поэт, стало для него невыносимым, стало как бы зачарованным цветком, тем, волшебным, и не тем, к которому он стремился всей душой, но сорвать не сорвал? С чего все началось? Может, с того, что после первой встречи в редакции добродушный редактор-издатель Александр Власов, словно беря Купалу и под свою опеку, попытался вручить ему гривенник на обед да еще посоветовал, что в трех шагах от редакции есть столовая-чайная, открытая «Союзом истинно русских людей», где можно за пять копеек и борща и каши поесть? Купала от гривенника резко отказался: он его оскорбил как подачка. «А за стол с черносотенцами и близко не сяду», — еще резче промолвил поэт.

Власов благодушно смеялся, щуря свои чуть косящие глаза. Косоглазие редактора Купала заметил с первых же минут знакомства с ним, и с первых же минут его не покидало ощущение какого-то перекоса, что ли.

— Так вы, пане мой, как и я, хуторянин, — басил Александр Никитович. — Не станете хлебать черносотенного борща, что?

— Люблю щи, а если борщ, то украинский, — отпарировал Купала. — А хутора не те ли доктора, что до поры свели в могилу комара?..

Братья Лапкевичи были в меньшей мере хуторянами, в большей — людьми с лоском. Но как ни старались они скрыть невидимые пружины, приводившие их в действие, с Купалой это не проходило: Купала уже и в том возрасте был чутким на людей. Он, говоря словами Якуба Ко-ласа, события и явления жизни «воспринимал остро и умел сразу видеть их суть и смысл». Лапкевичам Купала нужен был прежде всего как батрак, рабочая сошка. А от того, что он еще и поэт, издатели выгадывали вдвойне. Больше года на подобных правах Лапкевичи держали при себе Якуба Коласа. Не стало Якуба Коласа, посадили Коласа в тюрьму, освободилось место сошки, так можно было и добродетелями стать: вот вам, дорогой Купала, сердечнейшее приглашение в редакцию, а чтобы и на борщ иметь, вот вам еще договоренность о вашей работе в библиотеке. У нас ведь гонорара нет, мы — бедная белорусская газета, мы работаем только ради идеи, ради просвещения нашего обиженного народа, развития его национального самосознания, утверждения человеческого достоинства мужика-белоруса. И Купала рад был потрудиться на благо народа. Он приехал в Вильно энтузиастом, он застал там еще не одного такого же, как сам, энтузиаста, многих увлеченных идеей возрождения края открыл и привлек к сотрудничеству в «Нашей ниве»...

Но что же еще застал Купала именно в газете? Застал полосу размежевания в ней правых и левых тенденций, размежевания под одной вывеской, которое проявлялось уже в том, как, что и где размещалось в редакции. Комната со стороны улицы и светлица с окнами во двор... В первой делалась вся фактическая работа, и делалась она Купалой. «Приходилось, — вспоминал он потом, — все делать. Править рукописи, особенно стихи, переводить с польского, русского и украинского языков, вычитывать корректуру, помогать в экспедиции газеты и т. д. Это в 1908–1909 гг.». Чего ж тогда не делал Купала в газете, коль пошла молва о его лени? И откуда она пошла? Догадаться нетрудно — из светлицы с окнами во двор, из-за двери, закрытой от поэта на ключ и завешенной тяжелой драпировкой. Но мы пока не будем открывать этой двери, отдергивать тяжелой драпировки. Посмотрим, как в сумеречной комнате со стороны улицы идут дни и труды сотрудника «Нашей нивы» Янки Купалы.

Пусть шокировал его гривенником редактор-издатель Власов, пусть он уже почувствовал скрытную, затаенную натуру братьев Лапкевичей,

Купала работает, Купала уверен, что сидит на своем месте, что делает нужное дело. Так оно в действительности и было. Стихи поэта шли из номера в номер. К этому времени «Наша нива» стала выходить в два раза чаще: 52 номера в 1909 году против 26 в 1908-м. Это значит, и нагрузка на сотрудников редакции возросла вдвое. Трудно было уследить за всеми изданиями, чтоб остаться газетой непровинциальной. Ведь только в одном Вильно в это время выходило 20 газет: литовские, польские, русские... «Наша нива» стремилась быть в курсе того, что пишут не только центральные газеты «Речь», «Русское Слово», но и такие, как, скажем, «Волжский Листок», «Окраины России». Труднее стало с сообщениями с мест, особенно зимой, а также весной и осенью — в бездорожье, когда из редакции практически никто никуда не выбирался. И садился тогда сам Купала вспоминать, каким был прошлый год в Больших Бесядах, в Боярах и Хоруженцах, какие в распутицу дороги возле Карпиловки, Жуковки, Лускова — дороги, сызмала ему знакомые. Летом было полегче. Отлучился, например, 26 июня Купала в Боровцы, к матери (не при условии ли, что привезет материалы для газеты?), и тут же по возвращении пошли в очередные номера «Нашей нивы» заметка из Боровцов о пани Стшелковой, большая корреспонденция из Острошицкого городка, зарисовки из других мест, которые мы сегодня называем купаловскими: из Беларучей, Хоруженцев, Семков-городка, Лускова. Под материалами стояли разные псевдонимы: Сосед, Никита Чужеземец, Случайный, Лусковец, Николай Тиунчик. Не оставил Янка Купала «Нашу ниву» без своих корреспонденций и тогда, когда отправился в Любчу, в усадьбу Бенин Вселюбской волости. Поэта в октябре 1909 года послал туда в качестве управляющего Данилович. Кстати, этот факт как раз и замалчивал Антон Лапкевич, когда утверждал, что «Купала осенью 1909 года перебирается в Петербург» непосредственно из Вильно. А переезд, оказывается, был с пересадкой в Бенине, длившейся, по словам самого поэта, «около двух месяцев». Однако мы поторопились с Бенином...

То, что Купала многое тянет, Власов и Лапкевичи видели; что не зануздан ими, видели тоже. Всё видели, но трактовали на свой лад. Они — на свой, Купала — на свой. Но они были втроем, Купала же чаще всего один, одинокий в своем романтическом служении идее, в своей гордости, в своем сиротстве, в своем хождении по мукам, по университетам жизни, которое после ада винокурен для него не окончилось, а продолжалось на новом, более высоком витке. И все чаще посещало поэта чувство, что он скитается по свету, как цыган; чувство гнетущее, нестерпимое.

Чем больше познавал Купала редакционную кухню «Нашей нивы»,

тем невыносимее там ему становилось. Отголоски внутренних конфликтов не могли не прозвучать спустя годы в воспоминаниях участников тех событий. Послушаем же эти отголоски;

Вацлав Лисовский. 1926 год. Вспоминает: «За закрытой дверью светлицы с окнами во двор вершились «высокие» политические материи. Отзвуки широких планов доходили в комнату со стороны улицы из третьих и пятых рук, часто в хаотической форме. Одно лишь было ясно: там шла крупная игра со значительными ставками со стороны униатской иерархии и некоторых других, сильных в те времена, политических предводителей края. От улицы же — шла публика «черная» и «серая». Думали по-разному, жили разными идеалами, носили в себе зародыши разных направлений национальной мысли».

Антон Лапкевич. 1928 год. Вспоминает: «... Лисовский, сыгравший, к сожалению, не очень красивую роль в нашем возрожденческом движении благодаря своей болезненной «амбиции» и стремлению к славе... Ласовский не был ни социалистом, ни революционером... и впустую тратил свои силы и бесспорные способности на неблагоприятную роль творца клерикально-консервативной партии (вместе с бароном Шафнагелем, князем Святополк-Мирским и некоторыми ксендзами)...»

Ласовский уличал Лапкевичей в связях с униатами и даже чуть ли не с черносотенцами, ибо кто же был «сильным в те времена»? Антон же Лапкевич, в свою очередь, обвинял Ласовского в сближении с ксендзами, баронами, князьями...

С началом работы в «Нашей ниве» Янка Купала вообще скоро заметил, что Иван Лапкевич обеспокоен *более* делами коммерческими, чем газетой как таковой. Доставая всевозможными путями деньги на издание «Нашей нивы», на идею, он не забывал часть из них материализовать в предметах старины — понятно, белорусской, национальной, понятно, ради все той же идеи, ради возрождения Беларуси, показа ее славного и богатого прошлого, создания будущего музея — славы народной. Об этом только и ведутся изо дня в день бесконечные разговоры, идет реклама, пропаганда. Но собирательство музея, торг вокруг национального наследства, коммерсантская радость от приобретенного, выцыганенного, взятого обманом очень уж напоминали поэту малобесядского лавочника Бромку с его потиранием рук от хотя бы маленького гешефта.

А вечные свары Ивана Лапкевича с Ромуальдом Зямкевичем? Именно из-за экспонатов, которые никак не могли поделить, и всегда обвиняли друг друга в надувательстве. После этих свар Купале малоприятно было читать статьи Зямкевича, хоть им нельзя было отказать в содержательности, а их

автору в образованности и неординарности.

В кафешантанах на Георгиевском из граммофонных раструбов только и слышалось: «Всюду деньги, деньги, деньги, всюду деньги без конца...»

Но как хорошо, что на том же Георгиевском есть библиотека Даниловича! В ней Купала отходил душой. Тишина. Величественная тишина книг — мудрых внуков, праправнуков Скорины. Тут можно сидеть и — сколько душе угодно — медленно листать страницы. Торопиться незачем. Сам Данилович — душа-человек, настоящий интеллигент, книжник. Открытый взгляд — глаза не бегают, не крутятся, как у торгашей. Он их щурит, близорукий. Достает очки. В очках он выглядит гораздо старше. И помолчать возле него хорошо. Едва ли не впервые тут, в библиотеке, рядом с этим малоразговорчивым человеком Купала ведет беседу молча, залечивает раны свои молча — с книгой в руках.

Тишина в библиотеке. Тут никто не отзовется из-за двери, закрытой на ключ: «А что там в клетке Купалы?» В редакционной комнате, где просиживает свои утра поэт, за спиной у него — полка с квадратными клетками для рукописей на каждого автора. Есть там и клетка Янки Купалы, которая пустой никогда не бывает, хоть в Вильно стихи он пишет едва ль не вдвое меньше, чем прежде. А пишет он их, или, лучше сказать, записывает уже сложенные в памяти, обдуманые при ходьбе, перед сном или во время одинокого обеда, — записывает преимущественно в библиотеке.

А в редакции, когда слышится приглушенное закрытой дверью и драпировкой «а что там в клетке Купалы?», когда он берет с полки листки со своими стихами и просовывает их в щель под дверью, он вообще себя чувствует словно в клетке. Может, потому и не поется ему, как раньше пелось. Вольная птица — в тюрьме. И зачем летела эта птица сюда? Чтобы так вот совать бумаги? Сквозь щель — свои звонкие песни?!

Идет Купала из библиотеки в редакцию — и хоть уши затыкай от граммофона: «Всюду деньги, деньги, деньги...»

Кончая вычитывать очередную корректуру газеты, под словами «От редакции» Купала чуть ли не в каждом номере видел: «Объявления принимаются на последнюю страницу по 40 коп. за линейку малыми буквами». Сколько платили заказчики за большие буквы, поэт не знал. В первой половине 1909 года «Наша нива» афишировала подписку на газеты «Таврический народный учитель», «Западный Буг», на саму «Нашу ниву», оповещала о продаже хозяйственных машин и приспособлений Зыгмунта Нагродского, карманных часов с вечным календарем первого сорта, рекламировала общественно-политический журнал «Союз женщин»,

журнал «Наша птицеводная жизнь», сообщала о выходе брошюры «Белорусы», новой еженедельной газеты на польском, языке «Przeгляд Krajowy» в Киеве, которая поставила своей задачей «разбирать и защищать дела Украины» и завела также отдел «Из Белоруссии и Литвы». Платных заказов для газеты искал Иван Лапкевич — это была его обязанность; от его расторопности зависела материальная поддержка «Нашей нивы». Но когда в конце 1908 года «Наша нива» стала рекламировать подписку на... «Виленский Вестник» и «Kurjer Litewski», Купала был в замешательстве. Как — на тот самый «Вестник», на тот самый «Kurjer», которые терпеть не могут «Нашей нивы»?! Ладно бы только «Вестник», пусть его, он официоз. Но поддерживать шовиниста Яна Обета — редактора «Kurjera»?! Купала посчитал «линейки малыми буквами», умножил на 40 копеек. И чтоб за эти крохи заламывать шапку перед неприятелем?! Как же так... «40 коп.», торгашество выше того, что разделяет «Нашу ниву» с «Вестником» и «Kurjerom»? Купала чувствовал себя так, словно его публично оскорбили, Купала нервничал, но взрыва пока не произошло. До августа 1909 года разбуженный в груди поэта вулкан всего только дымился, и каким будет его извержение, пожалуй, никто в редакции не догадывался; не догадывался и сам Купала. А тем временем взрывной материал накапливался. И причиной тому были не только злосчастные «40 коп. за линейку малыми буквами»...

Она сама пришла к поэту. Мы уже говорили: он и стихотворения не успел ей посвятить, опомниться не успел. Она была на десять лет старше его, была замужней и мужа своего тоже старше была на девять лет. Женщина большой души, высокого горения — Лаздину Пеледа!

Писатели, как дети на отца, похожи на свой народ, и есть в чертах их лица, в выражении глаз, в улыбке и жестах, в походке и стати, в проявлении чувств, есть обязательно то, что присуще облику самого народа. Писатели, как дети на мать, в каком-то смысле всегда похожи и на природу своей страны: то ли на пущу, то ли на степь, то ли на снеговой простор... Так и Лаздину Пеледа, так Мария и Софья, походили и на свой народ, и на природу своей Литвы. Наследуя мудрость народа, его традиции, поэтическое миропредставление, они псевдоним себе взяли от сказочной птицы Совы. Они стали Совой Орешника — мудрыми рассказчицами, просветительницами, заступницами бедных и оскорбленных. Их было две Пеледы — Софья и Мария, два добрых духа литовских перелесков-орешников. Для Купалы же существовала одна Лаздину Пеледа — Мария.

Она так же оплакивала судьбу народную, долю народную, как и он; она была таким же гордым рыцарем в битве за идею обновления мира, как

и он; как и он, она была тоже непонятой и одинокой.

Об одиночестве Марии писала ее дочь, не старшая — Ганка, а младшая — Станислава. Надо полагать, она пересказывала слова матери, когда, отмечала, что у них с отцом не было понимания, что отец не вводил мать в круг своих интересов, считал домашней хозяйкой, и только. Она как писательница не нашла у него признания, он постарался сделать ее несчастной. И лишь один человек понял душу и сердце матери Станиславы — молодой белорусский поэт Янка Купала. У них сразу возникло взаимопонимание, духовное единение; их разговорам не было конца. Мария почувствовала себя окрыленной — она снова стала писать. Купала читал ей вслух свои стихи. У них было совпадение и политических взглядов. Продолжалось это год или два, а после этого родилась она, Стасюте, — так заканчивала Станислава свои воспоминания о матери.

Совсем иное об отце писала Ганка: он для нее и талантливый, и работающий, и обходительный, и внимателен к семье, к матери...

Ганка — дочь своего отца; Стасюте — дочь своей матери, той, единственно счастливой, понятой, когда рядом с ней был Янка Купала...

Мария! Твое имя для него свято, как имя божьей матери. Зачем же замалчивать его? Отчего так долго, словно заколдованное, ты не выговариваешься? Ведь разве любовь грех, а не дар? Это же только средневековые прятали голову от тебя, как страус от опасности прячет голову в перья хвоста. А нужно ли нам, любовь, прятаться от тебя, стыдиться тебя?

Имя ее не назвала Меделка, и мы еще скажем почему. Имя ее не назвал Самойло, а ведь знал. Имя ее повторял Купала: «Ave Maria!»...

...— Заходите, — приглашала она в тот первый вечер, а он был такой рыцарь, что все откладывал свой приход и теперь уже раскаивался, что откладывал.

— Ты опять, Янас, грустишь?..

Она каждый вечер заглядывает ему в глаза. Она любит бездонную глубину его глаз.

— Улыбнись, — просит, потому что его глаза не должны быть такими грустными, если это правда, что он любит ее, что она для него — всё.

— Ave Maria... — улыбается он одними губами.

Она это видит и по-детски мило разыгрывает обиду:

— Какой ты неслух, Янас!.. Опять что-нибудь в редакции? — Голос у нее добрый, сочувствующий, материнский. — Ну, ничего. Сейчас я расскажу моему Янасу сказочку, и все забудется. Хочешь послушать сказочку о грустных глазах?

Он принимает эту ее игру, он согласно кивает головой.

И Мария тихим, таинственным голосом начинает:

— За пущами, за Неманом, за рощами ольховыми, за ярами орешниковыми жил-был хлопчик — белый одуванчик, хороший-прехороший, веселый-превеселый. Бегал он лугом цветистым, бегал он полем чистым — слушал пенье птиц да звон криниц, ветер да тишину. А еще он любил меж людей слушать лирников и дударей... Арендатор! — вдруг звонко восклицает Мария. — Старайся, мажь колеса дегтем, а переезды-то далекие: заскрипят, заплачут оси за десятою горою, да и за одиннадцатою — тот же пан, урожай, как бог даст! — И снова сказочница переходит на таинственный полусшепот: — Арендатором же был отец хлопчика-одуванчика. Хлопчик-одуванчик сидел себе на возу, на соломенном посаде: колеса все скрипели, а он, как паничек...

— Так уж и как паничек?! — перебивает Купала.

— Сам же говорил: как паничек, — настаивает Мария и продолжает сказку: — ...как па-аничек, е-эдет, е-эдет...

— Приехал! — клонится Купала к ее плечу головой.

— Не приехал, а сиди-ит на возу, е-эдет и читает. Отец из рук его книгу вырывает, а он ее за пазуху или под соломенный посад пря-ачет... И что тут начинает в сердце хлопчика-одуванчика твориться, того ни в сказке сказать, ни пером описать! — опять восклицает Мария. — Стра-ашный разлад!

— Откуда ты все знаешь? — удивляется Купала.

— Орешниковая Совочка все знает, — с деланной гордостью говорит Мария. — О, бедное сердце хлопчика-одуванчика! В том сердце — всё, что в книге, а в глазах — всё, что видит с воза. «Почему в сердце — одно, а в гла-сах — другое?» — спрашивает себя, мучится хлопчик-одуванчик и не находит ответа. И тогда знаешь что сделалось с глазами хлопчика-одуванчика? Они стали грустными-грустными... как у тебя!.. Ну... не читал бы ты, Ян, корректуры хоть сегодня! Хоть сегодня не писал бы...

Полтора месяца — с 1 мая по 16 июня 1909 года — Янка Купала не пишет. В 1907–1908 годах в «Нашей ниве» спаренных номеров не было, в 1909-м их появляется пять: последний, 31-й и 32-й, вышел за 21 июля — 6 августа. Однако стоп! Тут мы приближаемся ко дню взрыва.

Стихотворение «Заколдованный цветок» было уже на подступах к нему — стихотворение о Купальской ночи, о «руках... миллионов», тянующихся туда, «где дремлет Купальский курган»:

*У этих веселые очи,
А этим их кровь залила;*

*Толкание, стоны и корчи,
Смешение правды и зла.*

Смешались правда и зло в редакции «Нашей нивы». Упреки, они так и сыпались: «Не пишет!.. Лодырничает!.. А мы же вытащили его из провинции, дали работу!.. Из-за него спариваем номера!.. Терпим убытки!..»

Убытки. Стихи первого поэта Белоруссии, лучшего за всю ее историю, украшали «Нашу ниву». Они продолжали стопкой лежать в его клетке и регулярно появляться на страницах газеты, зачитывался ли поэт допоздна в библиотеке Даниловича, искал ли встреч с Марией, действительно ли проводил время в веселой компании.

Веселая компания в Вильно была у него веселой не только от чарки, но и от злой сатиры на того же пана Ковальюка или на черносотенного депутата Думы Наливайко, на «поистине черное трио» царских приспешников Дубровина, Пуришкевича, Илиодора.

Но, конечно же, веселая компания Купалы была и просто веселой компанией, и поэт написал нам об этом, чтобы мы не выгораживали его в чем-то, не оправдывали, а может, первым делом поискали причин, почему он отбился от рук — от рук тех, кто вроде бы облагодетельствовал его, надеясь заполучить в бессрочное пользование его поэтический дар. Но ведь это был Купала...

В последнем, 31-м и 32-м, спаренном номере объявлений было как никогда. Иван Лапкевич постарался: девять страниц всякой всячины. Купала это заметил сразу. Сначала шла реклама «Современной библиотеки для всех» в 24 томах «под редакцией известнейших русских и иностранных ученых сил». Купала мог только позавидовать ее будущему обладателю, как и тем, кто имел средства выписать и такие книги, как «Народы Вселенной», «Тайны Мироздания», «Великое Прошлое», «Литература. Полная история всемирной литературы. Образцовые произведения наших дней, современных писателей», «Изящные Искусства...», «Наш внутренний мир»... Эта реклама заняла весь разворот. Купала перевернул страницу корректуры, стал вычитывать дальше: «В книжном складе «Обновление», С.-Петербург, ул. Жуковского, дом № 15. Поступили в продажу новые книги «Мир половых страстей. Женщины и мужчины...» «Картины»... Кому нужны эти «картины» в Боровцах, Хоруженцах, Малых или Больших Бесядах? А поток совсем иного «мира страстей», чем те, которыми жил он,

Купала, и — он знал — жил читатель их газеты, широкий, сельский, горемычный, этот поток напирал, захлестывал. «Только напишите! И вы получите...» Кто напишет? Мужик из Налибоков? Тетка из-под Логойска или Могилева? Или прыщавый хлыщ с Георгиевского? Вот уж пойдут письма в «Нашу ниву»! Отбоя не будет. А через страницу опять в центре крупным шрифтом: «Только напишите! И вы получите!..» Сколько вы получили, пан Лапкевич, за такие крупно набранные слова? которые он, Купала, стыдится вслух вымолвить? Сколько, если «40 коп. за линейку малыми буквами»?..

Нет, Купала не бросился колотить кулаками в закрытую на ключ дверь, не бросился с криком, руганью, упреками. И не потому, что они были хозяевами, а он всего лишь поденщиком, клерком, пусть и ненанятым, но впряженным в одну колесницу. Он вообще никогда не разряжался вовне, только глаза грустнели, а светлое лицо его мрачнело, и он казался тогда туча тучей. В номере с девятью страницами объявлений шло и стихотворение Купалы «Зажинки». «Чтобы прикрываться моими стихами?! — негодовал поэт. — Чтобы идею, дело, поэзию смешивать со всякой непотребщиной? Все средства хороши для достижения цели? Wszystko jedno? Нет, не wszystko jedno! Не все средства годны, панове! Романтик! Да! И пятнать святого дела не буду. И не дам!..»

О настроении Купалы в светлице все же прослышали: более парижских изделий «Наша нива» мужику не пропагандировала. Но там, в светлице, поэта глубоко и впрямь никогда не понимали или, может, временами делали вид, что не понимают, сознательно закрывали глаза на разные штучки Купалы, как там могли называть его исчезновения из редакции, его затяжное, хмурое молчание, затаенность.

Рвался Купала в Вильно, в «Нашу ниву», как на пир, и на тебе — точно в темный омут:

*Стоны злосчастия, тьмою обвитые,
По свету ужаса — полною мерой.
Как же вы сладостны, думы разбитые,
Сердцу с разбитой надеждой и верой.*

Бунт Купалы-романтика никогда не был скандальным, публичным, не оборачивался сиюминутной ссорой, не обрывался истерикой, выпадом. Уйдя в себя, Купала вынашивал свой бунт, «как носит мать в себе дитя неясный облик», пока он, этот бунт, не воплощался в стихотворении. Мы

начали цитировать стихотворение, которое сегодня называется «Висельник». В «Нашей ниве» оно публиковалось без названия. Это первое, написанное Купалой после злосчастного номера с «доходной» рекламой, стихотворение — исполненное испепеляющей боли. Ведь это о своих «думах разбитых» писал поэт, о своем «сердце с разбитой надеждой и верой» — надеждой на «Нашу ниву», верой в людей, к которым стремился. А теперь вот никак не может себя успокоить:

*Полно, душа, себя даром изматывать,
Вечной дорогой сновать непрестанно —
Страшно мне, жизнь, твои тайны разгадывать,
Страшно мне выход искать из тумана.*

*К солнцу рвалось мое сердце летучее,
Вихри и ночи на бой вызывало...
Вот и сломалось, погасло все лучшее —
Дальше бороться силы не стало.*

Дальше продолжать борьбу не стало силы у «висельника», чей трагический монолог «записал» Купала. Но этот самоубийца, «страдалец затравленный», который «треть века себе урезал», этот самоубийца и сам поэт. Оттуда, со второго плана, слышится нам другой голос: я — труп, я — ваша жертва, люди из светлицы с окнами во двор. Но умер я, тот, который верил в вас. И это моя, купаловская, эпитафия по себе прежнему. Эта моя смерть — мое возрождение. Ведь, господи, мне же только страшно тайны бытия разгадывать, страшно «выход искать из тумана»...

Страшно-то страшно, но и не распутывать клубок, по его выражению, «всебыта» Купала не может. Стихи «Дворец», «Черный бог», написанные в сентябре — октябре 1909 года, следом за августовским «Висельником», — тот же поиск выхода из тумана, тот же вызов ночи на бой. Как бы набирая новую силу, поэт гневно осуждал души, которые «славы всебратской не знают, зова печали не слышат», развенчивал черного бога, что «гасит новые зарницы».

*Дул на угли, распаялся
Змейный черный бог —
Только с белым не сравнялся,
Белый перемог.*

Это уже, собственно, было началом выхода — выхода из кризиса души. Купала, как феникс, возрождался из пепла. И как ни дул на свои угли черный бог в светлице, как ни распался, он был не в силах сравниться с белым светом, с белым богом в комнате на улицу — в народ, а не на парижские задворки.

Окончательное преодоление душевного кризиса, однако, и впрямь зависело от выхода Купалы на улицу. Но «выход на улицу» означал для него то же, что и «выброшен на улицу». Купала ушел? Пусть уходит. В светлице были равнодушны к его судьбе.

А Борис Данилович? Гордый Купала не жаловался и ему. Купала молчал. Но Данилович понимал разное молчание поэта. Понял и на этот раз: нужно что-то срочно придумать, сделать. И Данилович предлагает Купале поехать управляющим в Бенин — в его усадьбу. Купала едет. Куиала, как мы уже знаем, шлет оттуда в газету заметки, корреспонденции, потому что дела «Нашей нивы» для него выше внутренних разногласий в редакции, даже как бы вне их.

Но к стихам его снова потянуло только через две-три недели. И любопытная деталь. Герой стихотворения «Помолись...» просит нищего помолиться «за добро и жито», «за траву и стадо», «за край родимый», «за людей» и... «за нелюдей». Помолись и за нелюдей — ради своего народа, ради святого дела, за которое вроде бы и они борются! Примирение? Нет, временный компромисс. Борьба идет, борьба продолжается:

*Солнце с теменью сражается;
И высоким светом дня
Даль за далью проясняется;
Дружно всходят зелена.*

С таким вот настроением возвращался Купала в Вильно из Бенина в слякотном ноябре 1909 года, еще не зная, куда там голову приклонить...

С Сергеем Полуяном Купала познакомился в августе 1909 года. Этот парень ему нравился, более того — поэт был просто влюблен в него, видя в нем будущего белорусского Белинского. Какой слог, темперамент, какое жизнелюбие! Не занимать ему и настойчивости, упорности; имеет вкус, умеет отстоять свои убеждения. Взять хотя бы Максима Богдановича.

Купала сразу почувствовал в нем настоящий талант, но очень уж по-разному они пишут, чтоб он, Купала, поддержал Богдановича с тем энтузиазмом, с каким это сделал Сергей Полуян. Правда, стихи Богдановича, списанные в «Нашей ниве» в архив, на свет божий извлек он, Купала, отстоял перед Чижом и Антоном Лапкевичем, и действительно интересное стихотворение Максима о Лешем, о его крестинах появилось-таки в газете. Полуян и Богданович помоложе Купалы, и, может, им легче понимать друг друга. Впрочем, кажется, зря на одиночество жаловался Сергей, зря печаль одинокого лешего поэтизирует Максим. Каждый из них троих одинок сам по себе в отдельности, но не вместе взятые.

Как было не полюбить Купале эту чистую душу — Сергея Полуяна, в свои 19 лет всецело отданного делу, одинаково святому для них обоих. Их обоих вела по свету одна цель: возрождение Беларуси, ее народа. А ведь Сергея могла и не повести: отец Епифаний Иванович, хоть из крестьян, но ушлый, по жизни широко шел, в купцы выбился, имение Кришичи под Калинковичами прикупил, стал крупным собственником — одной земли у него свыше 500 десятин. Епифаний Иванович — действительный член «Минского товарищества сельского хозяйства», в котором состоят и сам Гире, минский губернатор, и сам Долгаво-Сабуров, губернский предводитель дворянства, другие весьма почтенные и влиятельные особы. Он же, Епифаний Иванович, еще и гласный Речицкого уездного земского собрания. Фигура! А сын покидает Кришичи, отказывается от имения, от перспективы самому стать и гласным, и членом всяких разных авторитетных товариществ! У Купалы отца уже не было. У Полуяна отец и был, и не было его. Но у обоих была великая вера, высокая идея, пробудившая их к активной общественной жизни.

...Они сидели в «Зеленом Штрале». За отдельным столиком. Купала любил это кафе из-за его интерьера, выдержанного в одном цвете — зеленом: зеленая мебель, зеленые шторы и занавески, салфетки. Цвет травы, листвы, иглицы, цвет, на котором отдыхали глаза Купалы и по которому грустила душа в каменном, узкоулочном Вильно.

— Неделя уже, Сергейка... Неделя, как я послал это письмо. Просил телеграфировать... Ни слуху ни духу...

Купала говорил с большими паузами, точно каждое слово давалось ему с трудом; голос глуховатый, взгляд почти неподвижный. Синие-синие глаза Полуяна (и что ему только делать с ними?) как будто смеялись. Полуян поэта не узнавал: тот и не тот. Хотя когда они виделись в прошлый раз, в августе, Купала был ничуть не веселее. Тогда он вообще молчал — слова не вытянешь, а тут вот разговорился, и Полуян не мог не ценить эту

откровенность и доверительность поэта.

Они сидели глаза в глаза, оба молодые, блондинистые. Только одному грустно-грустно, другому даже стыдно, что не столь грустно.

— Не могу, — вздыхает Купала, — не могу не то что сидеть в редакции — зайти не могу. Он...

«Он» — Вацлав Ласовский, муж Марии. Это Полуян знает. У них с Купалой в редакции столы напротив. А она...

Купала вынимает записную книжечку, из нее — фотографию. Мария.

Он любил эту ее манеру сидеть — в полупрофиль к собеседнику. Она сидит на скамеечке; за ее спиной могучий, в три обхвата, дуб. В тени ветвистой, огромной кроны этого дуба она всегда ему казалась маленькой, миниатюрной; щуптели ее плечики под фасонистым — с напуском рукавов — элегантном пальтецом, заострялось личико, особенно подбородок, утопавший в мохнатом, из длинношерстной овчины, воротнике... На голове модная темная шляпка, точно лепесток, вогнутый посередине и припрущенный козырьком-дугой чуть ли не до самых бровей. Чистого, высокого ее лба на фотографии не видно. Видны задумчивые, настороженно-внимательные глаза (и не подумаешь, что они могут смеяться, гореть задором). И губы сжаты. Не оттого ли, что углублен во что-то невеселое, неразгаданное взгляд? Когда она улыбалась, на щеках появлялись ямочки. А тут губы сжаты и словно протянуты для немого прощального поцелуя...

— Мудрая моя совочка, не из орешникового детства, а под зеленым дубочком моей бессрочной памяти, — нежнеет голос Купалы. — Я не отрекся от нее. Слышишь? Видишь?

Сергей Полуян слышал, видел.

В «Зеленом Штрале», как всегда, было элегантно. Квартет Тхужа исполнял популярную песенку «Mów do mnie jeszcze!»^[23]. Может быть, думал Полуян, Купала так охотно говорит с ним как раз под приглашение этой задушевно-элегической мелодии.

— Только в университет, Сергейка, только в университет. О, как они все время рисуются: Дерптский, Петербургский...

— Верхняя палата! Тойаны!

— Как же, верхняя. А мы нижняя. Постой, как ты их окрестил?

— Тойаны. Якуты своих богатеев так называют. Я как раз для газеты написал и про якутов, и про чувашей. «Негосударственные народы». А кто их сделал такими? Кто сделал нас такими, какие мы есть? Где жизнь? Где красота? Мы только сеятели. Может, и худшая судьба нас ждет, может, все изведется, что мы сеем, да не сеятелям думать об этом.

— Не сеятелям, — соглашается Купала.

— Идет спешный сев...

«Почему спешный? — хочет спросить Купала, но раздумывает. — И тороплив же этот парень. Тут не за год — за десятилетия успеешь ли что сделать! Ведь столько потеряно, упущено. Все надо начинать заново — от мужика, от интеллигента, начинать — с языка, с объединения всех униженных царизмом. Впрочем, Сергей все это понимает, по тем же статьям видно...»

«Mów do mnie jeszcze!» — кажется, уже в третий раз исполняет песенку по заказу квартет Тхужа. Что ж, Купале и Полуяну и в самом деле еще много о чем нужно сказать друг другу.

— Неделя, неделя уже прошла, — никак не может успокоиться Купала. — Отправил письмо и подумал: покатались мои слезы... И в тот же день стихотворение написал. Хочешь послушать?

*Покатались мои слезы
На живые верболозы,
На сухие камыши,
На глухую боль души.*

*Покатались мои слезы
На заломы, на дерезы,
На надорванную грудь,
На былой и новый путь.*

*Покатались мои слезы
На проклятья, на угрозы,
С тяжелой думой — покорись! —
Покатались, полились...*

— Ты не из тех, Янка, ты не покоришься, — уверенно, точно провидец, говорил Полуян своему другу.

Поэт молчал. И вдруг неожиданно заулыбался:

— Ты случайно французский не знаешь?

— Уляна лен трэ, а Левон коров пасэ, — пошутил Полуян.

— Вот тебе и пасэ. — Купала вынимал из той же записной книжечки свою фотографию. — Подпишу. — И на обороте вывел: «На добрую память... от чистого сердца... Вильно. 29.XI.09».

— А посмотри, какое Вильно парижское, — говорил Купала. — Rue de Vilna, № 36, logement 11. Les clichés sont conservés^[24]. А фотограф ведь рядом с «Нашей нивой», на Виленской. Взгляни-ка еще, как солидно написано: Ghodźko. Только вот не понять, как по-белорусски: или Годько, от угодливости, или же Гадько?.. Французского я тоже не знаю, — продолжал улыбаться поэт, — но, было недавно, проводил одну девчоночку — мать у нее француженка. Чего доброго, скоро заговорю по-французски.

— Не успел нарадоваться литовскому, а собираешься другой учить, — не преминул поддеть своего друга Полуян.

— Как же, кое-кто уже украинский выучил, — не оставался в долгу Купала. — Куда уж нам...

Полуян покраснел. И они продолжали шутить, хоть в «Зеленом Штрале» тем временем объявился Ковалюк. В белой манишке. Черная бабочка. Кого это он Купале напоминал? Поэт не мог сейчас вспомнить, да, собственно, и занимало его совсем другое. В нем, точно больной зуб, ныла и ныла неотвязная мысль: почему, почему ничего не слышно от Эпимах-Шипилло?..

Глава пятая

БЕЛЫЕ НОЧИ КУПАЛЫ

1910

Петербургский «Альманах-календарь для всех на 1910 год» появился в продаже где-то в начале декабря 1909 года. Получалось даже так, что вышел он чуть ли не специально к приезду в северную столицу Янки Купали, вышел не без добрых намерений со стороны издателей, которые, понятно, и не предполагали, что их альманах-календарь станет одной из первых книг, раскрытых Купалой в Петербурге. Но большой радости альманах поэту не доставил: определенное равнодушие к себе, к своему творчеству почувствовал он в том, как были переведены его стихи — неточно, небрежно. Но что поэта особенно удручило и при всегдашней уравновешенности вывело из себя, так это снимок, помещенный при стихах и, естественно, выдаваемый издателями за портрет автора. До сих пор в русской прессе снимок Янки Купалы нигде еще не публиковался, и выходило, что альманах в известной мере мистифицировал забытого богом и людьми поэта — печальника-белоруса. Это последнее камнем легло на душу. И что с того, что Купала знал, чей облик предваряет его стихи — самого Франтишека Богушевича. Купале был дорог его великий предшественник — поэт-демократ, страстный будитель национального самосознания белорусов, мужицкий адвокат, выразитель революционно-социального протеста пореформенного крестьянства да еще и повстанец 1863 года. В других обстоятельствах он мог бы даже гордиться, что все так вышло, что его спутали с этой громадной фигурой белорусской литературы конца XIX столетия. Но для новичка в Петербурге, приехавшего сюда искать светлого, идеального, для человека, страстно взыскующего истины, «ошибка» была обидной и горькой. Потому Купала в своем открытом письме к издателям «Альманаха-календаря...» и писал: «К стране, в которой идет тяжелая, непомерная борьба за свою национальную и культурную независимость, а также к ее представителям, работающим ради идеи, а не ради неких афер, должны бы люди, у которых еще не погасло чувство человеческого достоинства, относиться более корректно и с более высокородным уважением». Строки открытого письма Купалы появились в

газете «Новая Русь» 18 декабря 1909 года, появились благодаря поддержке как русских, так и новых белорусских друзей поэта. Как раз с «Новой Русью» был близко связан Евген Хлебцевич — в то время студент Петербургского университета. Он и помог Купале успокоиться, обрести душевное равновесие после столь неудачного представления его в альманахе и в новом, 1910 году, который, собственно, еще и не начался.

Вообще 1910 год даст примеры такого корректного отношения к Купале, к белорусскому слову, такого к ним «высокородного уважения», что, зная их, недоразумение с альманахом нельзя воспринять иначе как фарсовый случайный эпизод. Ведь и впрямь это же в 1910 году, правда в конце его, в ноябре месяце, Максим Горький после знакомства с «Жалейкой Янки Купалы» и «Песнямі-жалъбамі» Якуба Коласа писал об их авторах с Капри слова, знай которые Купала в 1910 году, сердце его наверняка зашло бы от радости.

Что же писал Максим Горький?

В письме от 7 ноября известному украинскому писателю, своему другу Михайло Коцюбинскому: «В Белоруссии есть два поэта: Якуб Колас и Янка Купала — очень интересные ребята! Так примитивно-просто пишут, так ласково, грустно, искренне. Нашим бы немножко сих качеств. О господи! Вот бы хорошо-то было!» И 21 ноября А. С. Черемнову: «Знаете Вы белорусских поэтов Якуба Коласа и Янку Купалу? Я недавно познакомился с ними — нравятся! Просто, задушевно и, видимо, поистине — народно».

Вспоминается не без улыбки. Довольно долгое время некоторые критики, цитируя М. Горького, опускали отдельные слова. «Примитивно-просто пишут...» Не оскорбительно ли? Не бросает ли тени? Невдомек было им, что слова эти в устах М. Горького были похвалой, идущей от сопоставления творчества Купалы и Коласа с модернистской поэзией. Та, как известно, не была ни примитивной, ни простой, а, напротив, такой усложненной, что именно простоты и начал желать ей Горький. «Просто, задушевно и, видимо, поистине — народно» — вот формула горьковского понимания Купалы «жалейковского», а не всего Купалы, которому — почти его Горький после «Жалейки» — он мог бы уже тоже пожелать «немножко сих качеств».

Чувство досады, вызванное ошибкой издателей «Альманаха-календаря...», в настроении петербуржца Купалы все же не преобладало. В столице поэта с большой радостью встретил профессор Бронислав Игнатъевич Элимах-Шипилло. Однажды распахнув перед поэтом дверь, он из гостеприимной своей квартиры его уже никуда не выпустил. В общем, принял, как иной отец сынов своих не принимает. И все люди, близкие к

Эпимах-Шипилло, стали близкими и Купале. А было их немало, объединенных не только издательским делом, товариществом «Заглянет солнце и в наше оконце», но и чувством землячества, идеей культурного возрождения Белоруссии, просвещения народа и просто искренностью, сердечностью, бескорыстием — первые из черт, которые в профессоре и его друзьях видел Купала.

По возрасту Бронислав Игнатьевич и впрямь годился поэту в отцы. Он родился в 1859 году, и, значит, в приезд Купалы в Петербург ему было 50 лет. «Седенький, небольшого росточка, толстенький, кругленький, с выпуклыми пивными глазами на румянном лице» — таков профессор, увиденный молоденькой Павлиной Меделкой. Тогдашнему же Купале профессор наверняка представлялся таким, каким воспринимали его студенты. Все они, желавшие «заниматься в университетской библиотеке, перво-наперво попадали к нему: он сидел за столом у самого входа, и его обязанностью было выписывать именные карточки на право получения книг». Студенты, как вспоминал потом академик И. Ю. Крачковский — известный арабист, «всегда приходили в оцепенение от медлительности и аккуратности, с которой он все это делал, правда, с неподражаемым каллиграфическим искусством, особенно в хитроумных росчерках подписи его необычной фамилии». Личность Эпимах-Шипилло, его манера держать себя, видимо, приводили в оцепенение и Янку Купалу, особенно когда он впервые входил в его шестикомнатную квартиру на 4-й линии Васильевского острова, впервые садился за его хлебосольный стол, со вкусом сервированный хозяйкой Песецкой, впервые вошел в комнату, отведенную ему и племяннику профессора Антону Гагалинскому. Не мог Купала не теряться перед этим человеком и потому, что он знал аж двадцать языков. Но чудом из чудес было то, что профессор классических языков, шляхтич, окончивший в Риге полный курс польской гимназии, был просто влюблен в язык простой, «холопский», белорусский. Уже который год, начиная еще с 1889-го, произведение к произведению собирал он «Белорусскую хрестоматию». Каллиграфическим своим почерком знаток санскрита переписывал в нее белорусские народные песни, стихи Франтишека Богушевича и Тётки, сочинения неких Феликсов Топчевских, Иоахимов Томашевичей. Купала наверняка держал в руках «Белорусскую хрестоматию» Эпимах-Шипилло и наверняка не мог не заметить, что, организатор и негласный руководитель издательского товарищества «Заглянет солнце и в наше оконце», профессор, уроженец полоцкой земли, как и белорусский первопечатник, сын Луки из Полоцка Франциск Скорина, тоже почитал на этом свете именно солнце: у Скорины солнце

было в гербе, у Эпимах-Шипилло — в названии издательства. И не молитвенники и сонники выпускало оно, как это делали генерал-губернаторские издательства в Вильно. 39 названий тиражом свыше 100 тысяч экземпляров вышло к 1914 году в этом издательстве, душой и казней которого являлся он — Бронислав Игнатъевич Эпимах-Шипилло. Потому-то и был он одновременно: 1) помощником директора библиотеки Петербургского университета; 2) преподавателем греческого языка в Римско-католической духовной академии; 3) преподавателем латыни на общеобразовательных курсах Черняева, студентом которых он и устроил поэта; 4) преподавателем греческого языка во многих гимназиях столицы. И — откуда только силы брались — летал профессор из аудитории в аудиторию, потому что нужны были деньги на товарищество, на книги для народа, на издание Купалы — на то дело, которое стало смыслом его жизни.

Фактически контора издательства находилась в квартире профессора. Она вообще была местом, где в годы жизни Купалы в Петербурге собиралась вся творческая, родом из Белоруссии, молодежь — те, кто жил, учился, работал в столице. Собирались у Эпимах-Шипилло по субботам, и как раз на этих субботах завязались у Купалы первые петербургские знакомства: и с названным уже Евгеном Хлебцевичем, и с собирателем белорусских народных песен Антоном Гриневичем, и с польским композитором, уроженцем Виленщины Станиславом Казурой, с кожевником и поэтом из белорусского местечка Копыль Змитроком Жилуновичем — Тишкой Гартным, с тогдашним студентом историко-филологического факультета Петербургского университета Брониславом Тарашкевичем... Но пока мы входим в квартиру на 4-й линии Васильевского острова с одним Янкой Купалой, который только что приехал в Петербург, только что получил по новому адресу письмо от Льва Максимовича Клейнбарта. Клейнбарт, который станет первым биографом поэта, просит его прислать автобиографию. Купалу впервые просят об этом, его вообще удивляет книжность слова «автобиография», но раз просят, то, пожалуйста, он напишет. Это письмо Купалы — лучшее свидетельство того общего настроения, с которым поэт вошел в дом Эпимах-Шипилло. Он точно и в самом деле впервые увидел тут солнце в окне, точно разом избавился от всего неприятного, что довелось пережить в Вильно, от той неопределенности, что нависала над ним с августа 1909 года. Одновременно письмо полно озорства горемыки, который тем и жив, что умеет посмеяться над собой, умеет горько смеяться в глаза судьбе, умеет с улыбочкой сознавать, что загнан в нерет. Загнан, да не пойман! Он

полон духовных сил. У него, как и у всякой молодости, все еще впереди. И хоть не дают обстоятельства исполнить задуманное, от своего, однако, он не отступится, нет!..

Нельзя не любить это первое автобиографическое письмо Купалы, нельзя не пленяться в нем кола-брюньонским мотивом «жив, курилка!», победоносным духом Купалы, юношеской игривостью, озорством человека с грустными глазами. Улыбаясь ими, Купала так заканчивает это письмо:

«В Петербург я приехал без копейки за душой и только благодаря исключительно чуткому сердцу профессора Б. И. Эпимах-Шипилло кое-как устроился и существую в холодной северной столице... Безусловно, о многом приходится умалчивать, потому что в наше веселое время не всегда и не обо всем удобно размышлять вслух. В заключение, пародируя русского поэта, скажу:

*Суждены нам благие порывы,
Да свершить ничего не дают».*

Купала делает акцент на другом: «Да свершить ничего не дано». Дано! Вот он же знает, что может. Другое дело, человеку не дают осуществить предначертанное. Но мы еще посмотрим, померяемся силой! — при всем при том думает, усмехается, готов принять вызов судьбы и обстоятельств Купала, и это есть его настроение 1910 года, точнее — преднастроение его белых петербургских ночей 1910 года.

Из Вильно поэт привез с собой замысел большой поэмы. Опять же мы должны быть благодарны Клейнбарту, что он обратился с просьбой рассказать о Купале и к Эпимах-Шипилло. И тот уже 2 декабря 1909 года писал ученому-копылянину: «Будучи... в Вильно, я лично познакомился с молоденьким поэтом... Он сообщил мне, что вынашивает тему драматической поэмы «Сон на кургане», которую начал писать. Я сказал, что нужно ему только приехать когда-нибудь в Питер, и если он это сделает, то дверь моей квартиры... всегда для него открыта». Профессор открывал тем самым дверь своей квартиры и для «Сна на кургане» Купалы — самой крупной его вещи 1910 года, за которую поэт засел, видимо, сразу же по приезде на берега Невы. И только ли над «Сном...» он работал первые четыре месяца, потому что первая известная нам петербургская дата под стихами Купалы — 26 апреля. Но, несомненно, еще прежде были написаны два стихотворения, одно из которых — поздравление Б. И. Эпимах-Шипилло с новым, 1910 годом...

Эта новость была как гром среди зимнего неба: сгорел дом профессора в его усадьбе на Полотчине — в Залесье. В Петербурге о пожаре узнали уже где-то спустя неделю, но легче от этого, понятно, не стало: дом был надеждой профессора на приближающуюся старость, там он думал доживать свой век — где родился, где был крещен. Потому и не тратил наследованный скарб — раздаривал заработанное, то, что называлось тогда жалованьем. Менее всего ему, однако, жаловалось: профессор все отработывал сполна. И не усадьба его держала, он держал свою усадьбу — той же изматывающей беготней из аудитории в аудиторию. Тяжелой, невыразимой была скорбь профессора. Он помрачнел, он уже не посмеивался своими пивными, чуток навывкате глазами. По утрам, наспех отхлебнув чаю, не выпрямлялся молодежато перед зеркалом в прихожей, не разглаживал со всей старательностью широких усов, не прилизывал седины на висках, надев шляпу перед уходом.

С профессором переживали все: и такая всегда веселая, приветливая, знающая бог весть сколько народных басен, легенд хозяйка Песецкая, и компанейский Антон Гагалинский, и Купала. После чтения стихов на винокурне в Яхимовщине поэт, наверно, вновь только тут, в квартире профессора, воочию увидел силу своего слова. Казалось, ничего особенного не сказал он дорогому профессору — одно лишь «не печалься, панок, что несчастье пришло», да «Вы — с наукой, с ней счастье — возможней», — а тому и полегчало, у того и отлегло от сердца. Купала умел быть благодарным, умел успокаивать. Он успокоил профессора уже тем, что вот не мог не написать ему даже по такому совсем непоэтическому случаю; успокаивал своей уверенностью, что беда «как пришла, так от Вас и уйдет» и жизнь станет «светлой, как солнце»; успокаивал своей молодостью, своим будущим, которое у него было. Было! Профессор это знал...

Дом в Залесье был, конечно, потерей. Однако не из невозвратных. Резала глаза краснота обивки в профессорском зале, но открытой, незаживающей раной не казалась. Показалась 7 апреля, когда в Киеве покончил с собой, повесился Сергей Полуян!

Куда идем?.. Куда проклятье нас ведет? —

защемила мысль Купалы, забилась, завопросила:

Где сила, стойкость, вера в будущее — где?...

*...О край несчастный мой! Что суждено тебе,
Народу твоему, чей стон извечен?
...За что, едва лишь пробужденье к нам сошло,
Весь путь крестами сплошь отмечен?*

Вопросы били в самое сердце поэта, и не было в этом сердце ответа на них. Перед глазами вставало по-детски милое, усмешливое лицо Сергея — казалось, белоруса из белорусов, синеокого, такого стройного и ладного. «Не с тобой ли, Сергейка, думали мы об этом народном несчастье — говорили, писали в «Нашей ниве»? Не у тебя ли была мысль перевести, дать в «Ниве» по-белорусски «Огоньки» Короленко — все ради того же: обнадежить отчаявшихся: «Впереди все же огоньки, огоньки!»

Огоньки?

Вперед Купале смотреть не хотелось:

*Широкий шлях, он вечно лишь открыт
К шинку, острогу и могиле.*

Вот он сидит в такой чайной один, одинокий, никому не видимый, никому не известный, за пустым столиком, с тарелочкой дешевой закуски. Профессор ссужает его, студента, деньгами и на карманные расходы, так вот все они сегодня и пойдут на три немые чарки — на тризну по Сергею.

*На радость недругам и на печаль всем нам
Возник курган, курган напрасный...*

«Напрасный... Я что, осуждаю Сергея?.. — нервно думал поэт. — Да, осуждаю. Зачем он сделал это? Так рано... Так мало успев... А ведь столько было дано!.. — И вновь перед глазами Купалы лицо Сергея. — Удивить! Удивить мир духовностью, этим обратить на себя внимание — этим побеждать». О духовности литературы говорил тогда Сергей, о литературе как о мирном боевом оружии. Но сейчас Купала почему-то только и слышит: «Удивить... Обратить внимание... Не смертью ли удивлять надумал? И так ли уж это напрасно? Напрасно!.. Но если его уже нет, так неужто нельзя что-то сделать, чтобы эта смерть его не была впустую, чтоб служила ненапрасности, чтобы память о нем воевала,

сражалась?.. Напишу. О нем напишу!..» Что именно, Купала еще не знает, но что напишет, знает наверняка.

В квартиру на 4-й линии Васильевского острова в тот вечер поэт стучался поздно. О смерти Полуяна профессор еще не знал и недовольно спросил, когда Янка вошел в зал:

— Что это вашей милости не было сегодня на латыни? Чужой, холодной «вашей милостью», не Янкой, Яночкой профессор назвал Купалу впервые.

— Простите, паночек, — тихо промолвил поэт. — Простите, если можете...

Нелегко было Купале. Но он был уверен: находишь Сергей в Петербурге, трагедии могло б не случиться. Ну, хоть бы в январе этого года он сюда заглянул, хоть бы одну репетицию белорусского хора тут услышал, с драм-кружковцами встретился...

А в январе в драматическом кружке было вот что (из воспоминаний Язепа Сушинского — одного из активных участников белорусского литературно-общественного движения в Петербурге): «Завидев Купалу, все бросились к нему. Хлопцы быстро подхватили Купалу на руки и стали подбрасывать вверх, пока не утолили свою радость и восторг». Эту их радость, этот их восторг Купала ой как чувствовал, ой как росли от них его сила, надежда, уверенность! Хоть бы краешком глаза увидел Сергей Полуян этих хлопцев и девчат, хоть бы краешком...

Но из сил, что растили купаловский дух, была еще одна, может, самая главная, упоминания о которой у Купалы нет, да и исследователи жизни и творчества поэта до сих пор о ней не говорили. А сила эта была конкретной, как сам город над Невой.

Петербург Эпимах-Шипилло открывал дверь Янке Купале, Зимний дворец — Распутину, Столыпину, Дубровину, Пуришкевичу. Все они, как и Купала, ходили по улицам столицы, считая ее, конечно же, своей, а не купаловской. Но Петербург был купаловским, ибо Купала с первого дня почувствовал и воспринял его как город Пушкина и говорил с ним, как Пушкин — потому что словами самого Пушкина. И то было праздником — торжественным, полнящим душу красотой и мощью:

*На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася...*

Река неслась, Нева текла и перед Купалой. И Купала поднимал замороженный взор на иглу Адмиралтейства, останавливался перед вздыбленными конями Аничкова моста, перед державным Медным всадником. Он сколько раз уже ходил на Мойку, все посматривая на окна, в которые глядел когда-то сам Пушкин — из комнат на набережную, на улицу, на простой люд...

В этом городе жил тогда Александр Блок — такой высокий и неприступный, с глазами еще более грустными, чем у Купалы, и почти его ровесник, идеал в поэзии первого опекуна Купалы Владимира Самойло. Было ли поэту известно о переписке Самойло с Блоком? Трудно сказать. Скорее всего нет. Порывался ли он идти к Блоку? Тоже, пожалуй, нет. Потому что был не Ключев, не рядился в мужицкую свитку, не отпускал а la rousane бороды. Какая свитка?! Элегантный костюмчик — недорогой, но тщательно отутюженный, в плечах подогнанный. И чистый белый воротничок, перехваченный модным галстуком, подпирает подбородок. Интеллигентские усики. Не удивлять своим пейзажем приехал Купала в Петербург, не бравировать тем, что мужик, что пишет о мужике. И в Петербург он приехал учиться, приобщиться к Пушкину, Блоку, еще глубже постигая судьбу и образ своего народа, еще шире раздвигая пределы своего духовного мира.

Пишу, читаю без лампы...

С маем начались белые ночи северной столицы, а с ними — пушкинское, блаженство писать, читать в фосфорическом свете полночи, далеко за полночь, когда так видно, словно тьмы в мире вовек не бывало.

Вообще даже удивительно, как это чередовались свет и тени, восторженность и грусть в петербургских стихах Купалы. 26 апреля 1910 года он пишет «Песню солнцу»: «Кличем, солнце, тебя как один... Воскреси славу нашего края, воскреси ее грустный народ!» 28-го — стихотворение «Волк», о хищнике, который «выл среди дремлющих нив, точно звал он кого-то на суд». Не по Сергею ли Полуяну все еще выл этот волк? И не темные ли силы, его погубившие, вызывал на суд? Вольно волкам во мраке реакции — политической, декадентской: «Ночь — он опять жировать...» 6 мая появляется лиричнейшее стихотворение «Явор и калина», 17-го — полное грусти по далеким от Петербурга просторам родного края «Брату на чужбине». А буквально через три дня, 20 мая, поэт пишет «Мой дом» — небольшое, в шестнадцать строк, стихотворение,

свидетельствующее о новом, обусловленном атмосферой Петербурга поэтическом взлете Купалы, о новом, уже всеземном ощущении им своего дома, себя на белом свете, о более высоком равновесии души поэта, представившей себя на скрижалях звезд, орлиных высот, ветров, что «битвы готовят» между собою и пущами. «Страданье стужи и жары» — вот страдание поэта. И еще оно там, «где лемеха взрезают землю, где украшением — красный пот». Яркие, необычные, романтические краски. Экспрессия ассоциативного мышления. Сочетание несочетаемого: пот — красный! Не кровь ли это? Кровь! Кровавый пот. О, какое украшение, какой цвет родимой земли!..

Последняя строфа «Моего дома» — о «кургане с сухой осиною», проклятым деревом — на осине Иуда повесился. И видать, никак не выходила из памяти петля Сергея Полуяна. Конкретно же в стихотворении поэт писал о кургане, «где кости предков истлевают, где плачет ночка да туман». Треклятая осина. Дрожат листья, дрожат, и все тут. Волшба, заклятье, предопределение? Дрожат на кургане в Беларучах — против школы, в которой Купала учился? Дрожат в Вильно — на горе Гедимины, где лежат останки Калиновского?..

Из Петербурга все курганы своей жизни, все курганы Белоруссии мысленным взором окидывал поэт и как бы душою прикасался к каждому из них, вспоминая преданья, легенды, поверья, которыми окружала их народная фантазия. И оживало в нем трепетное волнение, с которым избегал он когда-то на них в Беларучах и Яхимовщине, в Дольном Снове и под Минском, в Вильно... Оживало и бурлило в груди с невероятной силой, распаляя воображение, расширяя зрачки, обостряя внутреннее зрение — зрение души, глубинной памяти сердца...

Когда обожгла весть о смерти Сергея Полуяна, то вдруг словно туманом, словно черной мглой заплыли литографии-пейзажи родной земли белорусской на стенах в просторном зале профессорской квартиры. Но время — лекарь, особенно время напряженных раздумий, время вхождения в новый мир, каким для Купалы был Петербург, время познания солнца и тьмы, время гимнов будущему, красоте, любви и время всматривания в светотени, в то, что осталось позади. Когда поэт собирался писать «Курган», вперед ему смотреть не хотелось. Он оглядывался в прошлое, останавливал взгляд и на пейзажах-литографиях. И был момент, когда в этом зале туман перед глазами Купалы стал рассеиваться. Белые ночи Петербурга, они без туманов. Это не августовские ночи Белоруссии, это ночи ясновидения. Ясновидение пришло, и один из пейзажей родной земли увиделся как величественный, монументальный курган. Курган курганов.

Купала даже глаза протер: неужели он каждый день смотрел на эту литографию? Смотрел и не видел?! Нет, это было выше его сил. Он стремглав бросился из зала в свою комнату. Как хорошо, что нет Гагалинского. Есть стол, бумага, ручка и белая ночь за окном. Не одна — ночь за ночью, и эта — 23 мая. Близится полночь. Купала ставит дату написания под последней строкой поэмы «Курган», посвященной Сергею Полуянну.

Ничего особенного в сюжете поэмы нет. Богатый князь выдает замуж дочь и ищет невиданной потехи-забавы для свадебного застолья — для панов-магнатов. Что бы такое придумать, чем удивить гостей? И придумывает. Живет в том краю, где он княжит, старый-старый гусляр. Песня гусляра течет, как вода, светит, как солнце, испепеляет, как огонь. И вот что она испепеляет, князю неведомо, он только наслышан о славе песни, повсеместной и вековечной, которая может стать и его славой, и радостью дочери-невесты, и завистью панов-соседей. «Подать сюда гусляра!» — велит князь. Подать, как подают к столу заморские вина, здешнюю снедь, цветы.

Гусляра «подают». Князь приказывает ему петь — потешать гостей. Сумеет потешить — князь отблагодарит, не поскунится: «Полны гусли насыплю дукатов...»

*Скурганіў бы душу чырванцом тваім я,
Гуслям, княжа, не пішуць закона:
Небу справу здае сэрца, думка мая,
Сонцу, зорам, арлам толькі роўна, —*

заявляет гусляр князю, заявляет гордо, как волхв у Пушкина вещему Олегу:

*Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.*

Но гусляр у Купалы не пророк, он не говорит:

Грядущего годы таятся во мгле;

Но вижу твой жребий на светлом челе.

Гусляр у Купалы не столько «с волею небесною дружен», сколько с кривдой, с горем народа, к которому сам принадлежит, славой которого наделен и горд. Потому и перечит он княжеской воле: «Гуслиам, княже, не пишут закона». Князь такой непокорности не ожидал. Он, казалось, все сделал, чтобы ее не было: пообещал полные гусли дукатов, если песня придется гостям по вкусу, и «пеньковую заплату», петлю, если не понравится. Но гусляр, некий мужичий гусляр, выказал неповиновение. Князь в гневе. О, князья гневаться умеют: «Взять его! Взять и гусли! Да в землю живьем!» И верные слуги тут же выполняют приказ: живым закапывают гусляра и с ним его живые гусли-самогуды. Но остается жить в народе память о гусляре, его слава. И поет об этой славе Купала в Петербурге, поет над могилой Сергея Полуяна, поет, прервав «Сон на кургане», который начал писать еще в Вильно...

Это как парадокс: строго классический по своей архитектуре Петербург рождал Купалу-романтика. Точнее, Купала-романтик, может быть, впервые так могуче раскрылся в «Кургане». Поэма по форме — родная сестра Дворцовой площади и набережным Невы с их классической симметричностью, выверенностью общего и частного, перспективы и панорамы. Все исследователи творчества Купалы сегодня единодушно восхищаются классической соразмерностью всех двенадцати частей поэмы, развитием в них темы, возрастанием пафоса, постепенным доведением его до апогея и растворением в последней строфе, строке. Это песня, это сага, это симфония. И еще это произведение, полнящееся светом, как аркады ренессансных дворцов: двенадцать проемов в анфиладе арок — двенадцать проемов света белых петербургских ночей Купалы, открывающих нашему сегодняшнему взгляду драматизм прошлого, драматизм родного Купале края, песни...

Идея поехать на водопад Иматру, в Финляндию, возникла у профессора неожиданно, как все, что он предлагал Купале: вот, посмотри, Литовские Статуты, вот «Поэтические воззрения славян на природу» Афанасьева, вот «Махабхарата»...

Эпимах-Шипилло вообще был человеком подвижным, словоохотливым. «Так откуда ж ты, Янка?» — частенько обращался он к поэту, втайне гордясь, что перекрестил того из «Янука» в «Янку». Чего уж, было — собственноручно вместо «Жалейка Янука Купалы» взял да и написал «Жалейка Янки Купалы». И получалось, что автор — женщина,

потому что Янками в Белоруссии звали тогда только женщин. Но ведь Купала был поэтом, и он не то что не обиделся, а воспринял ошибку с удовольствием, как находку, сразу же уловив разницу между «Януком» и «Янкой». «Янка» — это звучало шире, свободней, в унисон с песенно-открытым, полнозвучным — «Купала». И поэт принял новое имя. Профессор — неожиданный крестный отец Купалы, точнее, корректор его псевдонима — никогда не терял чувства юмора и мог обратиться к поэту еще и так:

— Ну как, перехрист?..

«Перехрист» не шибко разговорчивым оставался и в столице, но от вопросов Бронислава Игнатъевича глаза его всегда загорались:

— Что «как»?

— Откуда есть пошла земля белорусская? А-а, то-то же... Благословенный Инд! Да не минуй, мое благословение, Дона, воспетого в «Слове», и Днепра, и Днестра, и Дуная, ибо нету дна у них — слышит ли поэт? Дна нету, но есть единая основа: «дн». В ножки поклонитесь санскриту, ибо «дн», оно от слова древнего — «вода». Дон— вода, Днепро — вода, и Дунай тоже.

*Ой, летели гуси
Да с Белой Руси.
Сели они, пали
На синем Дунае.*

Голос у профессора был глуховатый, но слухом он обладал тонким и песен народных знал уйму целую. Купала удивлялся: и кто ему, этому профессору, напел их столько? Не мать же шляхтянка?

— Что? Поэт не знает, откуда прилетели гуси? Тогда я скажу, куда завтра он летит сам. Едем на Иматру!..

И они поехали. Втроем. Эпимах-Шипилло, Купала, Антон Гриневич.

О впечатлениях от этого путешествия, о мыслях, вызванных им, поэт написал в «Нашу ниву» — его заметки появились в номере 29 за 1910 год. Созерцание водопада вдохновило Купалу и на поэтические строки — 20 июня 1910 года он пишет стихотворение «Над Иматрой». Поездка не прервала напряженной работы поэта. Уже 24 июня был закончен и перевод отрывка из «Махабхараты». «Охотник и пара голубков». Купала посвятил его Б. И. Эпимах-Шипилло.

Устроил Бронислав Игнатъевич своего Янку на курсы Черняева, и все

пошло однажды заведенным порядком: днем поэт не отрывался от фолиантов в библиотеке профессора, вечером спешил на курсы, которые, по его признанию, «дали... очень много», потому что «состав преподавателей был хороший»: профессор Александр Корнильевич Бороздин — автор знаменитых в то время «Литературных характеристик 19-го века»; прекрасный зоолог и исследователь моря профессор Николай Михайлович Книпович; сам Бронислав Игнатьевич...

Ночи, белые ночи Купалы! Профессор не корил поэта, что тот не спит, что все пишет или читает. И Купала не чувствовал никакой неловкости: керосин жечь не надо было, светло как днем. Работал он без усталости. Профессор, порадовавшийся поэме «Курган», знал, что Купала домучивает «Сон на кургане» — затянувшийся, казавшийся поэту апогеем его изобличения черных сил реакции. Этот «Сон» Купала видел-создавал именно как сон на пожарище революции 1905 года, где властвует Черный — бог тьмы, где со своими мечтами о светлом будущем бьется как рыба об лед сам Купала. Сам — так называется и главный герой поэмы, тот Сам, который наперекор всему идет в пущу в ночь на Ивана Купалу искать цветок счастья, клад для себя, для своего народа, для всех людей на земле.

Работу над «Сном на кургане» затягивали сомнения. Кто думает, что Купала рос, как на дрожжах, полный уверенности в своих силах, прямолинейной веры в будущее, тот глубоко ошибается. Купала — талант, и в городе Пушкина он чувствовал себя прежде всего как Пушкин. Вспомните стихотворение «Эхо» Пушкина: все в природе находит себе отклик, а где отклик тебе, поэт? Тот же мотив и у Купалы в стихотворении «Жниво»: все, кто сеет, жнут, и ты, поэт, сеешь, «а где твое жниво?». Жниво в 1910 году не больно радовало.

Затягивала «Сон на кургане» и грусть по родине, просто ностальгическая грусть по «нивам отчим», с необыкновенной силой прорвавшаяся 17 июля в стихотворении «Я от вас далёко...», которое по праву считается одной из вершин патриотической лирики поэта:

*Я от вас далёко... Боже ты мой милый!
Но не разлучусь я с вами до могилы.
Знают*свет и сумрак о моей заботе:
Как живет сторонка и как вы живете?
А как в домовине лечь и мне придется —
Тень моя восстанет, на крест обопрется,
И в тот край глядеть ей, вечности внимая,
Где лежит отчизна — Беларусь родная!*

И что неожиданным было для самого Купалы — сам Черный, которого он рисовал во «Сне на кургане», Перебивал работу над поэмой. Этот Черный в одну из белых ночей вдруг явился к своему создателю вообще в образе Грабаря всей жизни! Это было страшно. О Леониде Андрееве Толстой говорил, что тот пугает, а ему не страшно. Грабарь жизни испугал Купалу по-настоящему. Но опять же не — победил. Не поддался ему Купала: в стихотворении «Грабарь» поэт хоронит в могиле того, кто ее, эту могилу, копал жизни. Жизнь непобедима, Грабари преходящи.

Черный — сила во «Сне на кургане» господствующая. Семь нечистых призраков, в услужении у Черного. Белые ночи Купалы были, вне всякого сомнения, временем его борьбы с Черным, и именно белые ночи содействовали этой борьбе, содействовали как дочери вечного солнца, как волшебная краса северной столицы — любимицы Пушкина.

Сам не откажется от поиска клада-счастья, как не откажется от него и Купала. Однако же и нелегко Саму — одному, среди ночи, в лесу. «Глухо шумят раскачиваемые ветром ели и сосны; скрипят осины и березы; с шелестом осыпаются трупно-желтые листья. Между тремя вековыми дубами — устланный мхом и ветками пригорок-курган; над ним, зацепившись волосами за ветви дубов, висят-раскачиваются три русалки. Место — сплошь безлюдное. Веет колдовством и ужасом. Приближается с одной стороны волк, с другой — лис и поодаль на задних лапах садятся; между ними поднимается до половины гадина и глядит в сторону спящего; из-под лозового куста высовывается заяц и осматривается...» Пишет это Купала и вздыхает: «Бедный Сам! Но разве мне легче?» Слово, однако, поэт дает Саму:

*Нельзя мне так дальше жить в доме родном,
Когда он, мой дом, мне — могилой:
Поле лежит ледяным валуном,
Ветер беснуется стылый.*

*Люди... Что люди? Кто себя,
кто ж
Назвать человеком посмеет
У каждого в сердце — злоба и ложь.
От всех мертвечиною веет.*

*Вот мой топор. Так за дело живей!
Взять этот клад я обязан:
Лаской повеет тогда от людей
И от небес этих — разом.*

Не повеет!..

О Черный! Черный «шепчет молитву», Черный «свистит; появляется человек в лакейской одежде и, подав железный горшочек, исчезает. Черный запускает внутрь горшочка ручку и, вынув оттуда горсть золота, подбрасывает его на ладони; монеты со звоном, напоминающим кандалный, снова падают в горшочек; Черный снова достает их и так пересыпает, пересыпает. В ночной темени золото полыхает красно-черным пламенем... Ветер усиливается. Слова Черного сливаются в какую-то дикую музыку со звяканьем монет, с шумом зарослей и скрипом досок на заколоченных окнах и дверях замка. Появляются... призраки; Черный каждому из них бросает на землю по несколько червонцев — призраки с жадностью хватают их...».

Пишет это Янка Купала, и среди призраков первыми видятся ему мракобес Дубровин, служки «боские» Илиодор и Распутин, а за их спинами копошатся призраки помельче — виленские Ковалюк и Наливайко. А вон и старый знакомый — Лука Ипполитович: то ли кланяется Черному, то ли то и дело «клюет» носом в блескучие пятаки с профилем его императорского величества Николая II...

Однако на этом чудеса «Сна на кургане» вовсе не кончаются. Сам не покоряется Черному, но покоряется суду неразумных односельчан как непонятый ими зачинщик пожара-революции. Кто и что только не попадает на этот суд! Свадебная дружина: молодая в венке и молодой с цветком на груди, сват, перепопсаный через плечо белым рушником, музыкант со скрипкой, маршалок, девчата-дружки; старик, старуха и их невестка с грудным дитем, несущие стол, корыто и зыбку — символы пищи, омовения и рода человеческого; некий юродивый, который ведет слепую бабу, ступающую робко, с опаской; сумасшедшая женщина в посконной сорочке: на левой руке она держит, как ребенка, обернутую тряпьем головешку, в правой зажат нож. И это она требует суда над Самом, прося слепую бабу не спускать с него глаз. Суд слепых! Впрочем, и Сам, хоть и зрячий, слеп, ибо не увидел, что обстоятельства и люди против него. От кого ему ждать понимания? Не от этого же, разумеется, сборища слепых и безумных!..

Есть в поэме груша, сук на ней, есть у Сама пояс, на котором он

пытается повеситься. (Как Сергей Полуян?!) Да разве можно это сделать на людях, даже если они и безумны? Сумасшедшая замахивается на Сама топором, целясь ему в горло, но перерубает пояс, который не успел затянуться на шее Сама. Слепая же, слыша вокруг себя галдеж, спрашивает: «Что здесь происходит?.. Плачут, стонут и хохочут... Что им нужно?» Возле груши появляется Старец, весь обвешанный сумами — понищенски. Говорит глухо, мрачно: «Из груди своей вырви сердце... запали его от лучины; и по свету иди, как с факелом: правду иди с ним искать...» Правды жаждут люди на пожарище революции 1905 года, правдоискатели среди них не перевелись, и нужны им новые Данко с пылающими сердцами, готовые жертвовать собою ради других людей, ради громады. Было бы только понимание этих Данко громадою. Понимание! Это и себе у белых петербургских ночей выпрашивал Купала понимания: он лукавил, создавая сон-аллегию, наполняя его символами. Он и хотел скрыть направленность поэмы против реакции, против царя, и боялся, что, как Сам, не будет понят, что его «Сон на кургане» окажется гласом вопиющего в пустыне белых ночей... Но ведь белые ночи были такими светлыми? Да! И из них выплывал образ Черного, хохотал в глаза поэту, кривлялся, угрожал...

8 июля, за месяц до окончания «Сна на кургане», в Петербурге отдельной книгой вышла поэма Купалы «Извечная песня». В конце октября увидел свет второй оригинальный сборник поэта «Гусляр». А Купала переживал, будучи просто в отчаянии от «дважды буквенного проклятия», как называл он явление двухалфавитности в Белоруссии. Дело в том, что «Извечная песня» была набрана и напечатана кириллицей, «Гусляр» — латинским шрифтом. Значит, первую книгу читало лишь православное население Белоруссии, вторую — лишь католическое. Поэт, который жаждал «со всем народом беседу вести», досадовал, страдал, в душе проклиная тех, кто располовинил его народ...

А вообще же петербургский 1910 год был для Купалы насыщенным учебной, творческой работой, знакомствами. И пожалуй, ближе, чем с кем-либо другим, поэт сошелся в это время с Евгеном Хлебцевичем — «Халимоном из-под пущи», как тот подписывал тогда свои статьи. Был он одним из тех студентов, которых называют вечными. Чтобы учиться, Евгению Хлебцевичу нужно было подзарабатывать, и это прерывало учебу, которую, как и общественную деятельность, он ставил на первый план.

— Ныне и присно и во веки веков да святится имя твое, Иване, — так обычно приветствовал Купалу Хлебцевич, и они могли незаметно — шаг за шагом — перемерить все линии Васильевского острова: Хлебцевич — в

бесконечных разговорах, Купала — все больше молча.

Был поздний ноябрь 1910-го. Петербургская судебная палата судила Франтишека Богушевича как автора «Дудки» и «Смыка». Председательствовал сенатор Крашенинников. Пыжились в камергерских мундирах прокурор, судья. Защищал Богушевича адвокат Гольдштейн. Богушевича уже десять лет как не было на свете, но жили, звали на борьбу «Дудка белорусская» и «Смык белорусский». Среди публики на хорах рядом с Евгеном Хлебцевичем стоял Янка Купала. Суд был самым настоящим — по всей форме. Как же, были оскорблены мундир и честь самого князя Хованского, о котором Купале рассказывал Хлебцевич. У Богушевича сто розог дает этот самый князь Хованский несговорчивому мужику Матею, который тем провинился перед князем, что не стал возвращаться в лоно православной церкви. И церкви у Богушевича нанесено оскорбление. И памяти о генерал-губернаторе Муравьеве. Но защитник Гольдштейн не лыком шит. Вот у него в руках книга протопросвитера военного и морского духовенства, царского духовника Шавельского под названием «О воссоединении униатов с православной церковью». Защитник раскрывает книгу и читает, что бестактность князя Хованского вредила делу православия в Северо-Западном крае. А не о том ли у Богушевича? Адвокат легко доказывает, что и стихотворение «Жертва» не антиправительственное, не антипомещичье, что оно всего лишь зарифмованные евангельские заповеди. Суд в замешательстве, суд «удаляется на совещание» и оказывается не таким грозным, как надутый сенатор Крашенинников и голосистый, словно иерихонская труба, прокурор.

— Написанное остается, — говорит Евген Хлебцевич, когда, спустившись по узкой лестнице с хоров, друзья очутились на улице.

Продолжая думать о чем-то глубоко своем, Купала неожиданно для Евгена горячо произносит:

— В конце концов, Халимоне, каждый поэт сам себе судья...

— Ты чистый романтик, Яночка!

— А что есть, могут быть грязные романтики.?

— Как и грязный суд.

— Суд, если он не суд, — судилище, — заключает Купала и думает, что хоть эта грозная туча не будет висеть над товариществом и «Дудка белорусская» и «Смык белорусский»- теперь свободно пойдут в продажу. А это хоть что-то да значит для финансовых дел издательства, столь близких теперь не только Эпимах-Шипилло, но и Купале.

Было в 1910 году еще и это — горечь, смятение, напряженные

раздумья, вызванные повестью И. Бунина «Деревня». Назвать всю Россию '«Дурновкой», а в революции сказать, что «поорали мужички, побезобразничали... Так скотина линяет...»? Господи! Слышал, сколько раз слышал Купала о дурном мужике у себя дома, в Белоруссии. Порочили его панки — местечковая шляхта, порочила вековая оскорбительная традиция. А здесь! Тонкий, прекрасный художник, певец печали дворянских гнезд, настоящей красоты их, что от красоты России вообще, от русской природы вообще, от созданного русским народом-тружеником, — и вдруг этот художник заявляет: «Вся, вся она — Дурновка!..» Как же объяснить, что не вся! Что и в мужичьей России, и в мужичьей Белоруссии это лишь внешнее... Как объяснить?.. Нужна искать, думал поэт, искать ответ у народа, и не у чьего-то — у своего искать. И не в одном лишь 1910 году.

1913

Оглядываясь на три прожитых в Петербурге года, Купала порой просто не верил, что успел так много сделать и что судьба к нему была так часто благосклонна. В 1911 году он познакомился с Владимиром Галактионовичем Короленко, 7 января подписал ему «Жалейку» «ў знак шчырай пашаноты да яго працы на полі грамадзянскім». Не это ли «искреннее уважение» к одному из честнейших писателей России вывело в том же году и самого Купалу «на ниву гражданскую», когда он 30 ноября вместе с В. Короленко, М. Горьким, Л. Андреевым, А. Толстым, С. Сергеевым-Ценским, А. Блоком, А. Серафимовичем и другими литераторами подписывал обращение «К русскому обществу», в котором разоблачалась клевета черносотенцев, их инкриминация М. Бейлису убийства русского мальчика в ритуальных целях? Этот год был памятен Купале и тем, что еще в феврале он читал в журнале «Современный мир» статью М. Горького «О писателях-самоучках» с его же переводом стихотворения «А кто там идет?..» и припиской: «Прошу Янку Купалу извинить мне дурной перевод его красноречивой и суровой песни». М. Горький, который вообще за всю свою жизнь перевел только двух поэтов — финна и белоруса, — из белорусов выбрал именно его — Купалу. Как тут было не гордиться! Помещая стихотворение в «Современном мире», М. Горький тем самым как бы измерял творчество белорусского поэта масштабами всей мировой литературы, как бы утверждал, что ее, мировой литературы, отныне нет и не будет без Купалы. И еще своим авторитетом

М. Горький подтверждал мнение литовского поэта Людаса Гиры, который за полгода до публикации в «Современном мире» писал, что стихотворение «А кто там идет?..» «по своей силе и одновременно художественной простоте является настоящей жемчужиной мировой поэзии, одним из прекраснейших гимнов возрождающегося человечества»; он как бы поддерживал также и русского профессора А. Погодина с его доброжелательным словом о Купале в «Вестнике Европы» (январь 1911 г.), и пражского профессора А. Черного с его переводами купаловских стихов «А кто там идет?..», «Песня и сила» и статьей «Белорусское национальное и литературное движение в 1909–1910 гг.» в журнале «Slovansky pfhled». «Slovansky pfhled», «Вестник Европы», «Современный мир» — это уже форум не узконациональный, и на этот форум Купала всходил именно из Петербурга. Сердце его не могло не замирать — от высокой гордости и ответственности, от сознания, что чаяния Молодой Беларуси находят стольких сторонников и такую серьезную поддержку, что дела ее приобретают все больший размах.

30 декабря 1912 года был утвержден устав «Белорусского литературно-научного кружка студентов С.-Петербургского университета». Он быстро пополнялся новой молодежью, а главное — все более серьезные темы брали члены этого кружка для разработки, все более основательные звучали на его заседаниях доклады: Б. Тарашкевича — «Белорусский народ и его язык», Е. Хлебцевича — «Возрождение белорусской народнической литературы», А. Гриневича — «Белорусская народная музыка», К. Душевского — «Изучение древних исторических памятников и охрана старины», Р. Зямкевича — «Белорусская библиография»...

Всей молодежи в лицо Купала хорошо уже не знал, когда приходил теперь на заседания кружка — по чьему-то приглашению или же так, сам по себе. Читал тут свои стихи, а «Пророка» даже посвятил кружку. Тема для тогдашнего Купалы была весьма волнующей: он писал в стихотворении о песняре-бессребренике и корыстолюбивой, жадной и беспардонной толпе, спрашивающей поэта-пророка: «А сколько ты нам дашь червонцев, коль за тобою мы пойдем?» Не на звон червонцев шла в петербургский литературно-научный кружок белорусская молодежь, и это радовало Купалу. И если не всех кружковцев он помнил в лицо, то, может, причина — одно из них, которое в последнее время он стал выделять.

Павлина Меделка... Судьба вновь, после Вильно, сводила поэта с этой девушкой. А точнее, сводила ее, и не с Купалой, а с его творчеством, с его первой пьесой. Где-то сразу же после встречи Нового, 1913 года молодые белорусы-петербуржцы задумали поставить купаловскую «Павлинку».

Всего лишь на неделю опередили их белорусы-виленцы. Но и в Вильно, и в Петербурге — в зале рабочего клуба «Пальма» — постановка стала праздником всей молодой Белоруссии. Праздником она стала и для автора пьесы, ибо того, что произошло на сцене по окончании спектакля, он и во сне увидеть не надеялся...

Здесь, однако, мы дадим слово очевидцу — самой Павлине Меделке: «За организацию спектакля взялся брат профессора Владислав Эпимах-Шипилло, большой любитель театрального искусства... Распределили роли: Степан Криницкий — Душевский; Альжбета — Виктория Кликович; Павлинка — Павлина Меделка; Пранцысь Пусторевич — Владислав Эпимах-Шипилло; Агата — его дочь Клара; Адольф Быковский — Леонид Адамович; Яким Сорока — Левон Заяц. Гостей, музыкантов играли студенты Сушинский, Касперович с женой, Алексюк, Бычковский, Гагалинский и др. В качестве режиссера был приглашен актер Александрийского театра Бекин-Дроздов. Начались репетиции, на которых всегда присутствовал автор пьесы. Мне долго не удавались сцены с Якимом. Как ни мучил меня Бекин-Дроздов, но когда нужно было горячо сказать: «...И на веки вечные любить буду», или выполнить авторскую ремарку: «Яким сильнее прижимает ее к себе и хочет поцеловать, она же притворно противится, а затем обхватывает его за шею, и долго и горячо целуются!» — у меня это выходило неестественно, холодно. После очередной неудачи Бекин-Дроздов отозвал меня в сторону и спросил:

— Скажите, в своей жизни вы что-нибудь подобное переживали?

Огнем запылали мои щеки, уши...

— Нет...

— Я так и знал, — широко заулыбался он. Затем направился к Купале, и они, поглядывая на меня, шептались и улыбались.

Мне чуть ли не до слез стало обидно. Настроение упало, дальше репетицию провела без игры, под нос бормоча свои слова. И в конце концов заявила, что эта роль мне не по силам, что портить пьесу не хочу, а потому нужно искать другую Павлинку. Все зашумели:

— А кто будет играть? Сама знаешь, что из нас никто, кроме тебя, для этой роли не подходит.

Помрачнел и Янка.

— Брось глупости! Если захочешь, сыграешь.

Всю ночь и весь последующий день на душе у меня было мутно. Сама знала: нелегко найти замену, нельзя подводить товарищей. Я сожалела, что закапризничала.

Вечером пришел ко мне Янка, пожурил за капризы и засиделся

допоздна. С тех пор он частенько стал приходить ко мне и снова был со мной обыкновенным хлопцем, который своими разговорами и поведением настораживал меня и напоминал первую с ним встречу. А когда вознамерился стать в роли Якима, я возмутилась:

— Ты что, приходишь репетиции проводить со мной, учить меня целоваться? Обойдусь без твоих уроков!

На следующей репетиции со злости на него и на режиссера я так провела эту злосчастную сцену, что все зааплодировали.

— Видал? На тебе! — посмотрела я на Янку с видом победительницы. Он, довольный, ухмылялся...»

Со злости на Янку молоденькая актриса, как видим, начинает естественно играть любовные сцены. Со злости на того, кто выделяет ее среди других: не ухаживает ли, не любит ли? Интересная ситуация, не правда ли? Удивительная реакция: на внимание Купалы, о котором сама же Павлина Меделка спустя годы скажет: «Когда читал «Пророка», так мне казалось, вижу какой-то ореол вокруг его головы», — так вот, на внимание такого ухажера и вдруг — злость. Он засиживается у нее допоздна, он ищет пути к ее сердцу. Она же настойчиво вспоминает «первую с ним встречу». Помните: «Шутил, спрашивал у меня, много ли в Вильно красивых девчат» (понятное дело, таких, как она), «весело ли они проводят время» («ведет такой несерьезный разговор»)...

Почему же, однако, эта молоденькая девчоночка да такая серьезная и только серьезности требует от Купалы? И почему она такая капризниченькая, что творится в ее сердце и чем все это обернется для студента Черняевских курсов, для поэта Купалы?

Не будем торопиться с ответами, не будем забегать вперед...

...Билеты на «Павлинку» распроданы за несколько дней до спектакля. И вот зал полнехонек, но занавес еще не поднят. Еще при закрытом занавесе начинает звучать песня — голос Павлины Меделки, сценической Павлинки:

*Ой, пойду я лугом, лугом,
Ой, пойду я лугом, лугом,
Где мой милый пашет плугом,
Где мой милый пашет плугом...*

Занавес еще не поднят; еще не начался на сцене праздник большой любви; еще не пришла она к самой красивой, к самой нежной певунье:

шутнице, говорунье Павлинке; еще не силятся лишить ее этого праздника жизни и молодости ее же родители — закостенелые в местечково-шляхетской домостроевщине; еще не врывается в ее жизнь Адольф Быковский — недотепа с немецким именем, пусть и не волк, но не без претензий на шляхетность (потому он и кажется отцу Павлинки «блином, да еще маслом мазанным»), Не догадывается еще Павлинка, что ее любимый Якимка за листовку арестован. Арестован по доносу отца Павлинки. Идея доноса возникла как бы в результате сговора сил старой Белоруссии; отец для Павлинки — не отец, а кажущийся на сцене таким смешным сосед — не сосед, ибо они губят дорогого Павлинке человека — Якимку. С криком отчаяния: «Ха-ха-ха! Звери слепые!!!», теряя сознание, валится она на землю, узнав об аресте Якимки. Не шибко смешной написалась у Купалы первая его комедия: смеха-то в ней предостаточно — игривого, умного, уничижительного смеха, над старым светом, над вырожденчеством белорусской шляхты. Но не «свадьба-венец» — комедии конец, как, скажем, у Бомарше. Стон души, драма любовная и политическая — вот финал «Павлинки». Символический финал: через тернии — к звездам, через страдания — к лучшему будущему идет Молодая Беларусь...

Однако занавес в петербургском рабочем клубе «Пальма» еще не поднят. И еще не видно лица той, которая в глубине сцены поет песню Павлинки. Но Купала, едва услышал: «Ой, пойду я...» — видит...

...Эту же песню она пела летось, пела рядом с ним — в купальских огнях, в их отсветах, падавших им на лица, переливавшихся на вечеряющих волнах Вилии. Они стояли на одной из двух огромных барок, плыли по Вилии — из Антоколя через все, казалось, Вильно. Барки, лодки были убраны зеленью и обвешаны разноцветными фонариками. Оркестр играл и «Волны Дуная», и «Сказки Венского леса», но чаще всего звучали мелодии белорусских народных песен.

Ой, пойду я лугом, лугом...

Колыхались на волнах венки с зажженными на них свечами. Купалье! Белорусы праздновали в Вильно Купалье — праздник воды и огня. Вся Вилия от Антоколя до леса «Закрэт», сплошь усеянная разноцветными огнями, походила на какую-то волшебную, заколдованную — точно из арабской сказки — реку, по которой в золоченых челнах плыли рыцари-

богатыри... В «Закрэте» широкая поляна над Вилией тоже была украшена разноцветными фонариками. Посреди поляны полыхали пламенем бочки со смолой. И тут звучали песни — белорусские, и тут были танцы — тоже белорусские, народные, были прыжки через огонь. И была с ним она. Однако не о ней писал поэт для «Нашей нивы», он писал о девчатах вообще, которые «очень нарядно выглядели... в белорусских национальных костюмах... в венках из цветов и ржаных колосьев». Эта «игра... продолжалась до самого белого дня, когда уже вместо искусственного огня заиграло в небе ясное купальское солнце...».

Купала, рассказывая в «Нашей ниве» о празднике Купалья в Вильно в ночь с 23 на 24 июня 1912 года, конечно же, умолчал о себе. О нем, а точнее, о его песне вспоминала потом Павлина Меделка:

«Подплывая к Замковой горе, хор поет «А кто там идет?..». Песня звучит так торжественно, так символично, что невозможно сдержать слез. С берега доносятся громкие рукоплескания.

— Ура-а-а! Слава белорусам! — такими возгласами с набережной провожает нас едва ли не все Вильно.

Впечатление было необыкновенное! Дух захватывало, грудь разрывалась от переполнявших ее чувств, и только в песне выливалось то, что не вмещалось в сердце...»

*Ой, пойду я лугом, лугом,
Где мой милый...*

Как сияло в то утро купальское солнце! Купале и сейчас кажется, что ослепляет его не рампа, а то солнце и та, вся светящаяся, Павлинка, играющая Павлинку..?

«Кончается пьеса, — будет вспоминать Меделка, — я лежу, обомлелая, на земле.

«Коханенькие-родненькие, две дырки в носу и — конец!..»

На сцену взбегает Купала, обнимает меня и горячо целует. А зал рукоплещет и рукоплещет.

— Павлинка! Хватит целоваться! Занавес даю, — кричит Степан Криницкий — Шипилло. Янка, убегает со сцены. Мы кланяемся публике.

— Автора! Автора! — гремит зал.

Из-за кулис выводят Купалу. Он берет меня за руку, подводит к рампе, и мы вместе кланяемся. Студенты торжественно преподносят ему часы, на них выгравировано: «Отцу «Павлинки» от белорусских студентов». А

Купала дарит мне два еще совсем новехоньких, только что из типографии экземпляра «Павлинки»...

После танцев Купала проводил меня на квартиру, и мы еще долго делились своими переживаниями».

Переживаний у них действительно было много. Былой еще будет. Но, думается, возвращался Купала в ту ночь от Павлинки, влюбленный в нее без памяти. Да и она не без надежды проводила его тогда. И казалось Купале, что вовсе не промозгая, сумрачно-февральская ночь стоит над Питером, а что это белая ночь его любви, его счастья плывет на него с Финского залива, плывет, завораживая, над Невой — в сторону Васильевского острова.

Глава шестая

ОКОПЫ. В ПРЕДЧУВСТВИИ РЕВОЛЮЦИИ

Он ехал сюда и с радостью, и с некоторой опаской. Это было его третье лето в Окопах — лето 1913-го. Каким-то оно выдастся? Первое показалось почти сплошным праздником после того, как целых полтора года не был дома. А дом опять же не принадлежал ни ему, ни матери. В 1909 году в поисках более легкой аренды Бенigna Ивановна оставила Боровцы, где не везло ей с самого начала, и двинулась сюда, в Окопы.

Окопы действительно были красивыми — ничего не скажешь. Купала, приехав сюда в первое лето, только и делал, что бродил по окрестностям, открывая для себя проселок за проселком, яр за яром, урочище за урочищем. Дом стоял на пригорке — крыльцом на запад, и из окон зала, в котором поэт любил просто посидеть или побренчать на пианино (пани Желиговская не захотела везти этой антикварной вещи отсюда, из дальней дали, в свои городские покои), виднелись роскошные, разлапистые дубы: одинокие, они стояли по левую руку метрах в сорока-пятидесяти друг от друга на широком пологом склоне поля в колосистом жите. Большими семьями дубы росли на таких же склонах по всем раскорчеванным угодыям. А угодыя большей частью были действительно из корчевьев и сплошь перемежались полосами леса. Лес кучерявился на гребнях пригорков и обступал стеною мокроватые луговые впадины. Когда с крыльца окоповского дома бросал Купала взгляд на запад, то как бы тройную стену леса видел перед собою — третья стена поднималась на самой высокой в округе Лысой горе.

И дом в Оконах был красивым, большим — не чета халупе в Боровцах. Четыре окна смотрели на запад, столько же — на восток. Вокруг сирень, яблони, липы, клены, кусты жасмина, шиповника, бересклета. А за домом, с той стороны, куда выходили окна купаловской спальни, пошумливали роща — ольха вперемешку с черемухой, над которыми — аккуратно над запрудой — главенствовал высоченный, с густою кроною дуб. Дамба задерживала ручей, и он образовывал во впадине яра овальное зеркальце пруда. Разнотравье на склоне над прудом так и шумело, цветы дурманили с утра до вечера. Спадающая на мытый-перемытый белый песок, вода на запруде однообразно, ласково журчала. Вдохновение Купалы, скольким оно обязано

этому дубу над запрудой, этой душистой траве, этой спокойной воде?! А перейдешь на ту сторону ручья, поднимешься по более крутому склону яра, и там ты обязательно остановишься перед громадным валуном, который точно под крыло взяла, приподняв зеленые полудуги веток, ель. Видимо, перуны в этот валун били не раз — узорчатые зигзаги еле приметных глазу трещинок заросли мошком, и камень весь оказался как бы накрытым причудливо сплетенной зеленой сеткой. А за валуном — дальше и левее, на холме, — чужестранкой среди синих здешних сосенок и белых берез голубела пихта. Ее во второе свое окоповское лето посадил сам Янка Купала, принеся из соседней Карпиловки от Антона Левицкого. Их там целую аллею посадил досточтимый Антон Иванович — не подражая ли пану Чеховичу из Малых Бесяд, малый помещичек — большому помещику?..

Окопы с красотой их природы и — если со стороны глядеть — достатком, упорядоченностью быта, однако, не застили поэту большого мира, который он уже открыл для себя: от Селищей — до Петербурга, от Дольного Снова — до Вильно, от дядьки Амброжика — до профессора Эпимах-Шипилло и от Луки Ипполитовича — до Ковалюка, Крашенинникова, Дубровина.

А вообще удивительно даже: казалось бы, один и тот же пейзаж, одни и те же люди вокруг, духовный мир одного и того же человека, а три таких непохожих друг на друга окоповских лета Купалы становились в ряд. Первое — лирическое, второе — комедиографическое, третье — эпическое, драматическое.

И действительно, только из точно датированных стихотворений 1911 года тридцать три приходятся как раз на два летних месяца в Окопах. Это был еще период подступов поэта к ощущению всей остроты надвигающихся социальных конфликтов. Точно перед декорациями — перед проемами света и тьмы чувствовал себя в то время Купала и звал «к звездам, к солнцу», о солнце мечтал, предавая тьму проклятию. Во второе окоповское лето поэт написал комедию «Павлинка». А как лирик был уже теперь более философ, нежели раньше; и несравненно тоньше стал он выявлять свои переживания. Вместе с тем Купала уже гораздо злее высмеивал старый мир, с большей, чем прежде, боевитостью бичевал его пороки. Довольно заклинаний! Герои пьесы «Павлинка» отправляются в поход по солнцу, отправляются, правда, как влюбленные, еще не поднимая против старого мира топора. Это сделают герои другой его пьесы, но о них — чуть позже.

В третье лето в Окопах Купалой были созданы поэмы «Бондаровна»,

«Могила льва», «Она и я», драма «Разоренное гнездо», водевиль «Примаки».

Но вернемся в первое лето, лирическое, когда свободолюбивый, светолубивый поэт был весь в единении с солнцем:

*Солнце скажет: «Короную»,
Ночка скажет: «Укаменую».*

Поэта не пугает мрачное пророчество ночи, пусть оно даже и сбудется, но было бы прежде коронование солнцем, братание с ним.

С новой силой проявился в это время в песнях Купалы и «вечный голод по цветку счастья». Дух пуци в стихотворении «В Купальскую ночь» поначалу кажется похожим на Черного из «Сна на кургане». Он говорит лирическому герою: «Тебе пока что недоступна цветка желаемого тайна». Душа поэта, однако, не желает и дальше вязнуть, точно *в тенетах*, в одних лишь мыслях о цветке счастья. На это дух пуци вот что советует поэту: «Вырви сердце... И зажги его... Выйди с сердцем, как с хоругвью... И свети, не бойся муки... Сам придет цветок тот в руки...» Подобрел дух пуци, ибо он вовсе никакой не Черный, а дух свой, дух лесов окрестных, окоповских. И разве он может не споспешествовать поэту?! Но в том-то все и дело, что в жизни поэту споспешествовала пока, пожалуй, только сказка, пуцанская легенда о Купалье. Ведь стоило проголосить петуху — и «пусто, дико» вокруг поэта; единственно звоном разбитых видений вырвется крик: «Дайте цветок! Дайте солнце!»

— Зачем тебе солнце, Купала?

— Я расплавлю все на свете.

Путы-кандалы...

А вообще в первое лето в Окопах Купалу воодушевляло буквально все. И как работалось! В день писал по два-три стихотворения, по сто, а то и по две с половиной сотни строк, как, например, 15 июня, когда, казалось, сами собой легли на бумагу «Песня моя» и «В Купальскую ночь». Такого подъема он не чувствовал давно. И что это были теперь за строки! Одна в одну — звучные, красивые, поистине классические. И действительно, они стали потом хрестоматийными, стихи первого окоповского лета Купалы: «Эй, вперед!..», «Песня моя», «Не проспи», «Играйте, песни», «За свободу свою», «Будь я князем...», «Звезды», «Ты приходи»... Тогда же поэт написал и стихотворение «Над рекою», ставшее в годы Великой Отечественной войны партизанской песней. Партизаны называли купаловскую героиню

Галиной, прославляя в ее образе подвиг на войне всех женщин Белоруссии.

Второе окоповское лето Купале особенно запомнилось «Павлинкой». Правда, на него пришлось и еще одно весьма памятное для поэта событие — поездка в Столбцы, в деревню Николаевщина, к Якубу Коласу, который только что воротился на родину после трехлетней отсидки в Минском остроге. Мать Коласа стелила постель в сарае, на сеновале, чтоб помягче было гостю, а тот шутил: «Да я, тетенька, колосок под бочок, и мяконько будет!» А Коласу тогдашний Купала запомнился «в полном расцвете жизненных и творческих сил», «цветущим красивым юнаком с мягкими, немного насмешливыми глазами. В тоне его разговора все время сквозил добродушный юмор. На меня он произвел прекрасное впечатление, и я полюбил его искреннею, дружескою любовью». Первая встреча Купалы и Коласа и действительно положила начало их дружбе на всю жизнь. Они и впрямь полюбили друг друга, и всё, что с того 1912 года было у них в будущем, было уже как бы общим — и многочисленные радости, и не менее редкие невзгоды.

...«Павлинку» Янка Купала читал Ядвигину Ш. в Карпиловке — в доме Антона Ивановича, в его кабинете с веселыми витражами. Читал на следующий же день, как только закончил комедию, потому что уж больно не терпелось прочувствовать, что он такое написал, да и просто послушать, что люди скажут. Шутила-смеялась (голосом Купалы) Павлинка; сыпали свои любимые словечки «коханенькие-родненькие» ее отец Степан Криницкий и «вот-цо-да» его сосед Пусторевич; выдавал себя за галантного и богатого кавалера Адольф Быковский... И словно смеялись вместе с молодцеватым хозяином кабинета разноцветные витражи, а ведшая в зальчик наверху винтовая лестница, так та, казалось, от смеха в спираль закрутилась.

Слушать пьесу Купалы Ядвигин Ш. позвал и пани Люцию — свою жену, и пани Вольку — мать. Они тоже часто и от души хохотали, но потом рассудительная пани Люция забеспокоилась:

— А если кое-кто из хоруженцев узнает себя в панской пьесе, что тогда?

— Посмеются, как и вы, пани Люция, — отвечал поэт.

— А как не станут? — засомневалась та.

— Станут, станут, — принялся уверять Купалу и своих домашних Ядвигин Ш. — Учитель, наш уважаемый Мечислав Богданович, так тот пану Ясю еще и стопку поднесет! Правда, — понизил голос Антон Иванович, — по Хоруженцам и Большим Бесядам я теперь на месте пана Яся пешочком ходить не рискнул бы. Особенно мимо хаты Франтишека

Облочинского^[25]. Да и Павелак Воеводский из Колдуновки^[26], заприметив нашего поэта, пожалуй, нагнется, чтобы вывернуть камень поувесистее...

— Что же, не надо было писать? — с деланной растерянностью осмотрел всех Ясь.

— Надо, надо!.. Речь не о том!.. — наперебой заговорили пани Волька и пани Люция.

Поэт лукаво усмехался.

— Панове, — переходя на таинственный полусшепот, вновь обратился ко всем Ядвига Ш., — а ведь на Ядю Облочинскую глаз было положил не один учитель Богданович...

Антон Иванович глянул в сторону Купалы. Купала поймал его взгляд, и все заметили, что улыбка поэта стала только загадочнее. А Ядвига Ш. продолжал:

— Могу даже быть пророком: легенда о том, что и сам автор «Павлинки» сватался к прообразу Павлинки, загуляет по свету.

— По какому такому свету? — пожелала уточнить вечно сомневающаяся пани Люция, ибо как портниха привыкла семь раз отмеривать — один раз отрезать.

— Ну, хотя бы по Малым Бесядам, — иронически уточнил Ядвига Ш. и тут же переменял тон разговора: — А самое главное — все у тебя, Ясь, и твоей комедии к месту. И весьма к месту, думается, будет отметить такую удачу: лучшего повода в Карпиловке уже давненько не было...

Из Карпиловки в Окопы в тот вечер Купала возвращался очень поздно...

Третье лето в Окопах началось с дождей. Приехав сюда, Купала сразу же сел за письмо своему петербургскому благодетелю Б. И. Эпимах-Шипилло. Прежде всего он выполнял свое обещание: сообщал профессору, что его действительно может заинтересовать в библиотеке Чеховичей в Малых Бесядах. Перечень ценных, по мнению Купалы, книг он прикладывал к письму, отмечая, что «кроме этих, есть несколько десятков французских, немецких и английских, но среди них, как посмотрел, нет ничего стоящего». У профессора же поэт спрашивал, как обстоят дела с альманахом «Молодая Беларусь» и разослал ли он по редакциям, как обещал, «Дорогой жизни» — третий его сборник, вышедший как раз накануне отъезда в Окопы — в апреле.

О себе Купала писал: «У меня ничего интересного. Сижу дома, как мышшь в норе, и жду у моря погоды. В деревне сейчас, как сами догадываетесь, хорошо, но вот погода малость балует, последнее время — холод и дождь. Здоровье мое не ахти, покашливаю немного. Сегодня еду в

Минск и думаю побывать у врача, а то уже начинаю бояться, что пойду к Абрааму на пиво». Неожиданная, надо прямо сказать, шутка для человека в 32 года. Но, видимо, не рядовая простуда прицепилась к поэту в начале того холодного — с дождями — лета. И видимо, той же непогоды должны мы быть благодарными; особенно не выпуская поэта за порог окоповского дома, она усаживала его на узком диванчике в гостиной, у окна, и он по целым дням читал. Об этом Купала тоже писал профессору: «Перечитываю белорусские этнографические сборники Шейна, Смоленский, описание Могилевской губернии и др.; пробовал сочинить некоторые песни, используя народный сюжет, но подобная работа не из легких. Думаю обработать отдельные предания и, если удадутся, пришлю Вам». Рождались замыслы поэм «Бондаровна», «Могила льва», «Она и я».

Непогодь стояла на дворе, и непогодь иная надвинулась на Купалу в это ненастное, но такое творческое для него лето. «Наша нива» — поэт же собирался вернуться туда по осени. Из Петербурга, на белом коне? Как бы не так! Не по нраву это было кое-кому в Вильно, и прежде всего Ласовскому. Он и затеял внешне вроде бы целиком пристойную литературную дискуссию, но по сути своей коварную, предательскую, с тайным, полным яда и нацеленным в поэта жалом.

Гроза разразилась 5 июля: в «Нашей ниве» появилась статья Юрки Верещаки «Выплачивайте долг». В Окопах Купала читал эту статью спустя неделю и отчетливо видел, против кого и чего направлял свои критические стрелы автор — против него, Купалы, против Коласа и Богдановича, против мотивов гражданской печали в их стихах. Цитировались его, купаловские, строки:

*Невеселая сторонка
Наша Беларусь,
Люди: Янка да Сымонка,
Птицы, дрозд да гусь, —*

и следом шел пассаж: «Успокойтесь, Панове, край наш не столь уж страшен, не столь печален, грязен и беден. Живой красоты в природе нашего края, в людях много, но вот разве лишь то грустно, что мы ее подметить, увидеть не умеем».

Купала сразу и не понял, к чему это противопоставление «живой красоты» и всего гражданского. Впрочем, автор статьи «нескладные плачи» массовой поэзии прощал. Однако претензии к Купале и Коласу высказывать

продолжал, хотя дальше и оговаривался: «Но, слава богу, есть уже у нас имена, пользующиеся широкой известностью и признанием не только в нашей неграмотной и неинтеллигентной Батьковщине, но и далеко за ее пределами». Действительно, у Купалы уже была большая и заслуженная слава. Критик вроде бы и признавал поэта, тоже ставил его высоко, но тут же...

Чей псевдоним стоял под статьей, Купала знал: Вацлава Ласовского. Чувства к этому человеку у него не могли не быть противоречивыми: бывший муж Марии — хохлик, что «бегал у ворот»...

Поэт читал статью Ласовского и искал в ней реакции не только критика, но и просто души человеческой, реакции на то, в чем он, Купала, был менее всего виноват. Да и вина ли это, полюбили тебя и ты любил?

Купала и Ласовский разъехались в 1909 году. Встречались редко — лишь во время приездов Купалы из Петербурга. Ласовский стал много писать, печататься — пером владел неплохо. Но дружбы возникнуть между ними не могло. Купала чувствовал постоянную настороженность Ласовского. Лапкевичи говорили о нем: себялюбив. Себялюбие в Ласовском Купала на первых порах как-то не очень замечал. Но что-то его раздражало в этом человеке. Может быть, то, что он брал на себя слишком много, тщился выдать себя чуть ли не за всю «Нашу ниву», за все белорусское движение. Во всяком случае, возмущенное письмо из Петербурга на имя редактора «Нашей нивы» весной этого года Купала писал, видя перед собой прежде всего обрюзглое лицо пана Вацлава. Он, Ласовский, вел в газете отдел белорусской библиографии. И вот этот отдел «не заметил» выхода третьей книги Купалы — самой, понимал поэт, значительной. Сборник «Дорогой жизни» уже появился, а «Наша нива» писала следующее: «В январе и феврале ничего нового не вышло, в мае выйдет сборник стихов Максима Богдановича, а может, и еще что-либо...» Поначалу поэт в своем письме пытался иронизировать: «Это что — первоапрельская шутка?..» Иронии не получалось, и Купала перешел на открытый текст: «Мне кажется, что за 5 лет моего сотрудничества я не заслужил того, чтобы так беззастенчиво игнорировали мою новую, только что вышедшую, книгу, как это сделали Вы в почтовом ящике своей газеты». Купала был раздражен. Он, как мы знаем, не любил жаловаться, высказывать кому бы то ни было свои обиды, а тут высказал. Правда, Купала, пожалуй, несколько поторопился: книга только что вышла, и в «Нашей ниве» могли об этом еще не знать. С Янкой Купалой в газете все-таки считались, потому что буквально спустя неделю после его письма — 26 апреля — «Наша нива» дала не сообщение о выходе сборника «Дорогой

жизни», а рецензию на него. А ведь написана она могла быть и до получения письма поэта. Автором рецензии был Антон Лапкевич. И теперь, читая в Окопах статью Ласовского «Выплачивайте долг», Купала невольно вспоминал и рецензию Лапкевича, в частности вот эти слова из нее: «...много горя, страданий, обид. Много печали и скорби, что так тяжело, так худо живет народ, который ничем не заслужил себе такую долю». Лапкевич это одобрял в сборнике. Ласовский осуждал. Статья Ласовского, таким образом, была одновременно и по рецензии Лапкевича.

Купала вновь перечитывает строки, в которых выдвигаются требования непосредственно к нему: «...Читающее и думающее белорусское общество вправе требовать чего-то для своей души, мерить их творчество меркой европейской, которую прикладывают все народы в мире к творчеству своих пророков. Да, пророков, ибо поэт должен быть учителем и пророком своего народа, должен быть судьей, цветом его души, должен воплощать в поэзии красоту своего народа и края».

«Конечно, должен, — думает Купала, — должен быть цветом души, цветком папоротника, но с красотой у вас, пан Вацлав, как-то уж слишком. «Моя ежедневная жизнь, — пишете вы, — серая, тяжелая, и я хочу из... произведений научиться видеть вокруг себя красоту». А вот вы — значит, мы, поэты, — «вы, кто чувствует в себе силу выразить красоту, дать мысль, поднять и вести души, почему не выполняете своей миссии, почему молчите, когда убивают в душах... красоту, почему не учите нас любить и понимать гомон бора, плеск солнечной воды, задумчивость сумерек, сияние восходов — почему не разжигаете душ наших пожаром любви?..»

Собственно, Купала мог не принимать всего этого на свой счет, ведь поучал-то, сыпал упреками слепой, точнее, тот, кто не хотел видеть сути, сущего, не хотел раскрыть «Дорогой жизни» — книги, где была и задумчивость сумерек, и сияние восходов — вся красота белорусской природы и где Купала уже утвердил себя пророком своего народа, был как огонь, который не укротить, как вода, которую не остановить.

Но почему же так, а не иначе писал сейчас Ласовский?

Ласовскому казалось, что он, как райскую птицу за хвост, ухватил пророческую мысль. Он увидел самого себя пророком красоты, которого, по его мнению, еще не было в родной литературе. Теперь же будет, теперь же осуществится песня красоты — по мановению руки Ласовского, благодаря его провидческому наитию. Но песня эта осуществилась уже до него и без него. Критик был тут лишним. Второй раз в жизни третьим лишним оказывался Ласовский, ибо Купала и красота уже справили свои заручины!

Но каким бы глубоким ни было самосознание поэта, статья «Выплачивайте долг» до основания сотрясала душу. И дело не в недооценке его творчества, не в очередном игнорировании его поэзии — глубже: Ласовский отрицал самое на то время главное в белорусской литературе — ее социальный пафос, ее служение конкретным, злободневным политическим, национальным задачам. Призыв становиться пророками красоты отвергал идею жизни Купалы. Хотел того Ласовский или не хотел, он оказывался ревнителем чистого эстетизма, пропагандистом на белорусской национальной почве искусства для искусства... Купала мог заметить, что Ласовский наносил ему как бы двойной «удар»: обвинял в песнях печали и не признавал художественных преимуществ сборника «Дорогой жизни» перед «Жалейкой». Так или иначе, но поэт тотчас же решил, что оставлять без ответа выпады Юрки Верещаки ни в коем разе нельзя. Но вот писать сейчас он будет не о себе, а обо всей литературе, от имени всех, кому брошен вызов. «Не до молитв, когда хата горит», — брал Купала за отправную точку в своих рассуждениях народное присловье. «Наша современная песня, — писал он далее, — не могла не сложиться немного, может, и слишком сетующей на тяжелую народную долю, но таковой она вечно не будет... Не за горами уже то время, когда пробудится наш белорусский народ, как один, к новой, светлой жизни, а его поэты-пророки настроят струны своих дум на иной лад, будут петь о великом богатстве и красоте своей батьковщины и о великих радостях ее верных сынов». Пророчески писал эти слова Купала, точно предчувствуя свою судьбу: в советское время песни поэта будут именно «о богатстве и красоте», именно «о великих радостях». И скромно о себе, Тётке, Коласе, Богдановиче замечал: «Пророки они или не пророки — покажет будущее, но что они плоть от плоти своего народа — тут двух мнений быть не может». Риторичности стиля Верещаки, его велеречивости Купала противопоставил свою романтическую возвышенность души и слова, следующими строками заканчивая статью: «Мысль поэта — вольна, как ветер, и беспредельна, как даль эта всемирная, сердце его полно любви к ближнему, как солнце — вечно тепла и света, а душа его глубока, как это море-океан, в котором сокрыты недоступные человеческому глазу богатства. Из света и огня, полыхающих в его сердце, из богатств, сокрытых в глубинах души его, поэт сумеет добыть свободной мыслью всю красоту мира и всю прелесть жизни человеческой и передать их в бессмертной песне своему народу». Поэт сумеет. Это означало, что сможет и оп, Купала, только «вы, прозаики, поскорее устраивайте материальный быт народа по божьим и человеческим правде и законам». «Прозаики» —

политики, революционеры, экономисты, государственные деятели — отставали. Устранится это отставание, и все пойдет по-иному. Это убеждение в Купале было очень сильным, как была в нем абсолютной, непоколебимой вера в силу художественного слова. «Свободной мыслью добыть всю красоту мира и всю прелесть жизни человеческой» — это была программа, скроенная на вырост времени: как и у всех романтиков, неконкретная, абстрактная, но — ничего не скажешь — изложенная красиво, торжественно, празднично. Точно присяга. С такой романтической масштабностью Купала говорил лишь в Окопах. Сейчас эта звездная высота купаловского романтизма была поистине ослепительной. Она с головокружительной беспредельностью распахнулась в стихотворении «Песней только...».

Статья «Почему плачет песня паша?» появилась в «Нашей пиве» 26 июля, «Песней только...» было написано 20 июля — следом за статьей или одновременно с ней. Но в любом случае оно родилось как аргумент в споре с эстетствующим критиком и воплощало в себе программу жизни и творчества Купалы-романтика, сына и песняра настоящей красоты:

*Только песней живу — как судьбою.
Ради песни в душе свет несу,
Постигаю лишь с нею одною
Недоступную быта красу.*

*Средь светил беспредельной вселенной,
Как во сне, реет вольный мой дух,
Облетает миры, вдохновенный,
И всю жизнь обнимает вокруг.*

*Над сердцами, что, горечью полнясь,
Погубили надежды свои,
Я творил бы высокую повесть
Вечной радости, вечной любви.*

*Эти стрелы, что в час непогодный
В черных тучах бушуют огнем,
С горной выси метал бы,
народный
Слабый дух сотрясая, как гром.*

*Млечный Путь, что над злом и тревогой
Серебристо мерцает во мгле,
Я бы, сняв, небывалой дорогой
Проложил по родимой земле.*

*Взял бы солнце лучистое в руки,
Что горит над простором полей,
И по млечному шляху без муки
Вел бы к вечному счастью людей.*

*Так вот песней живу я на свете,
Так вот радуюсь в песне душой,
Хоть и строки написаны эти
Кровью сердца — горячей, живой.*

24 июня Купала закончил поэму «Бондаровна», 2 июля — «Могилу льва», 24-го — поэму «Она и я», 31-го — водевиль «Примаки». А спустя месяц и три дня появилась пятиактная драма «Разоренное гнездо». Поистине звездный взлет купаловского гения! Поистине благословенное окоповское лето 1913 года!..

Еще с Петербурга — после прочтения бунинской «Деревни» — поэтом овладело неотступное, страстное желание дать свое открытие, свое понимание деревни — открытие, которое явило бы картину сложных противоречий и ни в коем разе не унижало бы в мужике человека. Да и как вообще Купала мог сглаживать противоречия, если в Окопах он был на самом их острие. Прошлым летом, когда он создавал здесь самое веселое в белорусской литературе произведение, он признавался в письме к Б. И. Эпимах-Шипилло: «...И не думайте, что мне дома очень весело, радостно живется». То же он, пожалуй, мог бы написать и сейчас. И тому были причины чисто морального порядка. Мужичий песняр, он все чаще возвращается к своей семье, к далеким и близким предкам, а значит, и к деду Юрке — тот первым из Луцевичей лишился земли, согнали князя Витгенштейны. Да если б только его... А теперь чего не творят помещики и помещички!.. Вон молодой Чехович из Малых Бесяд выгнал из своих владений молодницу с детьми, которой, поговаривали, вроде бы сам добивался... «...И не думайте, что мне дома очень весело, радостно живется».

На третье окоповское лето просто не могло не прийти вершинное

дооктябрьское произведение Купалы. «Извечную песню», «Курган», «Сон на кургане» поэт писал в годы самого ярого разгула реакции, которая и в 1913 году все еще пребывала в силе. Однако «гуляй, Емеля, твоя неделя» теперь уже не говорилось. Новый революционный подъем, начиная с Ленского расстрела, все явственней ощущался по всей России. И стихи Купалы 1912–1913 годов, окрыленные, противоборствующие тьме, зовущие к свету, к звездам, были именно солнцеекими цветами нового революционного подъема. Временем высоких надежд — вот чем было третье лето Купалы в Окопах. А еще оно было временем предчувствий — осознанных и неосознанных: все конфликты социальной жизни обострились для Купалы до предела; мысль его выходила на эти конфликты лихорадочно и лишь в неизбежной борьбе видела их разрешение; в осознанном же было и неосознанное, ибо осознание всегда шире самого себя конкретного, особенно у художника, который создает в своих произведениях неповторимый мир, на свой лад его моделируя и в мечтах о будущем преобразовывая.

Но третье окоповское лето — это и воспоминания, грезы о Ней. «Для Нее» — так назвал поэт один из семи разделов сборника «Дорогой жизни», поместив там стихи, посвященные разным женщинам. В мечтах она была Ею — единственной; в действительности за этим обобщенным поэтическим образом стояли конкретные имена, встречи. Так, летом 1913 года Купала вновь зачастил в Малые Бесяды, но уже не за книгами, как прежде, а к винокуру Викентию Францевичу Станкевичу — брату Владки Станкевичанки, знакомой поэту еще по его первому году в Вильно. В декабре 1914 года, в один день, 13-го, Купала напишет два стихотворения, посвященных Станкевичанке: «Вспомни...» и «Эй, ты, девчина, цветик лилея». Будут это воспоминания о лете 1913-го или 1914-го — установить сегодня невозможно: Владислава Францевна не оставила нам свидетельств, с какого именно лета она отдыхала у брата. Но если даже допустить, что с лета 1913-го, то все равно в стихотворении конца 1914-го поэт вот лишь о чем призывает вспомнить гостью из Малых Бесяд:

*Не вспоминай, как желанна отрада —
С кем-то поделишь отраду свою,
Не вспоминай обо мне ты, не надо —
Вспомни... вот эту думку мою!*

Если просят вспомнить только «думку мою», если спокойно говорят,

что «с кем-то поделишь отраду свою», то этим выражают все же сдержанность в отношениях, а может, и более того — холодноватость. И в другом стихотворении поэт воспевает близость духовную, идейную:

*Дух... свободный свободного духа
Поймет и украдкой заплачет.*

Но какой торжественно-приподнятый, величавый зачин у этого стихотворения:

*Эй ты, девчина, цветик лилея,
Вольная птица грустной землицы!*

«Вольная птица» из соколиной стаи, из кружка передовой белорусской молодежи — это еще просто соратница по борьбе, товарищ по духу, «цветик лилея» — тоже лишь признание красоты своей единомышленницы.

С Владкой Станкевичанкой поэт познакомился в Вильно, когда ей было 18 лет. Ходил с ней как-то в театр, проводил на отдаленный Антоколь, где она тогда квартировала, а наутро переслал ей «Снег» — первое посвященное ей стихотворение. Но за четыре года — к лету 1913-го — в отношениях Купалы и Станкевичанки мало что изменилось. Они оставались преимущественно деловыми — об этом свидетельствует и сама Владислава Францевна: «Мне довольно часто, — вспоминает она, — приходилось развозить или разносить литературу. В то время я работала учительницей в Вильно. В воскресенье или в какой-либо другой день доводилось переходить с места на место, набрав с собой белорусских газет, календарей, книг. Моим компаньоном и помощником в этом деле часто был Янка Купала. Мы с ним побывали на месте, где жил Франтишек Богушевич — в Ошмянском уезде, близ местечка Жупраны. Часто мы навещались и в Лидский уезд, где проживала Тётка». Тётка вернулась из эмиграции в 1911 году — значит, у нее, как и на родине Богушевича, Купала со Станкевичанкой бывал после своего первого приезда в Вильно. Бывал до Окопов, до лета 1913-го, которое звало поэта в Малые Бесяды грудным, высоким голосом Владки. Владка хорошо пела белорусские песни, которые так нравились Купале. Но вот нравилась ли ему певица, поэт еще не задумывался. В сердце и в глазах у него была другая, та, которая вошла в

его жизнь с белых ночей Петербурга. Нет, гораздо раньше — с его первого утра в Вильно, с памятного купальского праздника 1912 года.

Вообще же в третье окоповское лето Она грезилась Купале в образе Славиры из черновика «Сна на кургане»; а в этом зыбком образе легко угадывается облик самой Павлины Меделки, особенно с того фото, где она присела в креслице, чуть опершись подбородком на правую ручку. Смотришь и думаешь, не сама ли это Славира, о которой Купала писал: «... Воздушное создание в женском образе, чуткая, словно цветочная пыльца, к малейшему дуновению ветра, красоты неописанной, неземной, наряд ее — будто сотканный из золотых паутинок, на темно-золотистых волосах — вечный венок из незабудок и ржанных колосков».

Владка Станкевичанка танцевала в Вильно на белорусских вечеринках в паре со студентом химико-технологического училища Юревичем, который, как говорится, света белого из-за нее не видел. Сама же Владка млела по Чесю Родзевичу, танцору куда более ловкому, нежели Купала. Купала если и танцевал, то одну лишь полечку, да и то «дробненько». Владка в танце была размашистой: лихо отстукивала каблучками, щеки разгорались ярче цвета макового, ярче огненной ее — полосатой и широкой — юбки. Вставали перед поэтом в Окопах вечера Петербурга и Вильно, однако не Владку-плясунью искал он, выискивал на них глазами другую, ту самую...

*Губки у нее — малина,
А лицо — лилея.
Глянут звезды-очи —
На земле светлее.*

Думая и помня об одной (а это подтверждает и посвящение поэмы «Бондаровна» Ей, Меделке, оставшееся лишь в черновике произведения), Купала создавал в Окопах образы трех разных женщин.

Бондаровна — героиня одноименной поэмы и народных легенд — не покорялась пану-магнату, не становилась его любовницею-рабою и погибала. И возникла о Бондаровне в народе песня. И поднимался народ, восставал, чтоб отомстить пану за свою дочь, за надругательство над нею.

Наталка в «Могиле льва» — образ более сложный. Полюбил Наталку Машека, быть бы вскорости их свадьбе, да погнал Машека вниз по Днепру плоты. А Наталку возьми да и смани проезжий пан — увез как жену с собою. И вот их карету в лесу на большой дороге перенимает разбойник

Машека. Пана он тут же убивает, а Наталку силой тащит в свою берлогу. Там натешился вдоволь, уснул. Наталка же... Наталка вонзает в сердце Машеки его же разбойничий нож. И вовсе не на измене героини акцентирует внимание Купала — на справедливом суде, который волей судьбы вершит Наталка. Машека в поэме осужден на смерть за то, что он противопоставил себя другим людям, громаде, что превыше всего посчитал свою личную обиду, что сделался разбойником, а не народным заступником.

В 1913 году Купале не терпелось призвать своего читателя к непокорности разного рода притеснителям, и он по мотивам народной песни написал «Бондаровну». Поэт пришел к ясному осознанию, что

*Пора настала — будем сами
Искать разгадку наших бед.*

И, работая над поэмой «Могила льва», он упорно искал эту разгадку и нашел ее в эгоизме, отщепенстве, противопоставлении себя, единицы, хотя бы и сильной, народу.

А вот вроде бы и специально по заказу Юрки Верещаки, поэтизация красоты — «песня земли и жизни», преднамеренная идеализация деревни с ее бытом, циклом сельскохозяйственных работ; воспевание любви, гармонии отношений между Ним и Ею; любование их жизнью в согласном, усердном труде на скрижалях бытия. Быт как бытие! Труд как красота! Любовь как красота! Знали бы эстеты из «Нашей нивы», какой поистине европейской меркой будут мерить потом эту поэму. Александр Фадеев, например, скажет: «Она и я» — поэма исключительного своеобразия, земная, языческая и в то же время по-белорусски тихая, акварельная и опять, и опять мужицкая».

Эта мужицкая поэма была в традициях «Трудов и дней» Гесиода, «Германа и Доротеи» Гёте. Пастораль — но без пастушков. Эльдорадо, в котором сама поэзия крестьянского труда. Деревня, а не линиялая Дурновка. Проклиная «лишь минуту смерти и над холмами вечные кресты», герои поэмы в остальном — оба — в восторге перед всем сущим: «Огромный мир! Не охватить простора взглядом...»; «Пашите, люди, сейте и за нивой досматривайте. Мы вам обещаем: весь труд ваш волею судьбы счастливой вернется в дом ваш буйным урожаем...»; «Пришли сюда и поразились красоте...»; «Со светом солнечным смешались мы, с травой...»

Поэма «Она и я» была преимущественно поэтизацией желаемого. Это

видение Купалы, его золотой сон. Поэт так мечтал, так жаждал видеть Ее своею, что ему казалось: Она — его. С кем он только Ее не сравнивал — в душе, разумеется, отдавая свои слова герою поэмы. С Ней обычный сад был «раем на земле», в котором он — Адам, Она — Ева. Называл же он Ее хозяйкой, а будто по-библейски торжественно: «моя палея», и по-крестьянски просто: «моя» («Моя не выгнала корову»). Она была для него и «сердцем-ткахой», и «милой», и «сестрицей», и «голубкой бескрылой», и «сиротиной»...

Купала любил, Купала носил в своем сердце величайшее чувство, как всегда, молчаливый, сосредоточенный, погруженный в раздумья.

А лето продолжалось, третье окоповское лето Купалы, который, выломав лещиновую палку, шел обычно либо в сторону Хоруженцев или Карпиловки, либо вообще в грибные свои чащи — на все четыре стороны от окоповского хутора.

Был уже август. Отхлопотали с серпами согбенные жнеи-наймички, и теперь, надев солнечно-рыжие шапки, молчаливо стояли бабки-десятки. Тишину эту нарушало только шорканье стерни под ногами, когда через первое, второе и третье поле из перелеска в перелесок переходил Купала. Выходя из хутора чаще всего наугад, он затем почти всегда сворачивал по направлению к Хоруженцам. И вовсе не потому, что в той стороне были высокие белые березники, перемежающиеся подвесками — группками зеленых щетинистых елок, под которые в то лето охотно зашивались белобрывые боровики. Купала в березниках долго не задерживался, он любил бор, а тот едва ли не под самыми Хоруженцами — старый, многошумный бор, с золотобокими высоченными соснами, с купчастым зеленым мхом и серым мшаником, с дурманным — по низинам — багульником, с лиловатым возле гарева вереском. В молодняках похрустывал под ногами сухой лапничек. Тут было душновато от солнца, смолы, запах которой держался все лето. В старом бору грибов не было, но были густые заросли папоротника. Папоротник поэт любил, но рвать не рвал, как ягодицы на Купалье, обвязывая им кувшинчики с земляникой. Не рвал, потому что знал: порежешь руки. А что ему больше нравилось — вдруг увидеть на зеленом коврике мха крупный и лобастый белый гриб или же высматривать и выковыривать из серой хвои темно-коричневые боровички, Купала и не задумывался. Он просто любил этот многоликий лес — любил, как любят его все белорусы.

Но когда поэт направлялся в сторону Хоруженцев, ему казалось, что идет он поближе не только к любимому бору — поближе к Ней. Сюда, правда, ближе к Вильно не было — напротив, даже дальше, но Купала не

мог отделаться от чувства, что ближе. Ближе в эту сторону было к Малым Бесядам, к усадьбе Чеховичей, к темпераментной сестре Викентия Станкевича Владке...

Август 1913 года был у Купалы просто веселым. Веселым, и все. 31 июля он закончил водевиль «Примаки», где смеха не только на месяц хватало; там его до конца дней с лихвой. И повезло же Купале — совладал с таким сюжетом. А это все они, хоруженцы, способные на всяческие проделки. Тут самому и не додуматься: подвыпив, и понятное дело, изрядно, мужики затевают спор, чья жена хуже, и, чтоб удостовериться, меняются своими благоверными. При этом еще выставили друг другу в знак благодарности по лишней четвертинке. Просыпаются они назавтра каждый в чужой хате — и пошло-поехало: стыд, покаяние, веселые перипетии. Домицеля решает: утоплюсь, да раздумывает — вода холодная; Максим Кутас тоже видит один выход — повеситься, да сомнение мешает: а вдруг еще ремень порвется? И кричит Кутас в отчаянии: «Лучше б меня мать дитем, в корыте купая, утопила, чем дожить до такого стыда!» А тут еще дети вмешиваются: «А я у мамки и дядьки спрашиваю, почему теперь у меня два отца?» И выяснение всех этих «почему» идет весело, остроумно, с песнями, с танцами, заканчиваясь свадьбой сына и дочки несчастных мужиков, отважившихся на рискованное пари, чья жена хуже.

Веселым, радостным был август у Купалы потому, что именно в этом месяце, 15-го, его пригласили в Радошковичи — там впервые ставили «Павлинку». Спектакль удался, но этот вечер Купале запомнился еще и тем, что на представлении он встретился с Власовым. Александр Никитович был, как всегда, в настроении, хоть то, что он сообщил Купале, не должно, казалось, быть и ему по душе.

— Пане мой, — гудел он басом, — так я действительно думаю переезжать на работу в Минск, что?

Купала не знал, как оценить эту неожиданную для него новость. А Власов, посверкивая своим чуть косящим глазом и подкручивая торчащие усики, пояснял:

— Минск, он все-таки ближе к моему хутору под Радошковичами, да и Лапкевичи надоели — хватит мною прикрываться, что?

Купала понимал, что это еще один из кризисных моментов в «Нашей ниве», что в конфликте, по всей вероятности, замешан и Ласовский. Пусть и раньше в редакции никогда не было единства, но Власов стал уже фигурой — признанной, известной. В его лице «Наша нива» теряла не только редактора-издателя, но и публициста, писавшего и остро, и без

перегибов, хоть в борьбе с черносотенцами — Солоневичем, Ковалюком — легко было и палку перегнуть. А чем это грозило газете, Купала тоже понимал. Но Власов и сам промахов не делал, и Лапкевичам внушал свою точку зрения последовательно, и Ласовского сдерживал. Купала не мог не переживать за дела «Нашей нивы». Появление на ее страницах «Выплачивайте долг» свидетельствовало о том, что верховодить в газете стал чуть ли не Ласовский. С Лапкевичами поэт еще мог идти на какой-то временный компромисс, с Ласовским — и по личным причинам, и по идейно-творческим — нет. Купала не принимал ни его эстетства, ни идеализации, мифологизации им истории в книге «История Белоруссии». Путь «Нашей нивы» не путь Ласовского, но уйдет из газеты рассудительный Александр Никитович, что же будет?..

Нет, не сплошь веселым был август у Купалы...

Это была первая и последняя драма, которую он напишет, — драма мужика, лишенного земли, драма его народа, раскрестьяненного, обезземеленного. Символика драмы уже давно им продумана: свежавытесанный крест сын несет на могилу отца, крест его жизни, судьбы взвалив на свои плечи; топор, которым сын вытесывает крест, должен быть поднят им на пана; торбочки, которые мать будет готовить своим детям, — обездоленность народа; скрипка, которую будет мастерить меньшей из детей, — талантливость народа; а пана он сделает молочным сыном матери-крестьянки — паны вскормлены народом! Драмму он задумал революционной — о путях крестьянства в революцию, которую будет символизировать Великий Сход. «На Великий Сход — по Батьковщину», против Смока-царя позовет Незнакомец — такой же человек идеи, как и он сам, Купала. На этот призыв Незнакомца откликнутся, решительно пойдут в финале драмы молодые ее герои — Зоська и Сымон. Сымон, подпалив панский дворец, — с головней в руке. Именно огонь как испепеляющую старь мир силу, именно топор, поднятый крестьянством на панов-помещиков, благословит Купала, отвергнув философию Зоськи, хотевшей поначалу «добра добром добиваться». Ничего Зоська не добьется своим стремлением примирить непримиримых Сымона и Пана, которого она полюбила и который, обесчестив, бросает ее. Это будет не только революционная, романтическая, но и философская драма. В пьесе крестьяне — они и философы. Одна философия у старшего поколения героев — патриархальная; совсем иная — у молодых. Старшие считают, что нужно жить как набежит; они — само христианское смирение, полны веры в царя, в его законы, в то, что правду найти можно, да морали

преступить нельзя, ибо она от века одна. Но как же найти правду, не преступив норм старой морали, навязанной народу эксплуататорами? Молодые герои начнут понимать это и отринут патриархальное, христианское смирение, станут творцами истории. Драмой своей Купала благославит их поход в будущее, в революцию, «на Великий Сход — по Батьковщину»...

«Разоренное гнездо» поэт закончил 4 сентября 1913 года. Перечитывать драму начал, как всегда, не без волнения: получилось ли и как? Много своего, личного, вложил он уже в авторскую характеристику действующих лиц. Зоська: «Любит ясноту и цветы. Душа впечатлительная, неразгаданная. Не может примирить окружающей, будничной и тревожной жизни со своими думами-снами». Незнакомец: «...Человек идеи, в которую верит сам и хочет, чтобы весь мир ею наполнился». Сымон: «Гордый и отважный... Когда идет с головней в поднятой руке и произносит последние слова: «По Батьковщину!», кажется, богатырь-великан встал с земли, чтобы весь мир сотрясти». Все это он, Купала. Он! Единственное — не мог поэт представить себя богатырем, сотрясающим весь мир, не мог так и думать о себе, видя в зеркале шкафа свою худощавую фигуру, простуженный еще с первых дождей, на которые столь щедрым было лето 1913 года.

Остановил Купалу при перечитывании драмы и диалог матери Марыли и Сымона.

«Марыля. Ничего, сынок! Это пройдет, это просто печаль великая в тебе говорит... Расцветут цветы и у тебя в душе и в сердце, светлые цветы покоя и печали пресвятой. Станешь дальше жить и искать счастья на свете».

Сымон отвечал:

«Цветы! Счастье! Поганые ноги растопчут цветы на могиле отца, как и самого его в землю втоптали. А счастье... Как глубоко я запрятал его в себе, а то ведь истребят, беспощадно истребят! Нечистыми руками будут копаться в душе, пока не вырвут из нее этого счастья и не швырнут его под ноги и не растопчут».

Права была мать Марыля: Купала и дальше будет жить, и дальше будет искать счастья на свете; прав был и Сымон: нечистые руки еще не раз будут копаться в душе Купалы...

Глава седьмая

В «ЗЕЛЁНОМ ШТРАЛЕ»

В межреволюционное десятилетие нашего века Вильно стало главным средоточием белорусского литературно-общественного движения. Одновременно и в такой же степени это был и центр литовского литературно-общественного движения, и значительный традиционный центр польской культуры на «кресах восточных». Каждое из этих движений характеризовалось неоднородностью, каждое по-своему развивалось: польское уже имело укоренившиеся традиции, белорусское — при всей своей оживленности — уступало по интенсивности литовскому. Но противоречивость и пестрота литературно-общественной жизни Вильно начала XX столетия отнюдь не мешали солидаризоваться передовым деятелям трех культур; многие из них подружились на всю жизнь.

Купала в эти годы близко сошелся с поэтом Людасом Гирой, художником Чюрлёнисом, композитором Стасисом Шимкусом. С Чюрлёнисом они какое-то время жили поблизости, с Людасом Гирой — на одной, Виленской, улице. Купала с Гирой даже крестили новорожденную Стасюте — вторую дочь Марии Пеледы. Католическая вера позволяет брать в крестные двух отцов и двух матерей. Так вот, два народных поэта — белорусский и литовский — стояли у купели столь дорогой сердцу Марии меньшей дочери.

В Вильно десятых годов были также значительные силы русской литературы и журналистики, с лучшими представителями которой Купалу связывала крепкая дружба — как, например, с сотрудником виленской «Вечерней газеты» Андреевым. И, это тоже факт красноречивый, своих литературных гостей Вильно принимало общими силами: все — русские, белорусы, литовцы, поляки — встречали в августе 1914 года Валерия Брюсова, как до этого, в конце 1913 года, Константина Бальмонта. Брюсова принимали сначала в помещении литовского клуба «Рута», а затем отдельную встречу с ним организовали редакции «Нашей нивы» и «Вечерней газеты». Брюсов посетил и магазин белорусской книги, саму редакцию «Нашей нивы», которую тогда уже возглавлял Купала.

А вообще не так уж много было в Вильно литераторов-белорусов, и не так уж много было мест, где молодые люди (а белорусские литераторы были тогда все молодыми) собирались на литературные вечера или просто

на вечерки и проводили время за общей беседой. Но собирались, и не только одни литераторы: эти вечерки привлекали многих энтузиастов — кого самодеятельностью, кого общественной работой. Из известных в то время литераторов тут жили Тётка, Ядвига Ш., Змитрок Бедуля. В общественно-политической и литературной жизни Вильно участвовали, однако на виду не были, братья Антон и Иван Лапкевичи. До сих пор не имел заметного признания Вацлав Ласовский, хоть ко второму приезду в Вильно Купали он уже стал силой, и силой активной. Из вовлеченной в политическое движение молодежи особенно выделялся Алесь Бурбис^[27]. Внушительной была самодеятельность при «Белорусской хатке», а после — при Белорусском клубе на Виленской улице, 29. Владка Станкевичанка танцевала в группе Игната Буйницкого^[28], Павлина Меделка, возвратившаяся сюда из Петербурга весной 1913 года, продолжала выступать как драматическая артистка.

Каким он был, Белорусский клуб на Виленской, 29, весной 1914 года, рассказал Максим Горецкий: «Там были небольшие концертики... а после — танцы и разные игры. Ходили туда в основном ученики из учительского института и химико-технологического училища, разная служащая молодежь, девчата — дочки мелких служащих и рабочих, а также девчата из деревни, но работающие в городе — кто домашней прислугою, кто прачкою, кто кем.

Танцевали вальсы и мазурки, польки и краковяки, и обязательно — «Лявонику», «Юрочку», «Метелицу». И все называли друг друга на «ты», даже вовсе еще незнакомые, — так было заведено на белорусский народный лад. Ну — и дешевый буфет, и плата за вход всего 10–15 копеек».

Картинка ежедневной работы клуба — работы демократичной в среде очень демократичной. Проводились тут и встречи с поэтами — всегда праздничные, запоминающиеся. Выходом же из Белорусского клуба на все Вильно — усилиями самого клуба и виленского Белорусского музыкально-драматического кружка — становились мероприятия наподобие празднования Купалья в 1912 году. На литературные же посиделки собирались и на частных квартирах, и прежде всего у Тётки и В. И. Самойло. Но излюбленным местом каждодневных встреч самих белорусских литераторов было все же кафе «Зеленый Штраль» — потому и действие этой главы будет разворачиваться в основном в «Зеленом Штрале»...

Не с тем настроением, не с теми мечтами, что в первый раз, ехал теперь на свое постоянное жительство в Вильно Янка Купала. Тут его

ждала должность секретаря Белорусского издательства, работа в «Нашей ниве» — насчет последней у него теперь не было никаких иллюзий, оставались лишь настороженность, озабоченность и беспокойство, вызванные чувством ответственности за все, что и как он будет делать. Зрелость — полная, в полном расцвете талант. Он это сам чувствовал после своего третьего лета в Окопах, после написанного там. Вровень с написанным должна теперь стать и его общественная работа. С прежним покончено — баста! Ни шагу в сторону веселых компаний, богемщины! Не те лета. Он мог себе еще позволить это, будучи студентом, в Петербурге, отныне же только работа, дело. Внутренняя, душевная перестройка поэта наложила свой отпечаток и на его внешний облик. В Вильно, в новую жизнь он приехал незнакомым знакомцем. И самые наблюдательные не преминули это сразу же отметить — а ими оказались, разумеется, девчата. Та же Павлина Меделка вспоминает: «Янка Купала сильно изменился с того времени, как приехал в Вильно... помрачнел, похудел, ни разу не видела его теперь таким озорным, веселым, как в доме профессора Эпимах-Шинилло». Это объясняется просто: ему теперь вечно будет не хватать времени («Времени очень мало», — писал он в Петербург А. А. Коринфскому 15 апреля 1914 года); обострится и еще одно чувство: «Молодость уходит, а сделано так мало, так мало» (из письма к тому же А. А. Коринфскому от 16 марта 1914 года). Сильно сказывалось на его настроении и то, что жизнь постоянно давала гораздо больше грустных уроков, нежели веселых: «В прошлом нет ничего радостного и светлого, — писал Купала Коринфскому, — будущее тоже в мрачных красках рисуется. Вот и живи тут!»

Но поэт жил — и весьма напряженно, интенсивно, будучи по горло загруженным работой, с сознанием важности этой работы. Он ставил ее превыше всего на свете, и это видно из письма к Б. И. Эпимах-Шипилло от 28 сентября 1914 года.

Письма Купала писать не любил. Но работа секретаря издательства вынуждала его делать это. И он писал; Б. И. Тарашкевичу — поторапливая того с составлением «Белорусской грамматики» — в «назидание» молодому белорусскому поколению»; Гальяшу Левчику в Варшаву — в связи с подготовкой к переизданию кириллицею его первого поэтического сборника «Чижик белорусский»; Констанции Буйло в Вишнево на Воложинщине, ей, шестнадцатилетней, открывая в ней талант поэтессы, редактируя ее сборник «Курганный цветок», беспокоясь даже за бумагу, на которой предполагалось напечатать этот сборник («...сделал — как умел. Бумага плохая, но лучшей достать сейчас не могли»). Заботы секретаря

издательства были, можно сказать, приятными. Иной была работа в «Нашей ниве».

Летом 1913 года редакция «Нашей нивы» переехала по новому адресу: с Завальной, 7 на Виленскую, 29. И типография Мартина Кухты, в которой печаталась газета, переехала с Дворцовой, 4 на Татарскую, 20. Ходить в типографию стало ближе, но перемена адреса редакции никаких перемен в работе самой редакции не вызвала. По-прежнему газета адресовалась к широкому крестьянскому массам и народной интеллигенции, и по-прежнему ее запрещалось выписывать чиновникам, учителям, семинаристам, писарям, священнослужителям, по-прежнему она отбивалась от черносотенных «Съверо-Западной жизни» и «Крестьянина», официозного «Виленского Вестника», националистических «Kurjera Zitewskiego» и «Gazety codziennej». Материальное положение газеты было тяжелым. Отношения между людьми, которые вокруг нее группировались, продолжали оставаться сложными.

Статья Юрки Верещаки «Выплачивайте долг» попала на страницы «Нашей нивы», конечно же, не без ведома Антона Лапкевича. Наяву была некая солидаризация обоих — продолжение того, что разъединяло Купалу с Лапкевичами в 1908–1909 годах. Купала это понимал и в новый свой приезд вел себя иначе. Его уже нельзя было обвинить в лентяйстве, в необдуманных поступках. Купала вообще чувствовал себя ровней Лапкевичам в том смысле, что теперь и у него были свои университеты: Петербург его возвысил. И жаждал он лишь одного — работать. У него оставалась только песня и работа. Любовь?.. Петербургские встречи с Меделкой ему помнились, с ее образом он жил все свое третье лето в Окопах. Но вместе с тем. Купала боялся новой встречи с нею, боялся рокового разлада между идеальным и реальным, между мечтой и явью. Боялся настолько, что соглашался на гордое одиночество, все чаще приходя к мысли, что его судьба — быть сиротиной.

Лапкевичи, чувствовал Купала, в отношении к нему по-прежнему недораскрыты — обхождение любезное, общение как будто дружеское, но за всем за этим оставалось что-то недоговоренное, что-то такое, что выскальзывало из рук, как змея. Вот, например, две недели тому назад они благословили в газете материал «Действительно ли мы никогда не будем иметь своего Мицкевича, Пушкина, Сенкевича, Толстого?», в котором провозглашалось, что «хвалиться можем Янкой Купалой, Якубом Коласом и другими». А сегодня Купала захватил в «Зеленый Штраль» газету с рецензией самого редактора, пана Антония, на сборник М. Богдановича «Венок» и замечает переключение на совсем иной регистр,

переориентацию — и весьма отчетливую — с оглядкой на «Выплачивайте долг». Но как это хитро и тонко сделано! Пан Антоний как бы напрочь забыл, что совсем по-другому толковал стихи Богдановича раньше. Теперь он вдруг обнаруживает в них поиск и выявление «чистой красоты»: «Леший раскачивается на тонкоствольных соснах, и кажется, будто слышно его игранье... В серебряных лучах месяца купаются русалки и расплетают свои косы; на дне реки — в тине, в вечной тишине — спит седоусый, сгорбленный водяной...» Перед этим же шла преамбула: «Богданович — сознательный поэт: он не только чувствует красоту — он ее понимает». А не эту ли красоту, пан Антоний, вы с Ядвигиным Ш. объявляли декадентщиной и списывали в архив? На все 180 градусов поворот! Декадентщина и вдруг — «настоящее», «чистое искусство». А у кого ненастоящее? У Купалы, у Коласа?!

Хотя не-ет, пан Антоний так прямо, в лоб, не скажет. Он, видите ли, вообще отказывается сравнивать Богдановича с кем-либо из других поэтов: «Не потому, что нет лучше него поэтов (ибо таковые есть!), а потому, что Богданович ни на кого не похож. Его душа замкнута в себе, живет в каком-то ином, особенном мире — в мире чистой красоты и искренней поэзии...»

— Ну, той как раз красоты, — восклицает Купала, — долги которой требовал выплачивать Верещака!

Купала отхлебывает кофе из чашечки, поглядывает на Павлину Меделку, думает: «Зачем, однако, пану Антонию нужно это противопоставление Богдановича и «лучших, чем он, поэтов»?.. Что бы это значило?..» До конца ответить себе Купала не может, но он чувствует: вокруг него продолжают плести паутину, его хотят поставить в зависимость, ему хотят показать, что не он главный, а они, что их привилегия — миловать или нет; не помилуют — и ты уже не лучший! Одним словом, Купале не могут простить его независимого положения, его гордости. И еще: своим тонко интеллигентским нюхом они уловили в поэте целеустремленность, желание взять дело белорусского возрождения в свои руки, на свои плечи...

Купала и в самом деле был не прочь возглавить «Нашу ниву». Сегодня трудно раскрыть все те причины, по которым братья Лапкевичи пошли на это, но так или иначе с 7 апреля 1914 года Купала значился уже редактором «Нашей нивы», Александр Власов — издателем, а с 16 мая 1914 года Купала вообще редактор-издатель «Нашей нивы». Авторитет Купалы работал на Купалу. Может, Лапкевичи и не хотели отдавать «Нашу ниву» в руки поэта, но все к тому шло. Братья, правда, не сомневались, что газета будет и их трибуной, ибо хозяевами ее оставались они, оплачивали расходы

по ее изданию они. Да и с кем же Купале делать газету, как не с ними: Антон Лапкевич и Ласовский были опытными журналистами и понимали это.

Изменить сразу же, резко направление «Нашей нивы», ее пафос поэт, понятно, не мог. Идея же, приведшая его в газету, была далека от меркантильных расчетов или других корыстных побуждений. Она проистекала из стремления очистить «Нашу ниву» от всего наносного, спекулятивного. Иначе, как бескорыстным и честным, поэт и не представлял себе служение великому делу национального возрождения. Антону Лапкевичу была, конечно, известна общественная позиция Купалы, и он дипломатично-тонко, адресуясь вроде к мужику-читателю, во втором же номере, подписанном Купалой как редактором, обращался, по сути, к самому Купале, призывая его быть «шире» тех убеждений, которых он придерживается. Статья называлась «Путеводная идея». Антон Лапкевич в ней писал: «В программе нашего национального возрождения национальное освобождение белорусов с самого начала совпадало с освобождением социально-экономическим». Правильно! Совпадало! И прежде всего благодаря Купале, его первому сборнику «Жалейка»! Потому и на самом деле «белорусское движение сразу же стало движением демократическим», и — можно сказать словами Антона Лапкевича — «оно охватывало всю жизнь трудового белорусского народа — во всех ее проявлениях». «Всю жизнь» пан Антоний давал курсивом, и в том был свой особый смысл: «вся жизнь» — это, по его логике, все, кто работал на ниве народной: «то ли занимался просвещением, то ли расширял политическое и национальное сознание, то ли издавал книги и газеты, то ли стихи писал, то ли, наконец, учил братьев своих, как лучше вести хозяйство, как общим трудом противостоять всяческим ежедневным бедам. Все они знали, — заключал пан Антоний, — что работают ради одного, равно для всех дорогого и великого дела — ради всестороннего возрождения своего народа». Все аспекты «нашенивской» работы — от общественно-культурной до культурно-хозяйственной — охватывала возрожденческая формула Антона Лапкевича и, главное, все... уравнивала. И в этом была как раз тенденция: уравнивать свою работу — организационно-политическую — с работой тех, кто «стихи писал». Даже не уравнивать: деятельность в сфере просвещения он ставил на первое место, расширение же политического и национального сознания — на второе (неудобно ведь вылезать со своей работой вперед — не по-интеллигентски!). А кто же это, кто «стихи писал»? Известно, ты, Купала, и вон твое место — четвертое, пятое!.. А! Не суй носа не в свое просо, знай, кто тут первый!..

«Нажимать» на Купалу-редактора Антон Лапкевич не переставал и в дальнейшем. Уже спустя неделю, опять же обращаясь вроде бы ко всему народу, а на самом деле имея в виду прежде всего Купалу, пан Антоний Лапкевич поместил в «Нашей ниве» передовую статью «Важные дела», где писал, что «нужно, чтобы народ внимательно прислушивался к политической жизни России, чтоб хорошо разобрался, кто идет вместе с ним, кто — против него». Антон Лапкевич ставил «политическую жизнь, организованную жизнь огромной громады людской». Купала настороженно относился к политиканству, как он сам потом сказал, старался не вмешиваться в политику. Но в Вильно 1914 года чурание политики вообще, недооценка ее Купалой тогда же во многом обусловили и одну из глубочайших драм поэта, которую в конце 1914-го — начале 1915-го ему пришлось пережить.

Взглянем, однако, на новый приезд Купалы в Вильно и с другой стороны: глазами тех, кто его тут ждал, встречал. Попробуем также, насколько это возможно, увидеть Купалу в Вильно на людях — Купалу как бы вне его забот, вне служебных перипетий и душевных переживаний. Ибо не всегда же Купалу одолевало мрачное настроение, не все же время затемняла его чело хмурая озабоченность. И первое слово тут Владиславе Францевне Станкевич. Ко времени второго приезда Купалы в Вильно ей было двадцать два года, и вот характеристика, данная Станкевичанке Меделкой: «Среди всей нашей молодежи она выделялась своими исключительными организаторскими способностями. Не было ни одного мероприятия, в котором она не принимала бы самого активного участия: будь то организация народного праздника Купалья или спектакля, будь то дружеская застольная вечеринка, распространение билетов или сбор средств на издания — она в числе первых. Взявшая от матери-француженки свою горячую, непоседливую натуру, всегда энергичная, подвижная, как живое серебро, любящая шутку, веселая, экспансивная, Владка была душой нашей молодой громады. Каждую радость или неудачу в нашей общей или в своей личной жизни она сильно переживала». Радостью, конечно же, был для белорусской молодежи приезд в Вильно Купалы, о чем и вспоминала спустя годы Владислава Францевна: «Приезд Я. Купалы... взволновал всю белорусскую общественность... Он пользовался симпатией всех нас. Особенно его любила молодежь. Приезда его мы ждали, как праздника... Приезд Я. Купалы в Вильно влил новые творческие силы в белорусскую жизнь».

Особое же внимание продолжала уделять Купале Тётка, которая с 1911

года жила в Вильно. Дружба Купалы с Тёткой — это вообще большая и очень светлая страница жизни Янки Купалы. Тётка не происходила, как Я. Купала, Я. Колас, из народных низов. Она была, как говорили в XIX веке, «с того берега». Привилегии шляхетского рода могли бы стать ее привилегиями, сытая, спокойная жизнь — ее жизнью. И тогда б на белорусской земле было бы больше на одну пани и меньше на одну Тётку.

«Тётка» — партийный псевдоним Алоизы Пашкевич. Еще в конце 1903 года в Петербурге она вместе с Лапкевичами была в числе основателей Белорусской революционной громады, преобразованной затем в Белорусскую социалистическую громаду (БСГ). Тётка была непосредственной участницей революционных битв 1905–1907 годов, автором революционных прокламаций, агитатором. Политика — это все, песня — проводник политики! Вот ее кредо — осознанное, твердое. И вместе с тем Тётка оставалась чрезвычайно чувствительной, экзальтированной. Она могла упасть на колени перед талантом, как верующий перед иконой. Как-то в Риме, на площади перед Колизеем, она увидела бедолагу в лохмотьях — художника, рисующего древние руины. Художник оказался земляком, белорусом, и расчувствованная Тётка вмиг опустошила и свой кошелек и кошелек подруги, дабы материально поддержать художника. А ведь это были деньги на дорогу домой — во Львов, в Австро-Венгрию, деньги, которые Тётка с превеликим трудом выхлопотала в русском посольстве в Риме. Но что деньги, что билеты, если рядом — талант! И таланту отдано все — до последней копейки. Это была Тётка! Домой во Львов пришлось возвращаться «зайцем».

Необыкновенного человека Купала почувствовал в ней заочно — по стихам, по сборнику «Скрипка белорусская». Он посвятил ей стихотворение — «Автору «Скрипки белорусской». Он посылал ей из Петербурга во Львов почти все свои новые стихи, и она, знакомя львовскую интеллигенцию с белорусской литературой, всегда отводила видное место Купале. Тётка, вспоминала Владислава Францевна, с какой-то сердечной теплотой и чуткостью относилась к поэту, каждое его новое стихотворение воспринимала как большое событие. Она не раз говорила своим друзьям: «Не знаю, почему я так люблю этого Купалку». Когда же поэт возвратился из Петербурга в Вильно, они подружились еще крепче. О силе и необыкновенности чувств, которые Тётка питала к Купале, читаем и у Меделки: «Тётка особенно любила своего «Купалку», как ласково называла она Янку... На вечерах в «Белорусской хатке»... всегда была веселой, шутила, но танцевала редко, и то лишь с Купалой и лишь одну полы-ку, потому что других танцев Янка не умел танцевать и учиться не хотел».

...Было это в одно из посещений музея Купалы минскими студентами. Владислава Францевна любезно согласилась сама провести группу по музею. И в том зале, где глядит со своего известного фото Тётка — в белорусском народном костюме, с венчиком на голове, — Владислава Францевна пошутила:

— А вот и Тётка, которая на свою беду познакомила меня с Купалой.

Тётка со свойственной ей чувствительностью любила в Купале Поэта, Талант!.. И она сама казалась поэту необыкновенной, загадочной, напоминающей молнию. «Осколок молнии» — так назвал ее Купала в разговоре с молодым еще тогда поэтом Максимом Лужаниным.

Лесное виленское предместье Зверинец. Тут со своим мужем Степанасом Кайрисом жила Тётка. Возвратиться официально из-за рубежа ей — политической эмигрантке — помогла смена фамилии. «Не совсем это обычная пара была, — вспоминала Меделка. — Говорили, что брак их поначалу был только фиктивным, на манер Софьи Ковалевской». У Меделки даже «сложилось впечатление, что Тётка является скорее квартиранткой, нежели хозяйкой в своем доме. Она занимала отдельную комнату, весьма простенько обставленную. На столе, на полках — множество книг. Принимала она только в этой комнате, сюда приносила нам и угощение, никогда не приглашала в другие комнаты квартиры». И лишь однажды, когда Меделка случайно столкнулась в коридоре с Кайрисом, Тётка их познакомила. Меделке казалось, что «Тётка с мужем жили каждый своей отдельной жизнью, не вмешиваясь в дела друг друга». То же, вполне возможно, могло казаться и Купале, который бывал тут, сидел в этой «весьма простенько обставленной комнате» Тётки и также, вполне возможно, не был ни разу приглашен в другие — загадочные — комнаты дома в лесном виленском предместье Зверинец.

Конечно, часто бывать здесь Купале не приходилось: почти все время забирала у него газета. «...Было работы масса, — вспоминал потом сам Купала. — Штат редакции состоял из меня и Бедули. В наши обязанности входило написать номер, прокорректировать и выпустить в свет. Конечно, материалы поступали и со стороны. Вспомнить все эпизоды за время моей работы в «Нашей ниве» я не в силах по той простой причине, что это заняло бы целый том воспоминаний». В большинстве своем невеселых, добавим мы. Не мы ведь обещали написать про улыбку Купалы — редактора «Нашей нивы». Целого тома улыбок, понятное дело, не будет, но давайте зайдём в редакцию «Нашей нивы» вместе с Констанцией Буйло. Она видит: «В редакции за столом сидит Купала и просматривает рукописи. Бедуля (невысокого роста, с огненно-рыжим столбом кучерявых волос на

голове, с глазами большими, смешливыми — заметно навывкате и пухлыми добродушными губами) читает отрывок из своих импрессий. «Не беги за голубым цветком, растущим на трясине...» — волнуясь, декламирует Змитрок. Я — само внимание. Красивые грустные образы, исключительно поэтический язык, мастерская читка Бедули взволновали меня до слез. Я горячо жму ему руку и восторженно спрашиваю: «Слушай, Змитрок, что ты чувствовал, когда писал эти прекрасные этюды?» Но чуткая душа Бедули уже спрятала свои рожки в скорлупку, и он игриво отвечает: «А у меня тогда живот болел!» Это ошеломляет меня. Янка смеется — от всего сердца...» Вот вам и первая улыбка Купалы, обещанная нами! Смеется Купала над Буйлянкой, а Бедуля тут же садится писать ей посвящение на титульном листе своих «Этюдov». Молодой Бедуля молодой Буйлянке при молодом Купале, известно же, подписывал книгу шутливо, в духе той притчи, которую, вспоминая посещение «Нашей нивы», тоже сохранила для нас К. Буйло.

Бедуля тогда фантазировал: «Задумал бог создать белорусских писателей Буйло и Бедулю. Взял он горстку земли, немножко крови звериной, пасменку солнечных лучей и часть своего великого духа. Однако, ослабев умом от старости, бог не смешал всей этой субстанции, и создал Буйло только из лучей солнца и своего великого духа, а Бедулю — только из земли и крови звериной. Поглядел бог на сии игрушки и почухал потылицу. «То густо, то пусто», — бормотал он, недовольный, и не знал, что делать. Он со злостью толкнул Буйло. Та, будучи очень легкой, отлетела в сторону, замахала руками и замолочила языком. Такова она и по сей день. Толкнул бог и Бедулю, да так, что у того аж глаза полезли на лоб и от обиды губы надулись. Таким он и остался навсегда. Позвал тогда бог ангелов на совет: «Что делать с этими неудачными созданиями?» — «Нужно их поженить, — советовали ангелы, — тогда все перемешается и хорошо будет...» Улыбался Купала, слушая это. Они, Купала и Бедуля, — солидные сотрудники солидной газеты, и они ж, Купала и Бедуля, — оба неженатые хлопцы, могли вот так озорно шутить — особенно перед молоденькими красивыми девчатами...

6 июня 1914 года вышел третий номер «Нашей нивы», подписанный Яйкой Купалой как редактором-издателем. Номер вызвал весьма резкую реакцию противников. Официальный «Виленский вестник» заявил, что при новом редакторе газета взяла «новый курс». В черносотенной же «Съверо-Западной жизни» ее редактор Солоневич дошел даже до брани. Он писал буквально вот что: «Читая эту галиматью, никак не разберешься, о чем,

собственно, речь, каких новых богов выдумал «редактар-выдавец І. Луцэвіч»... Что вы скажете на это, читатель? Разве не просится на уста ваши нецензурное ругательство?» Таковы уж были нравы черносотенной вольницы, что она, будучи не в силах взять логикой, переходила обычно на ругань!

А ведь, собственно, никаких новых богов редактор-издатель И. Луцевич не выдумывал. И «новый курс» для Купалы не был новым, как и для «Нашей нивы», среди художественных материалов которой центральное место всегда занимало написанное Янкой Купалой. Это был все тот же курс «милования своего родного слова, своей единой батьковщины Беларуси». Ну а Солоневич, какие такие «новые» боги вызвали у него дикую ярость? В передовой статье Купалы — первой публицистической, в которой он лично брал под защиту право народа на свой язык, на свободное будущее, — в этой статье только-то и говорилось, что все «старое, иструхляевшее, отжившее свой век уходит прочь, в небытие, а новое, светлое, радостное занимает свое почетное место и ведет народы и отдельных людей к доброму, вечному. Старые боги идут на слом, в архив, а новые воцаряются в сердца человеческие. Так было от сотворения мира, так оно и по сей день». Солоневич признавал лишь старых богов, и все, что утверждал Купала, было для него «галиматьей». «На слом, в архив» шел черносотенец Солоневич, и он весьма резонно воспринял по своему адресу соответствующие строки. Но кто и когда приветствовал свою осужденность историей «на слом, в архив»? И Солоневич бранился. Купала — через номер — не остался в долгу. Но Купала не ругался. Он единственно слово «господин» перед фамилией Солоневича взял в кавычки и процитировал его пассаж с «галиматьей» и выдумкой про новых богов, назвав его криком и засвидетельствовав, что «крик этот очень искренен и мы ему верим. Совы и летучие мыши солнца не видят». Словом, «господину» Солоневичу отвечал Поэт. И еще язвительный Сатирик, который на вопрос Солоневича, адресованный к читателю как призыв поносить «Нашу ниву» «нецензурными ругательствами», замечал иронически: «Сильно сказано. За слова «поднимает сторонка наша глаза свои к Солнцу» нам угрожают паскудной бранью. Не будь губернаторских постановлений о хулиганстве и цензурного устава, то «нецензурных ругательств» «Съверо-Западная жизнь», как видно, не пожалела бы для своих читателей».

Тут же давал Купала ответ и «Виленскому Вестнику», который «поднял целый гвалт», ухватившись за фразу «отнятый край», которая до сих пор будто бы не встречалась в «Нашей ниве» и которую в редакции

будто бы сейчас «сфабриковали». Кому тут больше перепало на орехи, трудно сказать. Но, пожалуй, особенно был гневен Купала, отвечая Солоневичу. Тот обвинял «Нашу ниву» во вранье. Купала парировал: «А что до «лганья», которое вы вроде бы обнаруживаете в «Нашей ниве», то... оставляем это занятие тем, кому за него хорошо платят, а мы и с бесплатной правдой как-то жили и будем жить. Казенных подачек не искали и искать не собираемся».

Став редактором-издателем, Купала действительно не отказался от сотрудничества с Лапкевичем и Ласовским. Первый продолжал утверждать себя как идеолог, второй — как историк и литературный критик. Имел ли Купала как редактор влияние на них? Контролировал ли определенным образом то, что поступало от них в редакцию? Сразу же после баталии с «Съверо-Западной жизнью» и «Виленским Вестником» в «Нашей ниве» появилась очередная передовая статья Лапкевича с программным названием «Куда идти?». Статья требовала объединения сил под демократическим знаменем, утверждала, что «белорусское национальное движение не должно и не может не быть демократическим». А перед этим курсивом было набрано: *«...Голодного накормить, темного просветить. Нужно, чтобы белорус-горемыка стал свободным человеком»*. Подобных подчеркиваний в текстах Лапкевича до редакторства Купалы не было. Вообще не узнать стало при Купале и Ласовского-критика: он вдруг проявил точное понимание прозы Я. Коласа и М. Горецкого, их места в белорусской литературе, в будущем. Как будто Ласовский не был Верещакой, не эстетствовал, не писал «Выплачивайте долг». Как будто прежде пана Вацлава бес попутал. Откуда подобное перевоплощение? Не под влиянием ли Купалы? Несомненно, ибо чьим же тогда? 28 сентября 1914 года в письме к Б. И. Эпимах-Шипилло Купала признавался: «Всю душу и все силы теперь вкладываю в «Нашу ниву», которую стараюсь поставить — по возможности — на надлежащую высоту». Письмо от 28 сентября вообще следует привести полностью, потому что это одно из самых ярких свидетельств того, как Купале редакторствовалось, как ему теперь все нелегко давалось, круто жилось:

«Многоуважаемый и дороженький паночек!

Обращаюсь к Вам с искренней и покорной просьбой — не откажите мне в ней. Книжная лавка и Товарищество продали за это время «Дорогой жизни» около 700 экземпляров. Из вырученных денег, согласно условиям, мне принадлежит определенный процент. Какую часть из них я могу получить — есть в протоколах Товарищества, сказано. Так вот, дороженький паночек, не откажите, сделайте милость, вышлите на мое имя

сто рублей. Я нахожусь в страшном, критическом положении — хоть вешайся. Получаю тут лишь 30 рублей, их, может, и хватило бы, если бы не чрезвычайные расходы. Купил себе весной гарнитур за 30 р., а после зубы лечил, что обошлось мне в 50 р. Вот потому я вынужден был заложить в ломбард часы и влезть таким образом в частный долг. Срок выкупа уже истекает, и часы^[29] могут пропасть в ломбарде. А тут вдобавок приходит срок платить за квартиру, за которую платит «Наша нива». Но теперь у них нету денег, так я должен сам хотя бы часть внести, чтоб хозяин не выбросил редакции, на улицу. И что со всем этим делать — просто с ума схожу. Добавлю, что эта квартира под редакцию снята на мое имя. На стороне я нигде не могу заработать, даже съездить домой не могу, потому что сам, один редактирую теперь «Нашу ниву»... Я обратился к «Издательскому Товариществу», чтоб они выдали из книжной лавки причитающуюся мне за проданные «Дорогой жизни» долю. Но издательство отослало меня к Товариществу, собственно, к Вам, дороженький паночек. Так не откажите мне и спасите, списав эти деньги с моего счета в Товариществе. Вы, паночек, меня уж не раз спасали в трудную минуту, так помогите и теперь. Иначе придется пропасть без времени и отречься от всего белорусского дела, которое мне стало сейчас дороже жизни... Кроме непомерной работы непосредственно в газете, у меня много всяческих неприятностей, связанных и с редактированием, и с изданием. Еще и теперь у меня не топится печь, так как не на что купить дров, и приходится мерзнуть и болеть. Ко всему кожух мой, черт бы его побрал, совсем расползся, и мне не в чем показаться на улицу и слазить в цензуру. Теперь, если Вы мне, дороженький паночек, поможете, я лучше буду голодать и оборванцем ходить, чем докучать Вам своими просьбами, потому что искренне чувствую, сколько Вы мне добра и так сделали. По правде говоря, весь свой доход от книжек я должен был отдать Вам за всю Вашу ласку, оказанную мне. Но что я, несчастный, поделаю, когда по-другому у меня не выходит. А жить хочется и хочется честно работать для своей Батьковщины. Питаю надежду, паночек, что Вы не откажете в этой просьбе Вашего покорного слуги. Это письмо меня заставило писать к Вам и впрямь безвыходное мое положение, которое в любой день может и вовсе выбить меня из жизненной колеи. Жду от Вас, дороженький паночек, ответа и остаюсь искренне Вам преданным и покорным Вашим слугой. Ив. Луцевич.

Р. С. Как Вам, паночек, нравятся последние номера «Нашей нивы»? Я настоял, и она вновь издается большим размером^[30]. И. Л.»

«P. S.» как бы снимал драматическую напряженность письма. Фраза «я настоящ!» показывала, что Купала — человек деятельный, упорный, стоящий на своем, что он весь в работе, в деле. Однако ж все факты в письме не выдумка, чтоб разжалобить богатого дедка. Лапкевичи положили Купале — редактору-издателю — 30 рублей в месяц, свалив на его плечи все издательские, цензурные, хозяйственные хлопоты по «Нашей ниве». Купил Янка Купала костюм, нет кожуха, нечем платить за аренду помещения для редакции, за дрова, не на что выкупить часы из ломбарда. 100 рублей просит Купала, но разве они его спасут? Причем Купала просит свои деньги — проценты от продажи своей книги, и это тоже штрих к характеристике жизни и быта белорусских писателей в дооктябрьской Беларуси. А деньги Купале были нужны еще и как просто молодому человеку, который как раз в это время решил на признание в своих чувствах той, которую так давно уже, казалось, знал...

Воспоминаний о том вечере она не оставила. Он же его долго забыть не мог. Он, уже привыкший чуть ли не каждый вечер видеть ее в «Зеленом Штрале». Об одном из таких вечеров она все же вспомнила. Квартет Тхужа, как и в последнюю встречу Купалы и Полуяна, пел «Mów do mnie jeszcze!...» Тетмайера.

«Я очень любила эту песню. Купале она тоже нравилась.

— Яночка, перевел бы ты эту песню, — попросила я. И он тут же положил на столик листок бумаги и спустя несколько минут протянул мне готовый перевод».

Да только ли перевод он готов был отдать ей тут же, лишь обмолвись она хоть одним словом! Она старалась этого не замечать. «После, — вспоминала Меделка, — не раз просил он меня спеть эту песню на белорусском языке». Он просил, и она пела. И это были минуты его восхищения ею, когда, как молитве, сердце внимало рефрену «Спой ты еще мне»...

*Пяі ты йшчэ мне. За такою песняй
Уздыхау я доуга, чакау, як прадвесня.
Голас твой лечыць мне у душы цярпенне.
Пяі ты йшчэ мне,
Пяі ты йшчэ мне!*

Да, голос ее действительно лечил душу, чаруя, нежил и голубил,

вносил в нее просветление, обнадеживал возможным счастьем. Ей, только ей, после Марии Пеледы, поэт посвятит стихотворение со словом «долгожданная» в названии. Этим словом поэт не разбрасывался: оно выражало у него самое-самое!..

А она?.. Купала сам даст ответ на вопрос, кто и что она, когда пройдет более полугода после памятного вечера в «Зеленом Штрале» — вечера выяснения их отношений.

Павлина Меделка была характером ой куда не в Павлинку из одноименной пьесы Купалы. Да у нее и причины были относиться к Купале по-иному, нежели Павлинка к Якимке. Вот сидят они в «Зеленом Штрале». Купала начинает говорить о Самойло, о Блоке — об их удивлении перед Мадонной, об их религиозном трепете перед живой красотой женщины. Меделка перебивает:

— А у тебя, Яночка, к святой Марии совсем не блоковское отношение...

И, посверкивая синими молниями глаз, молчит. А назавтра еще сильней подденет:

— Что-то крестный отец к своей крестнице долго не навещивается...

Купала не знает, как понять, чем назвать все это. Капризностью? Вторая долгожданная не может простить, что она не первая?.. Попробовал Купала прочесть ей отрывок из поэмы «Она и я»:

*Был сад подобен раю на земле,
Где с нею мы — Адам и Ева...*

— Я не Ева, не искусительница. Зачем ты обижаешь меня?

Он не хотел ее обидеть, он только хотел сказать, что он и она как первые люди на свете, первая пара...

— Разве пара? — колюче усмехается Меделка. — Купалку можно любить, как любит его Тётка, но, как Тётка, в пару нужно брать человека действия, даже идя на фиктивный брак...

Намек прозрачный на то, что муж Тётки, как и сама она, активный член социал-демократической партии. Павлина Меделка, как и Тётка, увлечена политической деятельностью, а Купала представляется ей человеком чересчур осторожным: герой времени не он. Меделка ждала героя. Меделка, что называется, перебирала хлопцев. Она еще и критиковала Купалу:

— Ты сам себя обрек на одиночество: одинокий в «Нашей ниве»,

одиноким в стихах:

*Иду один, а подгоняет тайной жутью
Подруга верная — бессмертная печаль.*

И твоя сатира из цикла «В мутном омуте», и твои шарады в «Нашей ниве» — от одиночества твоего. А ты не замечаешь, Яночка, что уже один на один ведешь диалог с Батьковщиной? Ты настолько оторвался от громады, что твоего одиночества уже никто не развеет. Ты не сиротина, ты — индивидуалист.

— Я в призывах своих не индивидуалист, потому что обращаюсь к громаде, бью тревогу:

*Смелей, белорус-землепашец!
Смелей поднимай к солнцу очи!*

— Смелей?! Ты несмелый... — это звучит в устах Меделки как приговор...

В какой день, в какой вечер Купала признался Меделке в своих чувствах и намерениях, мы не знаем. Павлина ж Викентьевна вообще скрыла, что это ей Купала «предложил разделить с ним долю и недолю в жизни». «Одной из наших девчат», — написала она, — предложил это поэт, «а когда та отказалась, признавшись, что любит другого, на следующий день он, грустный, дал ей прочесть свое стихотворение, написанное в эту же ночь».

«Отказалась, признавшись, что любит другого...» Купалу, значит, не любила. А почему же тогда в тех же воспоминаниях написала: «Как же я удивилась, когда в его квартире увидела и Владку Станкевичанку!» (Это спустя два года, в Полоцке.) «Оказывается, они... поженились, а я и не знала об этом». Не знала и сразу даже не поверила. И потому удивилась она, та Павлинка, которая слышала признание поэта, видела его влюбленность, думала, что завладела им навечно и что с ним у нее все еще впереди. Думала в своей молодой самоуверенности, девичьей игривости. А может, ревность бушевала в ней, оскорбленная гордость: не она — первая, не она — та единственная, которая только и достойна быть его первой! Покориться неблагодарной судьбе, смириться с непоправимым, пойти за ним после Пеледы?! Нет, бунтовала кровь гордой красавицы, он —

виноват! Так пусть же теперь помучится — в отместку! Пусть подождет — никуда не денется... Мой — вижу: придет, поклонится! Но сегодня поклона еще не приму, хоть и люблю. Не приму — он должен за свою вину расплатиться!.. Да, он был, по ее мнению, виноват, и она карала его своим отказом, откладывая на потом то, что стало отложенным на святое никогда. Любила и...

Об одном лишь стихотворении, принесенном ей после бессонной ночи, вспоминала П. В. Меделка. А их был целый десяток. И до сих пор в белорусском литературоведении никто еще не поставил всего написанного горестным сердцем поэта в один ряд, никто не сказал, что с разбитыми войною мечтами о работе на пользу Беларуси, с разбитой той же войною любовью Купала во второй раз покидал Вильно. Ведь в самом деле, может, его взаимоотношения о «долгожданной» окончились бы иначе, если бы вскоре после фатального вечера купаловского признания она не выехала в городок Глубокое — к родителям. Надежды услышать иные слова из уст Меделки в прифронтовом Вильно у Купалы не оставалось.

Царь Николай II объявил войну кайзеровской Германии 20 июля. А 8 августа 1914 года наступило полное затмение солнца, которое лучше всего наблюдалось на территории Беларуси. Об этом сообщала «Наша нива», отмечая, что «люди обычно любят связывать знаки на небе с суеверием» и что «суеверие не имеет под собой никакой почвы». Это подписывал в газете редактор-издатель И. Луцевич, как и напоминание, что в затмение «смотреть на солнце можно через черное, сделанное специально, или закопченное стекло». Купале-поэту, чтоб смотреть на затмение, черное стекло не нужно, потому что для него все небо закопчено дымом. Редактор-издатель И. Луцевич иронизировал над человеческим суеверием, поэт Янка Купала относился к нему иначе. Его цикл «Песни войны», писавшийся на протяжении сентября — декабря 1914 года, открывался именно стихотворением «Ворожбы», а в нем были строки:

*Солнце круг свой затемнило
И глядело мраком ночи
Миру — в очи, жизни — в очи.
Вот и коршун грузно выплыл
И о чем-то каркнул хрипло...
..За ворожбами ворожбы...*

Словом, затмение солнца Купала-поэт встречал, как когда-то дружина князя Игоря из «Слова о полку Игореве». Восточнославянский поэт — потомок автора «Слова», Купала не мог встречать иначе, как только тревожно;

*Что-то будет, что-то будет?
Как тревожен мир и люди!*

Болью наполнились «Песни войны» Купалы:

*Шли родной деревни дети
Помирать на белом свете,
В мире кости рассевать —
За кого-то воевать...*

Кресты Сморгонщины — у древнего Крева, кресты под Бытенем — на Щаре, под Верденом — во Франции, кресты в Восточной Пруссии, где прошли армии Самсонова, на Галитчине и под Волынью, где прорывался Брусилов. А для Купалы:

*Над крестами крик совиный,
Над судьбою сиротины
Вопрошает мрачно, страшно:
«Где же Батьковщина ваша?»*

Где? Где она, та Батьковщина, которая представлялась поэту в образе Молодой на свадьбе, в образе соколиной стаи, рвущейся в небо? Затмение солнца. Кресты повсюду.

*Кровавый бог кровавейшую подать
Собрать обязан с мира всю — сполна...*

*Проклятью — ни конца, ни края...
Ни роздыху — сердцам усталым...
Когда же, Беларусь родная,
Ты вырвешься к иным началам?*

Неизвестность, боль от незнания, что будет с Батьковщиной, когда повсюду война, воровство затмения. Купала теперь и в самом деле оставался один на один с родиной. Меделка тогда была права. И это новое ощущение Батьковщины обусловило новый взлет поэта. Он пишет сонет «Батьковщина», в котором есть вот какие примечательные строки:

*И если кто-то надо мной теперь глумится —
Глумится он над Родиной моей.*

Поэт уже имел в виду не только царя, империалистов, ненавистников «Нашей нивы», но и «долгожданную», которая сделала его песняром снов, отчаяния — автором сонета «Товарищ мой». Этот сонет поистине страшен: в нем несчастный поэт воплотил свое одиночество в образе себя-трупа, от которого никак не может уйти, оторваться, избавиться. Они были отсветом любовной драмы — стихи снов, полуснов, сравнения пережитого со сном:

*Все это было грустным сном,
Что разведу я с ней беду...*

С началом 1915 года цензура стала лютовать особенно... Второй номер газеты конфисковали. Белые пятна сделались непременно «украшением» полос. В третьем номере были выброшены куски из статей «Полгода войны» и «Из нынешней жизни»: в четвертом — снята передовая статья, белое пятно зияло в рубрике «На войне и возле войны»; не было передовой и в шестом номере; выброски были в статьях «Очередная задача» в пятом, в корреспонденциях с войны в шестом и седьмом, в рубрике «Из Беларуси и Литвы» в восьмом, девятом, десятом номерах. В 16-м вообще сняты две полосы, наполовину оголена первая страница, и Купала горько усмехался: «Если до этого газета была как с бельмом на глазу, то теперь онемела — печать без печати!..»

С конфискацией второго номера было все не так просто, как вспоминал об этом в письме к Е. Ф. Карскому сам Купала: «Дело заглохло...» Арест на второй номер наложил некий Чердацкий 16 января. Прокурор Виленской судебной палаты 23 января 1916 года «передавал на распоряжение его высочородию» г. прокурору Виленского окружного суда отношение Временного комитета от 19 января и копию своего постановления с просьбой «о следующем мне донести». 27 января на

отношении уже красовалась резолюция: «Из-за наличия признаков преступления... передать в окружной суд...» 28-го бумага пришла в суд, и в тот же день прокурор Виленского окружного суда препроводил ее «для утверждения ареста...».

О хождении всех этих бумаг по инстанциям Купала, конечно, не знал. За работой он вообще не замечал, как бежали дни. Свободных почти не было. Но вот 20 января... 20-го выдался свободный вечер, и Купала дал волю душе: 20-го он написал целых четыре стихотворения: два — о Ней и два сонета: один уже нам известный, «Товарищ мой», об одиночестве, и второй — «На суд».

Библейская тема судебного дня, обращение к потомкам, вера в их справедливый суд и ориентация на него — все это займет чрезвычайно большое место в творчестве Купалы 20-х, да и 30-х годов. В сонете 1915 года поэт отдавал себя на суд книжникам, и нам сегодня нетрудно понять, кого он под ними подразумевал. В Одессе 5 мая 1923 года тот самый Данилович, библиотекарем у которого в 1908–1909 годах был Купала, подписал справку: «В 1911 году в дело вступил компаньоном Антон Иванович Лапкевич; библиотека была переведена в д. № 33 на Виленской улице. В 1914 году я продал свою часть Антону Ивановичу Лапкевичу...» Итак, с 1914 года Антон Лапкевич стал «единоправным обладателем» виленской библиотеки «Знание», к этому времени таким же полномочным хозяином «Белорусской книжной лавки» был уже Вацлав Ласовский. Вот они — книжники!.. Купала отдавал себя им на суд, чтоб отъединиться от них. Вот формула поведения Купалы в «Нашей ниве»:

*Я проклял вашу фарисейскую семью
И к вашим идолам не плелся на поклон.
А если с уст моих срывался горький стон,
То клял я сам себя и мук своих змею.*

*От ваших низостей спасти себя сумев,
Пил чашу кривды и терпенья — всю до дна,
Не опоганила меня измена ни одна.
Один лишь, судьи, грех лег на душу, как лев:
Есть сердце у меня, и в этом сердце — гнев.
Такая ли уж это страшная вина?^[31]*

Об этом положении поэта в стане книжников, о его гордом «я не дал

душу растоптать свою», «я проклял вашу фарисейскую семью», «я к вашим идолам не плелся на поклон», — обо всем этом мы обязательно должны помнить, помнить как о том главном, что определяло независимый путь поэта, что, собственно, изначально стало его великим путем...

...Криминальное обвинение было тоже не из простых. Купала знал, что его предшественник, А. Власов, платил, и не однажды, штрафы за разные инкриминации цензуры и даже познал удовольствие двухмесячной отсидки. Финансовые дела редакции с сентября прошлого года так и не поправились, а перспектива садиться в тюрьму Купале вовсе не улыбалась, и он сел за изучение статьи 1213¹⁰ Устава уголовного судопроизводства и 3 п. статьи 1034⁴ Уложения о наказаниях, прежде чем 2 февраля 1915 года написал свое «Прощение». Оно у него вышло пространное и нудное, как и все судебные бумаги, связанные со следствием по делу Купалы. Но такой уж была бюрократическая судебная машина, от которой Купала защищался ее же бюрократическим стилем, показывая, что и он может закручивать софистику не хуже лондонского клерка, находя уводящие от сути дела аргументы и не подставляя тем самым своей спины под громоздкие формулы законов, на первый взгляд вроде бы и не относящихся к тому, что он, редактор-издатель, подписывал и благословлял к выходу в свет. Судебный следователь В. Батюня особенно не торопился. На допрос И. Д. Луцевича он вызвал лишь 20 марта. Редактор-издатель, очевидно, произвел на него хорошее впечатление, и В. Батюня не спешил «препровождать» своих выводов прокурору, как бы сознательно содействуя тому, чтобы «дело заглохло». Лишь 14 апреля пошло от него к г. прокурору Виленского окружного суда представление о деле Купалы, как «подлежащему прекращению из-за отсутствия состава преступления». Господин прокурор оказался, однако, другого мнения. Его резолюция от 25 мая 1915 года категорична: «Возвратить для привлечения в качестве обвиняемых 1) редактора газеты «Наша нива» и 2) при установлении — сочинителя...»

В июне дело направили на пересмотр. Но не до пересмотра было в прифронтовом Вильно, как и не до надзора за поэтом, за «Нашей нивой».

Купала и о существовании этого надзора не знал. Он и помнил о Луке Ипполитовиче, и забывал о нем. Купала-романтик менее всего об этом думал, а за ним следили и в Петербурге, и в Вильно. Еще 31 июля 1913 года столичный департамент под грифом «Совершенно секретно» переслал в Вильно «сообщение» о действующей в Вильно «национальной группе поляков или белорусов», в списке членов которой назывался и писатель Янка Купала. В группе этой, сообщалось, «темою обсуждения служат быт

крестьян и необходимость борьбы за его улучшение; речи носят крайне антиправительственный характер... Иногда поднимаются разговоры о необходимости террора». Современные исследователи жизни и творчества Купалы справедливо усматривают в этом «сообщении» донос, состряпанный на скорую руку, но фактом является и то, что сам начальник Виленского жандармского управления слал секретное отношение в Петербург своему столичному начальству. 7 сентября 1913 года он писал: «Лица, перечисленные в названной записке, а именно Янка Купала, Эпимах-Шипилло, Тарашкевич, Погодин, Хлебцевич, в г. Вильно не проживают...» Когда же, однако, Купала стал жить в Вильно, местные жандармы уже были предупреждены о его неблагонадежности. Исследователям «Нашей нивы» известны сегодня и другие документы агентурного характера о белорусской газете, на которых, в частности, есть сделанные в Вильно пометы: «В настоящий момент приступлено к поискам тайного сотрудника по названной организации». Есть и одобрение-резолюция кого-то из высших жандармских чинов: «Тогда будет виднее». Купала обо всем этом ничего не знал, как не знаем и мы, был ли найден жандармами тайный сотрудник для слежки за «Нашей нивой», за Янкой Купал ой... Виднее виленским жандармам не стало, во всяком случае, во время затмения солнца, а виленский небосклон все более полыхал пожарами, все более приближал фронт к Вильно и отъезд Купалы из него.

Люты^[32] 1915 года был в жизни Купалы поистине лютым, как, может, никакой другой его виленский месяц. Была ужасная непогодь. Было воскресенье, 15 февраля. И это стихотворение как дневниковая запись. Название записи — «На улице». Первая строка: «Блуждал я улицею той, где я встречал ее», — улицею Георгиевской, возле кафе «Зеленый Штраль». «Ее — не знаю точно — счастье или горе». В самом деле, счастьем или горем были для Купалы эта любовь и Она, та самая, о которой, ходя по улице и слушая, как «на путях свистели, голосили поезда», вспоминал поэт.

*Как будто бы с тем свистом уносились жизнь
и счастье
Иль кто-то самый близкий гибнул там — за далью.*

«Кто-то самый близкий», понятное дело, она — Павлина Меделка, которую куда-то туда, за даль, увезли поезда, чтоб он здесь чувствовал себя, «как изменой запертая в клетку лань», «бессильным, позабытым,

безутешным». Позабытым ею, безутешным, ибо одни лишь думы о ней остались с ним, бесконечные, мучительные думы: «Зачем, зачем себя на части рву, лишь град камней за это получая?» Так бродил поэт по проспекту «и сам сгорал в себе», пока не возвращала его к реальности все та же улица, все то же кафе «Зеленый Штраль», в котором он так часто засиживался с нею за столиком. Поэт был напротив «Зеленого Штраля» — на той стороне улицы. Он видел и ярко освещенные окна кафе, и более тусклые ряды окон этажей повыше — над «Штралем». Барочные фронтоны «Штраля» показались ему теперь пятью надгробиями над кафе, над его с нею в «Зеленом Штрале» встречами. Но... неужели у них в самом деле все кончено? От этого вопроса он отмахивается. Отмахивается, потому что ему сегодня жутко стало возле «Штраля» — жутко и стыдно: и за себя, и за тех, кто в этот вечер способен веселиться, танцевать. Не личная обида душит его — на поэта наплывает память: «Там, на окровавленных полях людскою кровью раб копает для других рабов могилы». Что перед этим какие-то его надгробия над «Зеленым Штралем» — перед могилами на полях войны?! Перед всенародным, всеземным горем.

*Я устыдился, что бродил тут со своей бедой
И, полоненный призрачной мечтою,
Предался горьким думам о самом себе и той,
Что завладела моим сердцем-сиротою.*

И велика же все-таки была сила притяжения ее, по-прежнему «долгожданной»! Это притяжение Купала преодолевал поэзией, преодолевал в стихотворении 15 февраля 1915 года «Зачем?», стараясь убедить себя в бессмысленности своих переживаний:

*Зачем тревожить сердце бедное
Желаньем ласк, душевного тепла?
Ведь все равно распнут— несчастное
И все святое в нем сожгут дотла.*

И далее поэт призывал себя:

*Гляди вокруг свободным соколом
И твердо знай, чего достоин ты!*

Эти строки, однако, диктовал разум. Легче вещать «иди!», «не понижай полета вольного!», «взмывай до звезд!», куда труднее было сердцу со своим неизбывным чувством... Уже минули и март, и апрель, и май с июнем, а Купала все вспоминал ее, силился и не мог объяснить себе, почему это все продолжается в нем, почему всему этому нет исхода и что это она за она — та единственная, которую он боготворит. Из стремления найти разгадку и родилась поэтическая жемчужина — стихотворение «А она...», самое прекрасное из когда-либо вдохновленных Павлиной Меделкой. «А она...» — стихотворение-ответ: «долгожданная» была «только... девчина»; стихотворение-свидетельство: встреча с нею для поэта счастье, ибо это счастье поэта, когда встреча с нею рождает такую лирику...

Каждый образ в этом стихотворении раскрывал правду отношения поэта к «только... девчине». Многозначие как бы разделяет представление поэта о ней и его ответ самому себе, кто же все-таки она. Это многозначие подчеркивает еще и неожиданность открытия, прозрения. «Только... девчина» не приняла поэта. Она оказалась плодом его воображения, выдумкой. А когда и у кого любовь не была выдумкой?! И страданием, если твою великую выдумку отклоняют как ненужную...

...В хорошем настроении редакционную книгу приходов и расходов «Нашей нивы» Купала называл веселенькой, особенно когда вносил в нее причитающуюся ему сумму. Так, 8 июля он записал: «Купала набрал мелк. 20» (рублей). На следующий день пометил: «возчику в цензуру 45» (копеек), «марки на экспедицию 16» (рублей), «кнопки — 45, свечки — 8, копированья, бумага — 15» (копеек). 9 июля деньги в редакцию поступили «от п. Ив.» — 20 рублей. 10 июля еще от пятерых человек за подписку — от каждого по 1 рублю 25 копеек. В графе расходов Купала записал: «принос газеты из печати 15» (копеек), «возчик на почту 30» (копеек), 13 июля деньги за подписку поступили еще от двух лиц, 73 копейки растрчено «за спирт»... Так вот весь 1915 год Купала сам и вел редакционную книгу приходов и расходов, разграфленную соответственно синими и красными линейками. Почерк поэта быстрый, кругловатый; черканий никаких — не то что в стихах. Последнюю запись в ней Купала оставит 8 августа, последние же стихи в Вильно напишет 13 июля. Последними они станут и в романе Купалы и Меделки. Первое стихотворение — о любви былой («Погребение»), второе — теперешней («Ночке»), и в этом, втором, как надежда на-счастье и как залог его звучит

прежний мотив — о ней: «милей она солнышка ясного» «и песен весной соловьиных».

В первом же поэт писал о погребении своей любви, но это было такое погребение самого себя, которым поэт пугал ее, которым заклинал: пусть она вернется, придет, «из горячей груди сердце вырвет да на трех ножах стоячих понесет и засмеется».

*Как положит на могиле,
Где спит песня о счастье,
Сердце в прежней своей силе
Вспыхнет в одночасье,
Чтоб гореть на свете вечно...*

Поэт не прощался со своей любовью. Вечного огня ее он жаждал; он любил и желал, чтоб его полюбила его избранница с тремя ножами в руках. Почему целых три ножа в ее руках увидел поэт вечером 13 июля, он и сам себе не мог ответить, когда наутро перечитывал последние виленские стихи «Погребение» и «Ночке».

Глава восьмая

ПОЕЗЖАНЕ

Фронт приближался к Вильно, и Вильно эвакуировалось — Вильно чиновничье, официальное, со своими военными штабами и интендантскими службами. На вокзале многолюдно, завозно, гулко. И первым делом власти вывозили на широких платформах куда-то в неизвестность, сняв с постаментов-пьедесталов, памятник Екатерине II с площади у Кафедрального костела и памятник Муравьеву-вешателю, что в бдительной позе инквизитора денно и ночью выстаивал перед губернаторским дворцом — напротив Светоянского костела и Виленского университета. Не братом, не кумом и не сватом приходился всей этой компании редактор-издатель И. Д. Луцевич, однако и он покидал прифронтовое Вильно. Выпускать «Нашу ниву» не было уже никакой возможности, да и следовало подумать о каких-то средствах существования. 8 августа 1915 года в книге, разграфленной голубыми и красными линейками, поэт сделал последнюю запись: «Купале на дорогу от п. Ив. 5 р.». Это был весь его капитал, нажитый в газете. Купала торопился; чернила не успели высохнуть, как он захлопнул книгу доходов и расходов — менее всего своих. Голубые и красные полосы не показались веселыми: от них, привычных, повеяло уже чем-то таким далеким, во что и поверить было трудно. Даже сердце защемило. Оно с болью отрывалось от прежней жизни, тем более что впереди ждала одна неизвестность. Отъезд был вынужденным, и строить какие-то планы не приходилось. Но сколько же ей — этой полной неопределенности — суждено продлиться? 28 сентября 1915 года уже из Москвы Купала напишет Б. И. Эпимах-Шипилло: «Настроение неважное — хуже всего то, что человек не знает, какое лихо ждет его завтра». Лихо, которое весьма и весьма многое определило в жизни и творчестве поэта, началось 8 августа. Спустя более трех лет, 3 ноября 1918 года, Купала в одном из писем признается: «По выезде из Вильно почти ничего не написал». И это была правда. Лишь в конце октября Купала взялся за перо — уже в Смоленске, на исходе невероятно тяжелого для него года. «Там, в Смоленске, — сообщал поэт тому же Эпимах-Шипилло, — весь трудный и жуткий 1918 год я, по правде, был как в беспамятстве». «Был как в беспамятстве» — пожалуй, очень точное самоопределение душевного состояния человека, с корнями

вырванного из прежнего, устоялого своего существования, выброшенного в стихию бурную, переменчивую — в шквалистый океан, каким была в своем революционном кипении тогдашняя Россия.

Из Вильно Купала поехал к матери в Окопы. Оттуда — в Орел, по приглашению своего друга С. К. Живописцева, ветврача и общественного деятеля. Но в середине сентября он уже в Москве, а 23-го «явлен и записан» «Пресненской частью 2-го участка в доме Калинина № 27 по Тишинской площади». К матери Купала, видимо, ехал, чтоб оглядеться, разобраться в ситуации, да, собственно, ему больше и некуда было податься. Приглашение друга вспомнилось кстати, однако эта пересадка на пути из Окопов в Москву остается для нас в целом какой-то непонятной. Неточна тут и Владислава Францевна, когда пишет: «Из Вильно стали выезжать. Янка Купала тоже решил выехать, осуществить свою заветную мечту об учебе и в сентябре поехал в Москву, где поступил в народный университет имени Шанявского». А куда же и почему выпал Орел?..

В университет Купала действительно поступил, но вряд ли он думал о нем, покидая Вильно. На бланке заявления, написанного в управление Московского городского народного университета имени А. Л. Шанявского с просьбой зачислить его слушателем историко-философского цикла, Иван Доминикович, сообщая о себе «статистические данные», на вопрос, «чем занимаетесь сейчас в Москве, кроме обучения в Университете», отвечал: «Ничем». Возможно, именно это «ничем» уже тут, в Москве, и навело поэта на мысль поработать на себя — пойти дальше учиться, «так-сяк устроиться», как писал он Эпимах-Шипилло 28 сентября 1915 года, то есть пять дней спустя после прописки в Москве.

В том же заявлении в университет Шанявского Купала указывал и свой адрес: Владимиро-Долгоруковская улица, д. 27, кв. 73, а также телефон: 1-43-55. По этому адресу проживала старшая сестра Владиславы Францевны — Мария. Это с нею, маленькою, на руках одинокая француженка-парижанка приехала когда-то гувернанткой в Россию, обрела тут вторую родину, встретила и полюбила белоруса Франца Станкевича — будущего отца Владки.

И вот в Москве, в доме Марии, новая — после Вильно и Малых Бесяд — встреча Купалы и Станкевичанки, та именно встреча, когда люди, вскидывая в красноречивом жесте руки, обычно восклицают: «Судьба!..»

Судьба-го, конечно, судьба, однако нам тут видится не только ее указующий перст. Ведь просто быть того не могло, чтобы одна из звезд белорусской виленской молодежи да не знала, что произошло между другой звездой этой же молодежи и Поэтом. Быть не могло, чтобы

Станкевичанка не знала и о том, что из Вильно Купала выехал к матери в Окопы: ведь она тут же — чуть ли не следом за ним — отбыла в Малые Бесяды. Виделись ли они в конце лета 1915 года в Бесядах? Говорил ли Купала Станкевичанке, что едет в Орел? Было ли у них условлено встретиться в Москве? Увы, на этот счет мы никаких свидетельств не находим, и остается только предположить, что поэту не удалось найти прибежища в Орле и он оттуда поехал на единственный известный ему огонек — в Москву. А дальше... Цитируем уже упоминавшееся письмо от 28 сентября: «Так-сяк устроился, и очень трудно с деньгами», «серьезно беспокоит призыв ратников 2-го разряда». О женитьбе — ни слова.

Но эта их встреча была решающей. Своей подруге по Вильно Констанции Буйло — примерно год спустя после свадьбы, уже в Белоруссии, в Полоцке, — Владислава Францевна говорила, «как они, встретившись в Москве с Янкой Купалой, вдруг почувствовали большую близость друг к другу, как Янка отогрел ее, одинокую на чужбине, помощью и опекой и как, наконец, они решили пожениться». «Я никогда не пожалею, что так случилось», — добавляла молодая жена Купалы, вполне по-женски забыв, что вовсе не поэт ее, а она поэта «отогрела... помощью и опекой» после краха большой любви, в военном лихолетье. Станкевичанка чутьем угадывала Путь Купалы, она сама искала Поэта, сама поехала за ним, почерневшим, точно лес после пожара, брошенным и вынужденным бросать — оставлять места, где он пытался свить, да так и не свил себе гнездо. И может, мысль о женитьбе сверкнула у него как надежда выйти из транса, обрести определенность и устойчивость в горящем и разваливающемся мире. Тем более что рядом был человек по духу близкий, которого он давно знал и который тоже давно шел ему навстречу.

Венчание происходило 23 января 1916 года в московском Петропавловском костеле. Сама Владислава Францевна об этом дне воспоминаний не оставила. Купала тоже. Единственно в письме из Полоцка от 26 сентября 1916 года (примерно в это время у них и побывала К. Буйло) поэт делился новыми заботами с Эпимах-Шипилло: «Жена моя немного болеет — что-то с нервами... Просто беда, и сама мучается, и мне счастья мало». Он просил профессора посоветовать хорошего знакомого врача, который поправил бы здоровье жены. Купала за жену искренне переживает, беспокоится, но уже само это письмо показывает, насколько теперь усложнилась его жизнь.

За женитьбой последовал и столь же неожиданный отъезд из Москвы — уже спустя неделю после свадьбы, 30 января 1916 года в Минске в паспорте поэта стояла печать: «Начальник XVI дорожного отряда...

Старший рабочий». Это значит, с 30 января Купала становился рабочим дорожно-строительного отряда Варшавского округа путей сообщений. Дело с призывом поэта в армию обернулось именно таким образом благодаря брату Владки Викентию, служившему в том же дорожно-строительном отряде.

И вот Купала в Минске. С молодой женой. Не успел осмотреться, как летом приходит приказ переехать в Полоцк, осенью 1917-го — в Смоленск. Дороги, дороги!.. Когда Купала в конце 1918 года начал вновь писать, то одно из первых стихотворений было о переездах, а точнее, о малоосознанном, малоосмысленном движении в Пространстве и времени. Вдобавок то были стихи не стихи — чародейство, волшебство над тем, что творилось вокруг, стремление вырваться из заколдованного круга, отчаровать зачарованное, взять след, выскочить из темноты на свет, из беспамятства — в сознание.

Называлось стихотворение «Поезжане». Поезжане в белорусской мифологии — это заблудившаяся в пути, не вернувшаяся под родную крышу свадьба: то ли от глаза дурного не оберглась, то ли чье-то заклятие над ней, проклятие. И вот скачет свадьба, вязнет в снегу, шарахается из стороны в сторону в бесконечной вьюге-завирухе, и не выносят ее к желанному порогу разнузданные кони. Не так ли уж который год не выводили под родную крышу дороги и Купалу с молодой женой, не так ли и они плутали в круговерти событий военного времени, революции, гражданской войны?

Дороги, дороги!.. Пути и тех, кто, гонимый войной, тоже оставил родные места, — пути всей армии белорусских беженцев. Они были ничуть не легче шляхов-дорог Купалы. И куда только не пролегли они по всей необъятной России! В высокой купаловской песне это была молодая Беларусь, поднимавшаяся «из низин... над крестами отцов, над невзгодами»; это были Павлинка и Яким, Сымон и Зоська — его герои, его надежда. И вот вся молодая Беларусь, все ее лучшие силы — на какую неожиданную, вальпургиеву свадьбу они попали! И стихотворение «Поезжане» прежде всего об этом:

*Разлетелись по просторам
Снежным пухом, тайным вором
Дым, поземка, завируха,
Злого духа злобедуха...*

В поле дымно и тревожно,

*Беспокойно, бездорожно...
Ни ночлега, ни путины,
Грозен сумрак домовины...*

*Едут, едут... след развеян..
Глуше, тише и темнее...
Ни надежды, ни просвета,
Только вьюга, только ветер.*

Нелегко в этой круговерти найти путь, а найдя, не сбиться с него. Нелегко поэту. Нелегко всем, кого подняла, поманила, позвала за собой молодая Беларусь...

«Трудный и жуткий 1918 год» Купала дотягивал в Смоленске, став тут «земгусаром» — именно так в Смоленске и на Смоленщине прозвали в то время агентов по обеспечению. Заявление с просьбой принять на службу И. Д. Луцевич написал 1 июля, а 21-го он уже был зачислен на должность «земгусара». Причем в заявлении он утверждал: «Занятие это — моя специальность». Сегодня, разумеется, с улыбкой воспринимаешь уловку поэта: «земгусар» — его специальность, того, кто еще совсем недавно при поступлении в университет имени Пянявского в заявлении, в графе «род постоянных занятий (должность или профессия)» писал: «Литература. Редактор белорусской газеты «Наша нива». Но как далеко все это было от Купалы 1 июля 1918 года, когда он значился на Смоленской бирже труда под номером 403! Вот уж действительно: в войну и намрутся и наврутся. Нужно было как-то зарабатывать на жизнь, вот и написал поэт, что «земгусарство» — «моя специальность». И 23 июля уже брал первый аванс — 500 рублей — на поездку в Курск и Курскую губернию за сахаром и другими продуктами. Командировка оказалась несладкой: в дороге Купала заболел и 29 июля возвратился домой. Выяснилось, что это дизентерия, да еще в тяжелой форме; и отчет о злосчастной поездке Купала сдавал только 6 августа, приложив справку о предписанном ему врачом постельном режиме. Но как только встал на ноги, снова в дорогу: 31 августа он уже ехал в Климовичи; вернулся оттуда 9 сентября, а 21-го опять выехал в Курск и Дмитриев — уездный город Курской губернии. Купала наверняка был горд, когда возвращался «с полным», горд от сознания, что работает на людей, на их обеспечение в такую страшную хозяйственную разруху, какая была в тот год — год военного коммунизма. Доставать хлеб, сахар, фураж было действительно важным делом, под стать подразверстке,

рассчитанным, как и она, на помощь революции, на вывод народного хозяйства из разрухи.

С принятием на работу в губпродком Купале выдали документ, который гласил:

«Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, Исполнительный комитет Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной области. Отдел снабжения. По части Хлебофураж. 21 июля 1918 г. № 2286/4923. Гор. Смоленск.

Удостоверение

Дано сие от Отдела снабжения Западной области Ивану Доминиковичу Луцевичу в том, что он действительно состоит агентом названного отдела, что подписью и приложением печати удостоверяется».

И вот в том же 1918 году, когда с удостоверением облисполкома Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Янка Купала разъезжал по Смоленщине и неоккупированной части Белоруссии, в Париж, в Версаль, где подписывался Версальский мирный договор, торопился с дипломатическим паспортом, выданным правительством БНР^[33], Антон Лапкевич. Мандат Купалы был мандатом революции, Советской власти; мандат Лапкевича — мандатом контрреволюции. Не так уж много времени прошло — всего три года, как они разъехались — Луцевич и Лапкевичи, Луцевич и Ласовский, — разлетелись из одного гнезда — «Нашей нивы», а так все переменялось в их жизни, так все перевернулось и вывернуло их судьбы на совершенно разные рельсы. Этот выбор пути делался каждым в отдельности в зависимости от первичного, сущностного в каждом из них. Революция, как лакмусовая бумажка, опущенная в сердце, проверила всех на красный цвет верности и на синий — измены. Революция была подобна раствору, в котором проявляют фотографию, — она до малейшего штриха прорисовала обличье каждого, обличье, которого не рассмотреть на туманном негативе.

И все они, по сути, были поезжанами: и Купала, который съехал из Вильно, не пожелав оставаться под кайзеровской оккупацией, и те, кто под ней остался, потому что отсиживались недолго. Всех в конце концов страгивала с места война, а главное — Революция. Революция и контрреволюция, борьба за Батьковщину, за молодую Беларусь. Многие потому и становились поезжанами, что ехали искать судьбу своей Батьковщине чуть ли не за три-девять земель, как тот же профессор Эпимах-Шипилло. Домосед-петербуржец, он теперь вдруг сделался

добровольным поезжанином в Швейцарию.

Швейцария была нейтральной. В июне 1916 года там, в Лозанне, собиралась III конференция народов. Год спустя Б. И. Эпимах-Шипилло перевел на белорусский язык и издал в Минске мемориал представителей Белоруссии на этой конференции. Некоторые сегодняшние исследователи считают, что сам профессор и написал этот мемориал, кончавшийся словами: «Мы просим у цивилизованных народов сочувствия себе и поддержки, дабы заставить уважать наши национальные и культурные права. Мы можем наконец надеяться, что, как бы ни закончилась война, европейские народы помогут нам обеспечить Белоруссии все политические и культурные права, которые дадут нашему народу возможность свободно развивать свои интеллектуальные, моральные и экономические силы и что эти права позволят нам быть хозяевами на нашей собственной земле». «Цивилизованным народам» в мемориале противопоставлялся царизм с его колонизаторской политикой. Мемориал был, пожалуй, первым документом, который основательно расширил программу белорусского национального возрождения. Все ведь начиналось с требования начальной школы, а здесь уже вон какой замах — «быть хозяевами на собственной земле». Правда, что это означало в правовом, политическом, социальном и организационно-государственных отношениях, было пока неясно, как было неясно и то, кто же конкретно подразумевался под цивилизованными народами.

Действительно, кто? Кто окажется молодой Беларуси своим, а кто чужим? Поезжане, думайте! Нелегко было думать поезжанам...

1916–1918 годы в Белоруссии — время калейдоскопических перемен, когда неслыханное оживление охватило все социально-политические силы, обнаруживая их настоящий классовый, политический облик. Здесь развернули деятельность как общероссийские партии — большевики, эсеры, кадеты, бундовцы, — так и местные: польские, белорусские, еврейские, отчасти литовские и латышские — что ни национальность, то и партия. Купала всей душой рвался на родину, где бурлила революция, борьба шла не на шутку. А там, в кипящей, как разворошенный муравейник, Белоруссии, ни его, ни Якуба Коласа, который был в действующей армии, на румынском фронте, не забывали. Во всяком случае, их обоих — разумеется, без согласия, ибо и тот и другой находились далеко от Минска — вписали в кандидаты от имени своей партии деятели Белорусской социалистической громады, когда шли на выборы в Учредительное собрание. Выборы в Белоруссии проходили после победы Октября, и Купала должен был слышать, что БСГ на них потерпела сокрушительное поражение: по Минскому избирательному округу за

кандидатов громады голосовало менее 3 тысяч человек, или 0,3 процента. В то же время большевики завоевали 63,2 процента голосов избирателей.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, — это правда. А слухи летели и ползли к поэту в Смоленск вереницею — самые разные. И Купала таки вырвался однажды, чтоб посмотреть на все своими глазами: в декабре 1917-го он приехал в Минск, где в это время проходил Белорусский съезд. Пригласили? Случайно заглянул в Белый зал Дворянского собрания?.. Не знаем. Но Купала в одно из заседаний съезда, продолжавшегося 16–17 декабря, наведлся в Белый зал совсем ненадолго. Об этом нам доподлинно известно со слов секретаря съезда Людвиги Антоновны Сивицкой — Зоськи Верас, которая лишь однажды в жизни видела поэта, видела именно в тот момент, когда он вошел в зал, присел на подоконник, прислонившись к раме, и стал внимательно слушать ораторов.

На съезде присутствовала Павлина Меделка. Одну из главных ролей на нем играл Томаш Гриб — эсер, которым увлекалась Меделка. Сейчас, когда уже спокойными глазами Купала смотрел на свою «долгожданную», явную гордыню он мог увидеть на ее лице. И на лице Томаша Гриба. В своей гордыне они были пара, как были пара и в выборе путей борьбы, политиканской запальчивости, иллюзиях относительно друг друга.

Может, как раз в то время, когда Купала в Белом зале сидел на подоконнике, выступал сам Томаш Гриб. Поэта из президиума не могли не заметить. Томаш Гриб, который был героем дня, и мысли не допускал, что он — калиф на час. Он думал, что за ним вечность; он, который ратовал на съезде за резолюцию о независимости Белоруссии; он, который после роспуска съезда за контрреволюционное направление возглавил исполнительный комитет совета съезда; он, который не подчинился решению Советской власти и развернул активную деятельность по подготовке восстания. Так или иначе, был тогда Томаш Гриб на трибуне или не был, Купала решительно спрыгнул с подоконника и направился к выходу: он ушел, чтоб сюда уже больше не вернуться. Поэт не знал всех подробностей политической борьбы декабря 1917 года, однако чувствовал: что-то здесь неладно, не его это путь, если 900 тысяч избирателей отдадут БСГ всего лишь 0,3 процента голосов. Ни Белорусский съезд, ни Томаш Гриб, ни Павлина Меделка в декабре 1917 года на стихи Купалу не воодушевили.

А что же было в далеком Вильно? На Белорусский съезд оттуда не попали — находились по ту сторону фронта, под кайзеровской оккупацией. Но там собирали свою конференцию — тоже нечто вроде съезда. Лапкевичи были неутомимыми до фанатизма. 25, 26 и 27 января 1918 года

работала их конференция. Иван получил из Минска известие о смерти матери, так скрыл даже от Антона: боялся помешать его работе как маршалка конференции. И это тот Иван Лапкевич, который в своих речах только и говорил о Батьковщине, об отчизне-матери. Неужто он и впрямь думал, что, скрывая от брата смерть матери, он печется о той, другой, матери — о родине?

1918 год был «трудным и жутким» не только для Купалы — для всей Белоруссии, для всей молодой Страны Советов, потерявшей к лету этого года три четверти своей территории. Оккупация Белоруссии кайзеровскими войсками проходила по линии Поставы — Сморгонь — Барановичи — Пинск. В результате же нового наступления немцы продвинулись на восток более чем на 250 километров, выйдя на рубеж Россоны — Полоцк — Орша — Жлобин — Новозыбков. В Минск они вошли 19 февраля. На вокзале их встречал помещик Роман Скирмунт речью на немецком языке. В отеле «Европа» в честь господ офицеров был дан обед. Контрреволюция все свои надежды связывала с оккупантами. Трудно было Купале в 1918 году в Смоленске, но судьба вместе с тем его как бы миловала: он не видел содома и гоморры — всей возни, грызни, подсиживанья, политических спекуляций, что мутною пеною с шумом накатили на криницы народной жизни и в без того тяжелое время оккупации. Им было несть числа, кто считал себя в этой возне пробужденным идеями молодой Беларуси, позванным ею в путь. Иные называли себя социалистами, революционерами, даже марксистами. Кем только многие себя не считали, но кем в действительности были?!

Белорусская социалистическая громада в течение 1918 года раскололась на Белорусскую социал-демократическую партию и на партию белорусских социалистов-эсеров. К первой пристали братья Лапкевичи. Во вторую вошел Томаш Гриб. Но возглавил ее, неожиданно объявив себя эсером, Вацлав Ласовский. Вот она, жажда лидерства! Ласовский сумел обставить Лапкевичей и настолько преуспел на новом поприще, что даже возглавил марионеточное правительство БНР. Программа? Белорусские эсеры программы не выработали, однако первый министерский портфель Ласовский забрал себе, коршуном налетев на него из Вильно.

Вот уж когда Купала мог бы убедиться, что не ошибался, угадывая нечистый дух, провинциальный макиавеллизм во внешне пристойных хозяевах «Нашей нивы». Теперь — в водовороте небывалых событий — никто из них не скрывал своего подлинного лица. С кем только не шел на компромисс — конечно же, «во имя идеи»! — Иван Лапкевич. Даже «сподвижники» и те удивлялись его неразборчивости в средствах. «С

паршивой овцы хоть шерсти клок!» — цинично заявлял в то время Иван и рвал этот клок при любой возможности: «Wszystko jedno, panowie!..»

Иван Лапкевич склонности к изящному, красивому писательству не имел. Другое дело — Антон Лапкевич, тонкий стилист. Но стиль не менял сути, разве что сентенции старшего брата младший выражал более «дипломатично», как, например, в случае, когда нужно было заявить, что «Белоруссия пойдет рука об руку с тем, кто в самую важную минуту окажет ей поддержку». Эка хватил!.. Белоруссия... Это они, Лапкевичи, готовы были пойти рука об руку с любым, кто окажет им поддержку. И этой поддержки они искали в 18-м у Вильгельма II — не нашли; будут искать в 20-м у Пилсудского — не найдут; у литовского диктатора Сметаны — не найдут; у Петлюры — не найдут. В том же 1918 году Антон Лапкевич доедет до Парижа — стучаться в версальские приемные, к законам Антанты, думая, что французы, англичане — вот кто поистине цивилизованные народы...

И Лапкевичи, и Ласовский, и Гриб — все они, понятное дело, были убеждены, что поступают единственно правильно, видели только себя великими в служении идее, Батьковщине, ради которой история будто бы разрешает все и прощает все. История, мол, не простит Купалу, который сторонится их, должно быть, усматривая в их борьбе всего лишь драчку. Какая драчка, когда мы и в Лозанне, и в Киеве, и в Праге, и в Париже! Масштабные, европейские маршруты у поезжан. И рядом с ними, как и с Купалой, оказывались их спутницы: жены, невесты, любовницы. У Антона Лапкевича — Софья Абрамович из Вильно, которую он студенткой-медицей встретил в Париже; у Томаша Гриба в Минске — Павлина Меделка; у Ивана Лапкевича — Юлия Менке, которая в Закопане в 1920 году проводит его, умершего от туберкулеза, в последний путь...

Действительно, разными людьми и политиками были белорусские поезжане. Тронуться в путь было легко, блуждать — мучительно. И кто из них думал, что блуждает? Лапкевичи? Ласовский? Нет. Гриб? Тоже нет. Купала думал, а потому и написал свое гениальное и так сильно им самим в начале 20-х годов любимое стихотворение «Поезжане»:

*Как по морю, в пене снега,
Без костра и без ночлега,
В замороженном тумане
Едут, едут поезжане...*

А колдунья-завруха

*Что-то шепчет, шепчет в ухо
О рожке, что в ночь взывает,
О пшеничном караване.*

*Дразнит снеговым ночлегом,
Засыпает сном и снегом,
Лезет в сердце, лезет в очи,
Машет пугалом из ночи...*

*Молодого к молодой,
Свата — к сватье-посидухе
Страх друг к другу прижимает,
Свищет, розвальни качает.*

*Прижимаются, как дети,
Как голубки на рассвете...
Нету свету, нету следу...
И все едут-едут-едут...*

*А над ними завируха,
Поползунья, злобедуха
Раскачнулась снежной вехой,
Задыхается от смеха...^[34]*

Это стихотворение о тех, кто был в ужасе от неопределенности своей судьбы, от бездорожья, от возможной гибели (не физической — духовной!), кого страшила смеющаяся над ним, бушующая вокруг стихия, разумная в основе своей («раскачнулась снежной вехой»), всевластная, всепобеждающая. Так что купаловские «Поезжане» были в какой-то мере и признанием революции, говорили об определенном восхищении поэта ее преобразующим порывом. Но сильнее всего, конечно, это стихотворение бурлило желанием Купалы выбрести, выбиться из пурги к порогу, к своей хате, к ясности, к пониманию времени, революции — глубокому и полному.

Было тогда еще и такое: кто почувствовал себя в 1918–1920 годах в Белоруссии поезжанином, тот как бы заимел волшебный талисман, предвещающий возвращение под родную крышу, обретение пути. Ведь ощущение бездорожья есть уже и стыд за бездорожье, а от стыда за бездорожье шаг к выходу на дорогу. Этот один шаг к выходу на совсем

новую дорогу, которая была пошире и пораздольней всех других, узанных Купалой до революции, оставался у поэта и до возвращения в Минск. Но сам выход из хаоса более чем трех безголосых лет начался немного раньше, чем были написаны «Поезжане». На эту новую дорогу Янку Купалу звала сама революция, которая о нем не забыла, которая, едва лишь стала, как река после паводка, входить в берега, тотчас же вспомнила о песняре, чье слово предвещало ее приход.

Первое письмо русского поэта и переводчика Ивана Алексеевича Белоусова к Янке Купале не сохранилось. Сохранился ответ Купалы от 16 сентября 1918 года. Судя по нему, речь в том письме шла о первой книге Купалы на русском языке, за издание которой брался Белоусов. Поэт благодарил и сообщал, кто его уже переводил на русский язык (В. Брюсов, А. Коринфский). При этом он, конечно же, не мог не радоваться, что не забыт, что его — дореволюционного — на широкую арену России послереволюционной выводит человек, которого он, Купала, лично даже не знает. Но именно это и было знаменательным: тут важным оказывалась не конкретная личность, а память о Купале вообще. Память о нем Белоусова была действительно *памятью революции*. Революция возвращала поэта к литературному творчеству.

Белоусов же просто штурмовал Купалу. 6 ноября 1918 года Купала вновь писал ему ответ. И — судите сами — именно этот промежуток времени (16 сентября — 6 ноября) — эпохальные в творчестве поэта дни: 29 октября он пишет целых пять стихотворений, 30-го — два, 31-го — одно. После письма от 6 ноября Купала снова усиленно работает: 7 ноября датируется стихотворение «Пчелы»; 8-м — «Сон», «Колокола»; 9-м — «В хоромах», «Млечный путь»; 10-м — «На рассвете»; 13-м — «Забытая корчма»; 14-м — «Аисты», «Бурелом»; 19-м — «Наследство»; 20-м — «Сеятель», «Озимь», «Первый снег»... «Поезжане» были написаны спустя немногим более месяца — 27 декабря. Белоусов как бы растолкал Купалу, пробудил в нем небывалую энергию. Может, и сам Купала диву давался, как это его вдруг «прорвало» после такого затяжного молчания. А чуда не было. Была закономерность. Произошло то, что непременно должно было произойти: потерявший сознание очнулся, пришел в себя. Революция помнила поэта, и он, почувствовав, поняв, что она ради Батьковщины, вновь берется за перо.

О чем же стихи Купалы конца октября — ноября 1918 года? Поэт говорит, что «вновь уснувшую было жалейку» он взял в руки и пробует «ее голос». Он снова будет для «Батьковщины-матери... играть». Однако ни интонаций, ни мотивов прежнего, первого, сборника «Жалейка» у Купалы

теперь не ищите. Даже названия стихов у него — призывы: «На сход!», «Пора!» На сход — это опять-таки в революцию, за новую жизнь, за будущее:

*На сход, на всенародный, грозный, бурный сход
Иди, ограбленный, закованный народ!*

*Все, кто рядом и далече, —
На совет, на вече,
На великий сход.*

*Пусть рассудит и сурово
Пусть решительное слово
Скажет сам народ!*

Необыкновенной духовной мощью отмечено стихотворение-призыв «Своему народу», написанное Купалой 29 октября 1918 года:

*Встань, народ, и грозно, как бывало,
Взгляни на землю, где который год
Хозяйничает нелюдей навала,
И хаты рушит, и твой скарб гребет!..*

Страстный, исполненный гнева и боли призыв поэта к народу звучал как нельзя вовремя: «навала нелюдей» действительно «рушила хаты» и разворовывала богатства края; а кто эти «нелюди», было ясно каждому: солдаты кайзера Вильгельма.

Более половины Белоруссии в 1918 году находилось под кайзеровским иггом. Защищать Батьковщину было от кого. Потому и был в 1918 году белорусский народ в поезжанах, чтобы выехать себе судьбу, долю, выбиться из всех вьюг-завирух на дорогах, на шлях!

Всего белорусских беженцев насчитывалось не 300 тысяч, как писал Б. И. Эпимах-Шипило в лозаннском «Мемориале» в 1916 году, а согласно подсчетам сегодняшних историков 3,2 миллиона человек. И вот 17–21 июля 1918 года по инициативе Белнацкома в Москве созывается Всесоюзный съезд белорусских беженцев. Свыше 200 делегатов собралось на него, а 19 июля съездом избрана делегация, которую принял Председатель Совета

Народных Комиссаров В. И. Ленин. К Ленину попали поезжане, к Ленину! «Товарищ Ленин, — писала «Денница» 26 июля 1918 года, — очень интересовался белорусским вопросом, время от времени спрашивал руководителя делегации о разных сторонах жизни белорусского народа... Ленин спросил также, на каком языке идет съезд». Съезд шел на языке Купалы. Обо всей Белоруссии — о ее прошлом и настоящем говорили беженцы Ленину, о ее литературе, культуре.

И вот по прошествии какого-то времени Купалу в Смоленске, в доме № 5 по Малой Богословской улице, посетили те, кто был у Ленина: Тишка Гартный, Тодор Кулеша^[35].

Сидя за самоваром, поэт говорил:

— Все пока в страшнейшем упадке. Но ничего, народ, пожив без царя и панов, как поется в песне, все обретет... Дух у селянина бодрый, у него чешутся руки по вольному труду на земле.

Наконец Купала спрашивает:

— Какие же у вас новости? С чем едете на родину?

— Едем строить свободную Беларусь! — в один голос ответили гости.

Когда же Купала узнал, что создается Белорусская Советская Социалистическая Республика, что об этом на днях будет опубликован манифест правительства республики, он обрадовался чрезвычайно.

— Вот это радостная новость! — воскликнул поэт. — Владя! — позвал он жену, занятую делами в другой комнате. — Слышишь, какая новость!

— Слышу, слышу! — ответила Владислава Францевна. — И рада ей, как и ты!

Купала не мог сидеть спокойно, стал ходить по комнате. Лицо его порозовело, оживилось.

— Вот до какой радости дожил наш веками угнетаемый белорусский народ! Погодите, мир удивится, как мы теперь зашагаем вперед... Живет, живет наша Беларусь! — с восторгом говорил он.

В тот вечер Купала не написал бы смятенных, тревожных слов. Он увидел беспочвенность опасений; он понял, убедился: плечо Революции — плечо Ленина, плечо свободы. Плечо, подставленное в помощь его Беларуси.

Но в трудном 1918 году были у Янки Купалы и светлые минуты, когда, казалось, само будущее входило в его дом на тихой Малой Богословской. Они всегда были желанными гостями, эти два рослых парня — братья Максим и Гаврила Горецкие. Максим поначалу какое-то время учился в Смоленском археологическом институте, но затем ему, агенту жилищного отдела горсовета по изысканию у буржуев квартир, а после сотруднику

газеты «Звезда», времени на лекции не стало хватать. Гаврила Иванович Горецкий — ныне академик АН БССР — был тогда стенографистом Смоленского областного Совнархоза. А времени у обоих не хватало еще и по той причине, что братья готовили первый «Русско-белорусский словарь», который они издали 31 апреля 1918 года. Эти словоохотливые, всегда пребывавшие в завидно хорошем расположении духа посланцы будущего, как называл их про себя Купала, мыслью и стилем наследовали Скорине, когда писали в предисловии к своему словарю: «Врожденная любовь, уважение к родному языку... — требовали, чтобы каждое словечко обиходное расмаковали, да осмыслили как должно, да и выписали на бумаге старательно...»

Они любили родное слово — Максим и Гаврила, любили Купалу и Коласа; на их произведениях братья, собственно, и выросли как интеллигенты, как литераторы.

Максима Горецкого Купала знал, еще будучи редактором «Нашей нивы», — публиковал его рассказы, похвально отозвался о первой его книге «Озимь», вышедшей в 1914 году. Не забывал и когда началась война. В одном из номеров «Нашей нивы», под рубрикой «Белорусы на войне», он поместил среди других и фотоснимок Максима Горецкого — молодого, в студенческой тужурке, с густой копной зачесанных направо волос.

Теперь Максим стригся: после окопов, после ранения и госпиталей, а может, как он сам шутил, «и от дум» залысины повысили его лоб — светлый, чистый, вдумчивый. Замыслов у Максима было множество: он собирался писать историю белорусской литературы, по его выражению, от Смоленского Авраамки до Купалки, живущего в тех же расщелинах приднепровских, что когда-то святой Авраамий.

— И хрестоматию нужно издать, — делился он мыслями с Иваном Доминиковичем. — И опять же от Авраамки...

— До Максима Горецкого, — весело перебивал молодого нетерпеливца Купала.

— Прозы, прозы нам нужно! — повторял Максим. — Пусть бы такая книга, как ваша «Дорогой жизни», легла на стол и одна, и другая... А как нам необходим свой, белорусский, театр!

— А словари, — не забыл одобрить работу Горецких Купала. — Сколько рук нам понадобится!..

Смутились, ибо в тех же разговорах не могли не вспоминать о близких им людях, которых будет так не хватать, когда начнется возвращение поезжан к родным гнездам. Тётка, Максим Богданович, Левон Гмырак...

Купала очень любил и ценил Левона Гмырака — критика, публициста.

Его фотографию он успел поместить в том же номере «Нашей нивы», что и Максиму. И вот Максим говорит, что война не пощадила Гмырака. Убит в 1915 году, в июле. Купала тогда еще был в Вильно.

— А Максим...

Фамилии не называют. Всем и так ясно, о ком речь — о Богдановиче. Ему было 25, как теперь Максиму Горецкому. Максим I, Максим II — так величают сегодня белорусы классиков своей литературы Максима Богдановича и Максима Горецкого. А тогда, в 1918 году, на Малой Богословской в Смоленске, просто Максим Горецкий сидел перед своим любимым поэтом, поверяя ему свои сокровенные думы:

— Богданович открыл поэзию нашей мифологии, открыл в белорусском народе Поэта, Лирника. Но, думается, это неполное открытие народа. Ибо народ наш еще и философ. И я написал бы это слово с большой буквы — Философ. Я жду, что из нашего народа выйдут и новые Скорины и новые Достоевские. Из народа-философа не могут не выйти. Ведь это вовсе не варварство — мифология белорусов, их суеверия, наконец. Это работа души, стремление постигнуть мир, осмыслить его. Перед нами ведь целая система осмысления! Не хлебом единым жил испокон веков наш сермяжный мужик; он жил и сказкой, легендой, суеверием, тратя на их создание силу, энергию, душу. Мог хлеба не иметь, а без сказки жизнь свою не представлял. И вот в XX столетие он вступил едва ли не с самым богатым запасом и сказок, и легенд, и песен — как ни бывало тяжело, не растерял это свое наследство, богатство. Народ откроет нам врата своей сокровищницы духовной, и мы удивим весь мир новыми Достоевскими...

Текла беседа. А на столе гудел самовар. Иван Доминикович клал к чаю даже по тем временам внушительную головку сахара. «От привезенного из командировки, за особые заслуги», — шутил. Но чай казался сладок не столько от сахара, хоть и ни в какое сравнение не шел с ним опротивевший сахарин, сколько от задора Максима и Гаврилы Горецких. Купала слушал братьев и счастливо улыбался: «Не погорельцы — горят Горецкие!..» Он втайне, может, чуточку и завидовал их молодой энергии, запалу, целеустремленности. Но и нарадоваться не мог: «Растет наша литература, растет...»

Был у Купалы-поезжанина в 1918 году еще и приезд в Белоруссию, в Оршу, — приезд, правда, очень короткий, однодневный. Но он вошел в историю белорусской поэзии тем, что именно в этот день, 19 ноября, Купала написал стихотворение «Наследство», ставшее сегодня в

Белоруссии одной из любимых песен. Купале не суждено было услышать мелодии этой песни, как и ста других, созданных уже на его слова, но само стихотворение пришло к нему тогда воистину «лаской материнскою». Орша — это уже была родина, это в такой близости от Окопов, от матери, что все и вокруг поэта, и в душе его разом прояснело, и он увидел в этом свете наиглавнейшую ценность на земле, свое настоящее богатство — наследство, доставшееся «испокон веков от прадедов». Наследство, о котором навевают ему «сказки-сны весенние проталины», шелест вереска, гомон бора, «в поле дуб, разбитый молнией». Наследство, о котором он печется денно и ночью, пристально и ревностно следя за тем, «по-прежнему ль оно — всё там и трутнем ли не съедено».

*Ношу его в своей душе,
Как вечный светоч-польмя, —
признавался поэт.*

Что же это, однако, за богатство, что за наследство?

*А то наследство-то —
всего Странушка Родимая.*

Всего!..

Свидание с нею в Орше было до боли коротким и только еще сильнее разбередило душу поэта. Осознанием — полным — своего поезжанства уже в самый канун нового, 1919 года и заканчивалось для Купалы это поезжанство — целый период в его жизни.

21 января 1919 года Янка Купала переехал на постоянное жительство в Минск.

Глава девятая

«ДЛЯ НАС, ВОССТАВШИХ, СОЛНЦЕ ВСХОДИТ...»

1. «ЗА СЛАВОЙ, ЗА СЧАСТЬЕМ В НАРОД И С НАРОДОМ...»

Первое написанное в — Минске стихотворение Купала назвал «Светаёт». «Свет солнца царит на земле», — утверждал поэт. «Вставайте! — обращался он к сынам и дочерям Белоруссии. — Солнце несет нам свет и тепло». Понятно, что в образе солнечного света, «царящего на земле», Купала воплощал Революцию. Он призывал идти ей навстречу и верить, что она «сердца отогреет» и «откроются очи на свет».

Но обстоятельства в Белоруссии 1919 года отпустили революции, Советской власти очень мало времени. 1 января 1919 года была провозглашена Белорусская ССР; 21 января Купала приехал в Минск, а уже в августе он вынужден был покинуть его — наступали легионеры Пилсудского. Бои за Минск шли в окрестностях, близких к Боровцам Пильницы, Паперни — на холмах, среди перелесков Долгиновского тракта. От немецкой оккупации поэта оградил Смоленск. От белополяков он рассчитывал укрыться у матери в Окопах. 10 августа Купала уже сидел там невылазно, разве что на день-другой отлучался к дальним родственникам в Гайдуковку, расположенную в десяти верстах от Окопов, или в Калисберг, где управляющим в усадьбе Снитки был тогда Юлиан Романовский — муж сестры Лели. Весь сентябрь 1919 года поэт пробыл в Окопах — не лежала у него душа к новым пришлым «хозяевам», да и хотелось ему закончить одну весьма, как ему казалось, важную работу.

И все-таки даже в это короткое время — с января по август 1919 года — Купала смог поверить в благотворность перемен и написать свое первое солнечное стихотворение новой эпохи. Их потом Купала создаст множество — светлых, со столь дорогим для него образом солнца стихов. В 30-е годы это будут стихи обретенного солнца. Сейчас же, на пороге 20-х, как и до революции, поэт все еще звал к солнцу. Правда, теперь это уже было солнце, которое взшло, которое светило и над Минском, и над малообжитой еще квартиркой Луцевичей в доме по улице Юрьевской, и над

Комиссариатом просвещения с Белорусским народным домом, куда Купала устроился библиотекарем, и над «Белорусской хаткой» близ Комаровки, куда на вечерки и концерты они с женой охотно и часто ходили. А сколько новых радостных знакомств завязалось у поэта в эти дни! Сколько надежд вселилось в его сердце!

В конце же июля 1919-го здоровье еще не внушало Купале опасения; не было слышно и пушек Пилсудского ни со стороны Ракова, ни с Долгиновского тракта, и поэт надеялся, что белополякам, возможно, «... Минска так и не удастся... увидеть». Тремя же месяцами раньше, в апреле, на пасху, он ездил с женой в Окопы. Эта его первая после поезжанства встреча с матерью, со столь памятными для него местами была трогательной и праздничной. Праздничной вдвойне, потому что на дворе уже стояла весна — его любимая пора года. Ко всему еще Окопы избавляли от забот о хлебе и к хлебу. А в Минске дороговизна страшная: хлеб 12–13 рублей за фунт, сало — 50–60 рублей...

О том, что Купала сразу после приезда в Минск почувствовал себя *хозяином на своей земле*, свидетельствует письмо поэта к Б. И. Эпимах-Шипилло, в котором он просит профессора переехать на родину: «Бросайте, паночек... Питер и перебирайтесь на постоянное жительство хотя бы в Минск. Тут и воздух лучше, и с продуктами намного легче. Тут бы вы никакой нужды не знали, потому что я могу все в деревне доставать, хотя и трудно с привозом — отбирают. Так соглашайтесь... Тут через Комиссариат можно выхлопотать разрешение на перевоз всех Ваших вещей и библиотеки...» Понятно, что разруха наложила отпечаток на купаловское письмо-приглашение, несколько его «обытовив». Но за словами поэта о хорошем воздухе нельзя не увидеть чего-то большего: благодарный ученик зовет к себе своего учителя как хозяин, как человек, обретший Батьковщину. Можно сказать иначе: эта новая Батьковщина устами Купалы звала, возвращала на круги своя того, кого именовали до революции сердцем Беларуси, солнцем Беларуси.

В Минске, на родине, Купала, что называется, обретал второе дыхание, снова, как некогда в белые ночи Петербурга, в окоповское лето 1913-го, включаясь в постоянную и напряженную творческую работу. Именно здесь, именно сейчас поэт взялся за тяжелейший труд — за перевод древнего «Слова о полку Игореве», которому он отдал больше двух лет. Осуществить этот замысел без предварительной подготовки и думать было нечего. И Купала весной 1919 года делает первые подступы к «Слову». В том же письме к Эпимах-Шипилло, от 13 апреля, читаем: «Сейчас я немного занялся штудированием славянской мифологии вообще и белорусской в

частности». И следом поэт просит профессора прислать ему работу Зеленина по мифологии, книги Шейна, Карского, Романова. Спустя три дня он с этой же просьбой обратился и к Белоусову: «Я сейчас, признаюсь Вам, штудирую, или, иначе, увлекаюсь славянской мифологией, в частности, меня интересует переходное время от язычества к христианству у нас, в России, и по этому вопросу имею всего лишь одну книжечку Аничкова «Язычество и Древняя Русь». Искал в Смоленске и тут, в Минске, книгу Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу», но так и не нашел. Вот если бы вы, дорогой Иван Алексеевич, помогли мне в этом...» И характерно, что именно в эти же годы разрухи, гражданской войны книгу Афанасьева точно так же разыскивал другой «крестьянский» поэт, Сергей Есенин, которому удалось ее выменять на пять мешков муки. А вскоре появились «Ключи Марии» и другие есенинские произведения, навеянные поэтическими воззрениями славян на природу.

Янка Купала ощущает ту же необходимость обратиться к первоисточникам славянской народной культуры — живым ее родниковым ключам.

Уезжая в 1915 году из Минска, поэт оставил здесь под присмотром Власова и Левицкого свою библиотеку. По возвращении его ждало горькое известие: библиотека пропала. «Меня тут страшно обокрали, — сообщал Купала в письме к Эпимах-Шипилло. — Пять ящичков с книгами, рукописями и другими письменными материалами». И вновь сокрушался: «Разворовали всё... Сильно жаль рукописей и книг. Некоторых книг сейчас ни за какие деньги не достать, как, напр., «Статут Литовский». Великий книжник Купала тем более переживал эту потерю, что многие из книг были бы весьма кстати при его теперешней работе над переводом «Слова о полку Игореве».

В тяготении к «Слову» нам видится социальная и художественная обусловленность, закономерность. Когда-то здесь, в Минске, редактор-издатель Мысавской вел о «Слове» речь с молодым автором «мужицкого» стихотворения, указывая ему на эту поэму как на образец, как на одну из вершин литературы. И вот в том же Минске внимание уже зрелого Купалы обращает на «Слово» не кто-то один, а сама ее величество Революция — с героикой, с Любовью к родной земле, столь величественно опозитизированными в «Слове», и с той ничуть не меньшей исторической сложностью, нежели междоусобицы XII века. Требование единства народа в борьбе против сил, стремящихся затмить взошедшее солнце, — какое это насущное для 1919 года требование. Потому-то и считал поэт работу над переводом «Слова о полку Игореве» чрезвычайно важной и засел за нее

уже весной.

Свои же стихи пока не писались. 31 мая помечено «Светает», 7 июня — «Если сердце твое защежит, заболит», стихотворение частное, альбомное, как бы вневременное, как бы парящее над реальностью с ее жгучими проблемами, социальными, политическими. Но этими проблемами Купала «заболел» в Окопах, когда оказался наедине с самим собой, когда как бы со стороны глянул на происходящее, — одинокий зритель, перед которым поднялся занавес и открылась сцена, и на ней, как за тростниками окоповского озерца, просматривалась даль «увядшей славы» его Батьковщины и бросалось в глаза бесславье нынешних «белорусских сынов», вышедших на авансцену оккупированного белополяками Минска...

*Вон чужаки бредут, а рядом
Кто?
— Белорусские сыны!*

«Белорусские сыны» типа Антона Лапкевича делали теперь ставку уже не на Вильгельма II, а на Пилсудского, на его легионеров. Народ по-прежнему предавался забвению; вокруг по-прежнему хозяйничали чужеземцы. Понимание всего этого резало сердце, как режет руку папоротник, когда неосторожно пытаешься сорвать его. Стихотворение Купалы «Белорусские сыны» — сам гнев; каждая строка его пронизана горчайшей иронией, ненавистью к неразумным «белорусским сынам», болью за то, что они ходят в приспешниках:

*...Свисает флаг чужой, а держит
Кто?
— Белорусские сыны!
И... с пришлецом — вороньим слогом
Кто?
— Белорусские сыны!*

В новых обстоятельствах поэт не принимал чужого — вороньего — слога. Он гениально просто учуял, где его нужно искать, свой слог: в «Слове о полку Игореве». У самых истоков славянской культуры, в ее глубинных пластах, исконных, вековечных. «Да начаться песне той

современным ладом...» Это не Боян, это Купала, который почувствовал себя Бояном. Да что почувствовал, порт был им уже до революции. Именно с гордым пониманием, что ныне он полный «властелин белорусского слова», Купала пишет в Калисберге 29 августа — все в один узел стянуто! — широко известное сегодня стихотворение «Моя наука». В нем поэт с горечью говорит, что не довелось ему постичь «мудрости книжной» — в бедности, в нужде до того ли было. Белорусской речи он учился у матери, а думы народа познавал не из книг — от самого народа.

*Впотьмах, в одиночку я снова и снова
Без школы искал свою долю, свой дар
И стал властелином родимого слова,
И соколы-думы — отныне мой скарб.*

В августе 1919 года дума поэта билась именно над тем, как «начаться песне» его «современным ладом». Как? «Белорусские сыны» — изменники с чужими флагами в руках — настроить купаловскую лиру на желанный лад не могли. Не героями новой песни, нового эпоса были они — жертвами истории. Потому трагическим аккордом поэт и обрывал свое стихотворение о них:

*На белорусском буйном поле —
Взгляни — с весны и до весны
Растут кресты, а под крестами
Кто?
— Белорусские сыны!*

Поэт понимал, чем завершится прислужничество оккупантам — безымянным крестом в безымянном поле. Забвением. Он безошибочно угадывал: у «белорусских сынов» будущего нет.

Но поле, белорусское поле, ты же у Купалы вон какое грозное, эпическое — буйное! Так где же, поэт, твой настоящий герой, новый буйтур Всеволод?..

...Чудо-перелески Окопов. Со склона на склон переходил Купала, проносил думы свои. О чем они были у него? Названия стихов подсказывают: 23 августа — «Ворон»; 24-го — «Осень», «Воин», «Князь»; 28-го — «На нашем...». На нашем поле, конечно же, ворон «кости считает,

считает людей и кресты». А осень, чего жаль осени? «Жаль ей увядшей отавы», и она у поэта «ночью над миром тайком ворожит», «горестно-горько рыдает, сердце пронзает, как нож». Воин, тот «сел... на коня», взял острый меч в руки и «налетел, как перун»: «берегись, народ». А князь... Нет, не похож он на того, из «Слова» (хотя-от всех этих ворожб, воронья, костей, рассеянных в поле, плача-рыдания по родной земле явственно дохнуло стихией «Слова о полку Игореве»), так вот князь у Купалы, он скорее из шутовой народной песни, нежели из баллады, былины:

*Конь танцует в поводу —
Тихо, коею, стой, стой!..
Шла девчина по воду —
Как взглянула: ой, ой!*

Нет, не герой — этот, у колодца. Не герой...

Купале ничего не стоило и зазимовать в Окопах: в зальчике тихо, садись за старосветское пианино, в струнах которого пауки наткали-наплели паутины, садись и бренчи себе хоть весь день. Паутина — зрелище, конечно, не из приятных, но лучше этот паук, чем тот, что в мыслях Купалы, — огромный и белый, как орел на знамени легионеров Пилсудского. От тени этого орла поэт и уехал из Минска сюда, в Окопы, думая, что нашествие ненадолго, рассчитывая, что через неделю-другую нечестивцы выметутся из города. Но минула неделя, проходила вторая, а пилсудчики оставались в Минске. Неужто нет силы, способной изгнать чужеземцев? Тревожные, гнетущие мысли одолевали поэта. И все чаще он приходил к выводу: и его вина в том, что оккупация продолжается. Он чувствовал себя соучастником какого-то огромного ничегонеделания, апатии, равнодушия. Национальная драма? Национальный характер, в котором века угнетения убили героизм, — парализовали деятельное, активное начало? Об этом любят поговорить те, кто не знает белорусов близко. «Ведь тот же Тадеуш Костюшко, в православье — Андрей, тот же Кастусь Калиновский были белорусами, — думал Купала, — и воевать умели. Да и вообще мы все из «Слова о полку Игореве», равно от предков пушанских, воинственных и от дружины князя Игоря, от любви к родной земле и от жажды пить славу шеломами из Дона великого». Уж кто-кто, а Купала знал дух своего народа, знал историю края. Но вместе с тем он видел, чувствовал горький драматизм момента, ситуации. И вот, придя к осознанию этого драматизма сердцем и разумом, поэт пишет в августе

горестнейшее стихотворение, в котором как бы выплеснулась вся его мука. Это был крик отчаяния и растерянности. Только где-то спустя 10 лет стихотворение будет напечатано. Оно тогда так и не прозвучало взрывом среди великого ничегонеделания, которое испепеляло душу поэта. Оно взорвалось лишь в сердце поэта, чтобы свидетельствовать сегодня, объяснять нам, что не давало Купале в Окопах покоя. Не зима гнала его отсюда — совсем, совсем иное...

*На нашем поле —
Колючий осот.
Никто его боле
Уже и не рвет.*

*Над нашею нивой —
Вороны да орлы.
Никто в них счастливой
Не пустит стрелы.*

*...По нашим жилищам
Ткет сети паук.
А выгнать — не сыщем
Надежных рук.*

Написав эти строки, поэт не мог долго оставаться в Окопах — на обочине. Разве его руки не руки? И разве они не сумеют пустить счастливой стрелы во врага?!

И действительно, мог ли человек в эти сложные, именно минские, с нашествием белополяков годы, когда решалась судьба народа, края, мог ли в такое время человек, любящий родину, тем более поэт, оставаться равнодушным к развитию политической ситуации и не вмешиваться в ход событий? Вмешивался, да еще как вмешивался Купала в политику в 1919–1921 годах!

Он редактировал «Колокол» («Звон») в 1919 году, «Всходы» («Рунь») в 1920-м, «Свободное знамя» («Вольны сцяг») в 1921-м. А кто согласится с поэтом, что он не вмешивался в политику, прочтя его такую публицистическую статью в газете «Беларусь» в октябре — ноябре 1919 года, как «Торжище»? А его выступление в двух январских номерах 1920 года той же газеты с обзором «Дело независимости Беларуси за прошлый

год»?

Лирика поэта 1920 года почти исключительно политическая. На первом плане в ней бичевание оккупантов («На библейские мотивы»), сатира на их прислужников («Пять сенаторов»), протест против политического насилия, надзора («Поэт и цензор»). В это время Купала создает также цикл стихов по фольклорным мотивам «Песни на воинственный лад». 13 апреля 1919 года он просил Эпимах-Шипилло прислать одно из его дореволюционных, не пропущенных цензурой стихотворений «Царю неба и земли». Профессор выполнил просьбу Купали. Это стихотворение, опубликованное поэтом в январе 1920 года в газете «Беларусь», заканчивалось стоном-заклинанием, столь злободневно звучащим в новой ситуации:

*Верни нам Батьковщину, боже,
Коль царь ты неба и земли!*

Батьковщина у Купалы вновь отнята — на этот раз белополяками. О том, что творилось в Минске под их властью, поэт с убийственным сарказмом расскажет в комедии «Здесьние», которую напишет в конце 1922 года. А пока что пафос политической лирики в основном определяли лозунги, на которых строилось, например, майское стихотворение 1920 года «В отлет»:

*Эй, вольные птахи, эй, дети соколы,
Взмывайте за солнцем безоблачным шляхом!
...Вылететь к славе из гибельной плесени
И мир удивить своей пламенной песней.*

В черновом варианте этого стихотворения были и другие призывы. «За славой, за счастьем в народ и с народом!» — звучал один из них. И это «в народ и с народом!» — жизненная и творческая позиция Купалы, выраженная емко и сжато, как формула. Вылететь же «из гибельной плесени» означало у поэта вырваться из неволи, каковой была оккупация, из атмосферы активного предательства, отступничества «белорусских сынов», стряхнуть с себя сонное оцепенение.

Причем «гибельная плесень» — самая страшная для Купалы сила, и ассоциируется она у него не только с белопольской оккупацией. Об этом

свидетельствует публицистика поэта конца 1919 года.

«Воскрешающегося трупа российского самовластья», боялся Купала. Деникин в 1919 году был на вершине своей белогвардейской карьеры: Тула, Орел уже находились в его руках, а на бронепоездах — лозунги: «Даешь Москву!» И Колчак наседал. Наседала со всех сторон контрреволюция, поддерживаемая Антантой.

И вон до каких высот понимания войны и мира поднимался Купала, гневно вопрошающий в статье «Торжище» империалистических заправил Запада: «И куда и к чему ведете вы сегодняшнюю историю, все антанты, антиантанты и вам подобные? Вы развязали мировую войну за свои карманные интересы; а потом, чтобы эту войну продолжить ради все тех же карманных интересов, выбросили лозунг, что воюете за освобождение народов; ну, а дальше, когда стали трещать и падать ваши кровавые троны и короны, что вы сказали? И что вы сделали? Вы оплевали и человека в отдельности и целые народы и ввергли своих недавних рабов в анархию, чтоб и дальше в мутной воде рыбу ловить».

Этого — антиимпериалистического — Купалу мы знаем еще недостаточно, Купалу, чье сердце болело «за те миллионы жертв, что пали за... фальшивые державные фетиши». Статья «Торжище» была самым настоящим вторжением поэта в международную политику, продиктованным необходимостью защитить не только свой край, но и другие «подневольные народы» от оккупации, от империалистических, захватнических устремлений Антанты.

«Как и сто лет назад, — негодовал Купала, — стонут под ярмом поработителей Беларусь, Украина, Армения, Индия и десятки других государств и народов. Ваши слова об освобождении других — это насмешка над бессильными невольниками. Так не бросайте же великих обманных лозунгов... На мякине людей уже не проведешь».

Поэт категорически не приемлет буржуазный Запад — «этих панов-торговцев», эту «грязь и болото», которых, по его мнению, на Востоке и во времена Ивана Грозного не было. Купала здесь уже как бы предчувствовал Рижский договор, который вскоре будет навязан Стране Советов «панамиторговцами», империалистами, Антантой. И со всей силой своей страсти он обрушился на господ империалистов, обвиняя и изобличая их в алчности и лжи на позорном торжище мировой политики.

Купалу, который в конце 1919 года с головой окунулся в большую политику, нетрудно понять, нетрудно увидеть в его поистине величественном антиимпериалистическом пафосе, в глубоком трезвом раздумии. «А что, как Деникин, Колчак одолеют большевиков? — не мог не

тревожиться поэт в промозглом октябрьском Минске. — Что, как, захватив Москву, Деникин двинется на Минск восстанавливать «единую и неделимую»?»

Но пока маячила на горизонте опасность воскрешения «трупа российского самовластья», пока гарцевали на минских улицах польские уланы, Купала неожиданно заболел, и очень тяжело, на целых три месяца слегши в больницу — в Минский земский госпиталь.

2. НА ГРАНИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

20 сентября 1922 года Купала писал в Петроград своему старому адресату Б. И. Эпимах-Шипилло: «Вдобавок ко всему в 1920 г., в январе, меня свалила страшная болезнь: гнойное воспаление слепой кишки (поученому перитонит). Пролежал в больнице, борясь со смертью, три месяца и вышел с искривленной губой и вконец надломленным здоровьем. По правде сказать, побывал на том свете».

Заболел Купала где-то в начале второй декады января, потому что 16-го числа этого месяца в газете «Беларусь» появилось первое сообщение о болезни поэта: «Я. Купала сильно занемог... Врачи рекомендовали операцию, которая и была сделана в Минском земском госпитале и прошла, казалось, хорошо. Но в последнее время состояние Купалы ухудшилось».

Это ухудшение, связанное с воспалением брюшной полости, потребовало нового хирургического вмешательства. «Брюшина от гноя очищена, — писала «Беларусь» на следующий день, 17 января. — Пульс и сердечная деятельность — удовлетворительны; самочувствие — тоже, хотя возможная опасность все еще не исключена. По причине болезни Я. Купала не принимает пищи уже 6-й день. При нем неотлучно находится его жена. В ночь с 15-го на 16-е дежурил до утра ректор римско-католической духовной семинарии ксендз Абрантович. Уход за больным самый теплый и искренний».

Бюллетень о состоянии здоровья Купалы на 17 января содержал еще и такую дополнительную-информацию: «Ночь с 15-го на 16-е провел беспокойно. Несколько раз делали впрыскивания. Температура была пониженной, пульс — 96. К утру состояние немного улучшилось. Температура — 36,1, пульс — 82–84».

Вся общественность Белоруссии с тревогой следила за состоянием здоровья Купалы. Газеты ежедневно публиковали бюллетени. У постели поэта каждую ночь дежурили жена, сестры, и прежде всего Леля, о которой

газеты не упоминали, но которая тоже замирала сердцем над тяжело больным братом.

В бюллетене за 18 января врач Козубович предсказывал Купале выздоровление через три дня, «если процесс заболевания пойдет и дальше в желательном направлении». Но бюллетени продолжали появляться ежедневно вплоть до 28 января. Осложнения болезни были самыми неожиданными. Вот сообщение за 22-е число: «Угроза общего воспаления брюшины миновала. Возникло воспаление возле ушной железы. Сон беспокойный... При больном, как и прежде, находятся ночью его жена и ксендз Абрантович». Бюллетень за 23-е: «22 января температура была повышенной — 38. Воспалительный процесс в ушной железе еще не прошел. Сон в ночь с 21 на 22 января и днем 22 января впервые за все время болезни был хорошим и тихим».

«Впервые» — это действительно где-то после десяти суток беспомысленности, горячечного забытья, тревожного полусна, который мог оборваться в любую минуту...

Он был на грани жизни и смерти, и где явь, где бред, галлюцинации, зачастую не понимал. Рожденный его болезненным состоянием, перед глазами поэта распахивался причудливый мир — то во всех цветах радуги, то как черно-белый мираж, то как черный-черный.

Сон беспокойный... Купала что-то шепчет: тихое — не расслышать, невнятное — не разобрать. Жена стирает и стирает холодный пот с его чела. Незаметно она дотрагивается платочком до его подрагивающих век, и ему кажется, что это кто-то завязывает ему глаза. Не на вечеринке ли он в Беларучах? Как здорово! Он — пророк. Гуляние в разгаре. Глаза у него завязаны. На голову ложится чья-то рука. Ему нужно угадать: хлопца рука или девчины. Он должен пророчить — хлопцу или девчине. Чья, чья же это рука? «Адам, Адам!» — помогает вечеринка. Значит, хлопец, значит, надо пророчить хлопцу. И он «пророчит»:

— Пасти тебе теляток, иметь в дому достаток, сто человек родни, а к девкам так не льни!

Девчата смеются звонко, залиvisto, хлопцы более сдержанно.

А на голове опять рука. Ручка.

— Ева! Ева! — слышатся голоса.

И Ясь «пророчит»:

— А тебе выйти замуж богато, иметь лысого свата, годовалого бычка с телушечкой, сундук огромный с мяконькой подушечкой!

Теперь громче смеются хлопцы, девчата молчат. А кто-то уже развязывает «пророку» глаза и командует: «Подушечку! Подушечку!» —

«Гарбуз»^[36]! Сначала «Гнилой гарбуз»! — хором запротестовала вечеринка.

«Гарбуз» или «Подушечку»?.. «Гарбуз» или «Подушечку»?..

И снова он видит себя молодым, молоденьким — в Селищах. Их семья туда только что переехала, и вот они с Казей выходят за дверь, а Леля, Анця и Геля остаются в хате, в светлице. Так вот, девчата в светлице, и одна из них должна выбрать Яся как своего, а он, чтоб не остаться «гнилым гарбузом», должен догадаться, кто его себе выбрал. Ясь входит в светлицу, и вот он уже не Ясь из Селищей, он и помощник винокура в Яхимовщине, и сотрудник «Нашей нивы», и студент черняевских курсов, и поезжанин; в хате же вовсе уже не его сестренки, а Эмилия из Яхимовщины, пани Мирослава из Дольного Снова, Мария Пеледа, Павлина Меделка, девчата с курсов Черняева, Костка Буйлянка, Владка Станкевичанка. «И кто же из них меня выбрал? — думает Купала. — Кому поклониться, чтоб не ошибиться?!»

Он кланяется Павлине Меделке и чуть не глохнет от голосов:

— Гарбуз гнилой! Гарбуз гнилой!..

— Не выбрала меня, — стонет он тяжело. — Не выбрала...

В глазах его темнеет, темнеет... И вдруг ослепительный свет, он даже заслонился от него рукой. А рядом с Меделкой уже стоит Томаш Гриб — выпрямившийся, говорливый; точь-в-точь таким он видел его в президиуме в декабре 1917-го. В руках Томаша алебарда. Это как раз она и отсвечивает, слепит. А Павлинка, тоже говорливая, не говорит — вещает, указывая на алебарду:

— Вот, видишь, солнце! Вот чем вернем Беларусь, вернем славу.

— Какое солнце? — восклицает Купала.

— Зашло солнце, взошел месяц, — слышит он далекий, давний голос Андриюши. И видит, что месяц не золотой, а черный, и с него, как с лезвия серпа, стекает кровь. Купала закрывает глаза, чтобы не смотреть на все это, но голос Меделки настойчив, настырен:

— Гляди, ты гляди, кто побеждает, кого я любила, выбрала. Он сильный, смелый, мужественный... А ты?

В самом деле, кто он? Рядом с Грибом, рядом еще с каким-то головастым, лысым, усатым, размахивающим газетой и поющим:

*Янки посвист соловьиный
Превратился в шип змеиный,
Да! — змеиный,
Да! — змеиный...*

Но кто это заслоняет и певца, и Гриба, и Меделку? Сам в свитке. Белой-пребелой. И она не спит — озаряет мягким, приятным светом. И голос у Сама тихий, спокойный, глубинный:

— Что-то будет, ибо еще никогда не бывало, чтобы чего-то да не было...

Но какой же это Сам! Это дядька Амброжик из Мочан.

— Не знают, чего хотят, — говорит дядька Амброжик, глядя в глаза Купале. — А ежели ты знаешь, чего хочешь, а хочешь того, что знаешь, и знаешь, что можешь, тогда ты...

«Кто же тогда ты?» — напряженно думает Купала.

— ...Мудрый человек, — улыбается дядька Амброжик.

— Мудрый?! — вслух удивляется Купала. — Я — мудрый! — хочет он крикнуть вслед Павлинке. — Я тоже собираю белорусское войско! И мой голос — только соловьиный! Да, соловьиный... Да, змеиный... для наших общих врагов... да... общих... да... общ... — Голос Купалы как-то надламывается. Да Павлинка и слушать не хочет, запеваает:

*— Ой, пойду я лугом, лугом,
Где мой милый пашет плугом...*

Но что «плугом», Купала уже не слышит, мелодия уходит куда-то вдаль, и ему кажется, то ли «с другом», то ли «кругом» поет Павлинка. И вот — чудеса! — та же мелодия возвращается. Та же мелодия, да не тот голос:

*Что ж ты, милый, грустный ходишь,
На меня взглянуть не хочешь?*

На кого это он не хочет взглянуть? Кто это на него обиделся? И за что? Не за то ли, что он выбрал другую? Но здесь обида не советчица, не помощница. Ах, ему все только снится. Как хорошо. Но и даже во сне он должен ответить. И отвечает — находчиво, той же песней:

*— Я с того грущу-печалюсь,
Что с недоброй женкой маюсь.*

При этом Купала думает, что вот сейчас, как и в день их свадьбы в Москве, она разозлится, сорвет со своего пальчика обручальное колечко и швырнет его в угол. Колечко покатится, покатится и бог весть куда закатится. Они станут его искать, но так и не найдут, как в свой первый вечер в Москве. И будет топотать, топотать Владка, как в Вильно, на сцене, в группе Игната Буйницкого. Однако... Однако Владка даже не обижается, шаловливым звоночком звенит ее голос:

*— Днем ведь брал, не среди ночи,
Где же были твои очи?..*

И смеется, заливается Владка, а вокруг нее хоровод. Лица знакомые и незнакомые. Он становится в этот хоровод, подает руки соседкам и, слегка покачиваясь, медленно плывет — словно в воздухе, вовсе не чувствуя ногами земли. А хоровод молодой, веселый, дружный:

*Подушечки, подушечки, пуховые-перовые,
Молодушки, молодушки, стройные-молодые;
Кого люблю, кого люблю, того поцелую,
Пуховую подушечку тому подарю я.*

Владка, милая Владка в центре круга. Она кланяется ему, Янке, держа в руках подушку. Он принимает подушку. Она у него под головой. Но почему эта подушка такая жесткая?

И тогда появляется перед Купалой шинкарь — черные сверкающие глаза, в черной ермолке, из-под которой свисают длинные, почему-то белые — седые? — пейсы. Шинкарь раз за разом в пояс кланяется перед Купалой и говорит:

— Просим к Абрааму на пиво! Просим к Абрааму на пиво!..

«Какой гостеприимный шинкарь, — думает Купала, — точно у него или Абраама пиво бесплатное... А может, и сходить к Абрааму на пиво... Или пиво с Абраамом не сваришь?.. Идти? Не идти?» И Купала все-таки не решается. Его берет сомнение: так ли уж искренне приглашение шинкаря? Ведь вон как подозрительно блестят, светятся у того глаза. Видимо, живучие, потому и светятся. Купала никогда не думал, что черное может

светиться, да еще в черном сне!

— Брось! — выкрикивает Купала. А глаза шинкаря как провалились в глазницы и стали знакомыми-знакомыми... Да это ж Лука Ипполитович на него косоурится!.. Купала не знает, куда деваться от пронизывающего все его существо взгляда, и вновь просыпается в обильном поту, трет, протирает горячие, тревожные глаза...

Последнее сообщение о состоянии здоровья поэта в газете «Беларусь» появилось 23 марта 1920 года. В нем говорилось: «Янка Купала выписался из госпиталя и приехал на свою квартиру 20 марта. Но чувствует себя пока что слабо и еще не может приступить к своей литературной работе».

3. «ДА НАЧАТЬСЯ ПЕСНЕ ТОЙ СОВРЕМЕННЫМ ЛАДОМ...»

По приезде из Смоленска в Минск поэт сразу же включился в активную работу по культурному строительству, становясь политическим деятелем, писателем нового типа — советского. Поначалу он занимал должность библиотекаря в созданном при Комиссариате просвещения Народном доме. С 1921 года поэт работает уже в белорусской научно-терминологической комиссии, являясь одновременно заведующим литературно-художественной секцией литературно-научного отдела Наркомпроса. Как заведующий секцией, занимается и издательскими делами, становится членом научно-литературной коллегии Наркомпроса. Когда эту коллегию преобразовали в научно-редакционную комиссию, ее возглавил Янка Купала. В январе 1921 года состоялось совещание работников просвещения и культуры, на котором обсуждался вопрос о создании Института белорусской культуры. На совещании была избрана комиссия, в которую вошел и Купала, становясь, таким образом, одним из создателей Инбелкульта, а это значит, и Академии наук БССР, в которую Инбелкульт затем перерос.

Что стояло за работой в научно-терминологической комиссии? В результате этой работы по-белорусски заговорили Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Ленин, обрел свои права белорусский язык в политэкономии, физике, химии, математике. С Купалой советовались, Купалу слушались. Он был авторитетом. Заседания терминологической комиссии, чуть ли не каждое, затягивались до поздней ночи. Ведь не так-то легко выверить все термины, чтобы народ воспринял их органично, чтоб они не выглядели в родном языке чужеродными. Чего-чего, а споров тут хватало: сталкивались самые разные мнения, порой взаимоисключающие — не до примирения.

Один предлагал одно, другой — другое, третий — снова что-нибудь свое. Пуританизму сопутствовал обыкновенный провинциализм, самоуверенному левачеству, апломбу — отстаивание той самобытности, которая в действительности оборачивалась эстетической глухотой к слову, явным непониманием народного духа. Зонтик вдруг объявлялся «растопырником», галоши — «мокроступами». Или конус предлагалось называть «стожком». Ах, как по-селянски, по-белорусски! Дошло даже до того, что кто-то из неисправимых новаторов настаивал на замене слова «революция» словом «пярэздры» — от «распрей», «раздора».

Купала решительно восставал против насилия над языком. Но послушаем самого поэта, что означала для него работа в Инбелкульте. 4 ноября 1924 года он писал в газете «Советская Белоруссия»: «Работая в Институте белорусской культуры несколько лет, я убедился, что это такое научно-общественное учреждение, без которого нормальное развитие белорусской культуры во всех ее сферах невозможно. Инбелкульт является тем центром, вокруг которого объединены едва ли не все лучшие белорусские научные и литературные работники, приносившие и особенно теперь — в связи с белоруссизацией — приносящие незаменимую пользу, проводя в широкие белорусские массы культурно-просветительские задания Советской власти».

«Белоруссизация» была также новым словом, рожденным революцией, осуществлением в Белоруссии ленинской национальной политики. Культурное возрождение Белоруссии, как и все в стране, поддерживалось и направлялось партией, им руководили органы Советской власти, но его душою, авторитетом, одним из самых признанных был, понятно же, Янка Купала — в постоянных заботах, в связях со всеми, кто в работе, в спорах с ними, несогласии и согласии...

И вот когда еще раз поэт вспомнил Мысавского, говорившего, что язычник — он, Купала, — должен писать как язычник, как автор «Слова о полку Игореве». Купала погружается в «Слово». Его захватывает идея произведения — призыв к единению, политическому и моральному, перед опасностью извне, апофеоз любви к русской земле, к Родине. Прозаический перевод Купалу не удовлетворяет, и он почти два года — с 30 октября 1919-го по 5 сентября 1920-го — работает над переводом стихотворным. «Я так сжился с произведением, — говорил поэт после, — что, сделав перевод, как бы почувствовал себя соавтором «Слова».

В то же время Купала всей душой стремился сжиться не только со «Словом». Параллельно он переводит «Интернационал» Эжена Потье. Газета «Звезда» сообщала: «Известный белорусский поэт Янка Купала

перевел на белорусский язык «Интернационал». Перевод не будет напечатан, пока переводчик не сверит его с французским оригиналом». Знание Владиславой Францевной французского языка оказалось как нельзя кстати. И вот 20 июля 1921 года «Интернационал» появился в газете «Советская Белоруссия» («Савецкая Беларусь»).

С причастия поэтичностью, кровностью «Слова о полку Игореве», с причастия революционным духом «Интернационала» — вот с чего суждено было начаться песням Купалы «современного лада». И они начались. 14 августа 1921 года в «Советской Белоруссии» поэт опубликовал стихотворение «На смерть Степана Булата» — на безвременную смерть коммуниста:

*Солнце за косы хватая,
Думал думу — звал перуна
Пробудить решимость края... —
Снись товарищу, Коммуна!
...И восстанет в славе буйной.
Зазвонит золотострунно
Край родной одной коммуной...
— Снись товарищу, Коммуна!*

«Перун», «буйная слава» — явная перекличка с образами «Слова о полку Игореве». Утверждение торжества Коммуны, уверенность во всераскрепощающей сущности революции, в ее обновлении человечества, вообще вся интонация стихотворения — отголос «Интернационала». Именно на стыке древнейшего славянского и пролетарско-революционного начал и рождался новый Купала, новый взгляд поэта на вековечное белорусское поле.

Это и в самом деле знаменательно: стихотворение «На смерть Степана Булата» написано не где-нибудь, а в Окопах, на тех же тропах, где год тому назад Купала напряженно искал нового героя, настоящего буй-тура Всеволода. Тогда увидеть его из Окопов Купала не мог, потому что этот яр-тур Всеволод — истинный герой нового дня — находился в оккупированном Минске в подполье. (Степан Булат — уроженец деревни Слобода-Пырешево Игуменского уезда, учитель народной школы, солдат, большевик, после — редактор газеты «Советская Белоруссия», секретарь ЦБ КП (б) Б, заведующий отделом агитации и пропаганды.) Безвременная смерть 27-летнего Степана Булата глубоко потрясла Купалу. Сколько раз

они лицом к лицу встречались в уже освобожденном Минске — в редакциях, в Центральном Бюро, на улице. Но вот же вышло так, что героя эпохи в этом молодом человеке поэт отчетливо увидел только после его смерти, увидел отсюда, с окоповских холмов, чтобы две недели спустя после похорон борца-коммуниста сложить о нем бессмертную песню-реквием:

— *Снись товарищу, Коммуна!*

Эта песня-реквием одновременно как бы роднила Купалу с мечтами и делами живых коммунистов.

В 1920 году в Минске поэт сменил место своего жительства, и теперь его новым адресом стала улица Захарьевская. Поселился же Купала в доме номер 135. Да, в том самом доме, в котором когда-то проживал железнодорожник Румянцев и в котором в 1898 году проходил I съезд РСДРП. В народе испокон веков говорят: дома и стены помогают. Помогали они и Купале, эти исторические стены дома на Захарьевской, в котором поэт жил, когда переводил на белорусский язык гимн коммунистов «Интернационал». Вопреки известной пословице место красило человека. Место как бы окрыляло купаловский дух, подсказывало поэту новое миропонимание, новые слова и образы.

Но в пересечении жизненного пути Купалы с историческим путем партии впечатляет и заслуживает большего внимания в нашем разговоре не только этот, в какой-то мере случайный сбег обстоятельств, а другое, именно то, что партия большевиков после установления Советской власти в Минске стала для поэта поистине его заботливой матерью, охранительницей сердечного тепла и света в его доме. Да, тепла и света. Ведь в 1920–1921 годах Минск оставался еще холодным и темным ночным городом, городом чадящих буржук, коптящих керосинок. И сегодня нельзя без душевного волнения перелистывать свидетельства, выданные Купале правительственными учреждениями, например, «на предмет льготного пользования электрическим светом», да ко всему «тремя электрическими лампочками по 25 свечей каждая», справок в Соцобес наподобие этой: «... Наркомпрос просит выдать одни новые сапоги известному белорусскому писателю Янке Купале (Ивану Луцевичу)». И тут же Наркомпрос добавляет, что поэт в сапогах «сильно нуждается». А вот тот же Наркомпрос ходатайствует «об отпуске из Центрбелсоюза известному белорусскому писателю Янке Купале, находящемуся сейчас в научной

командировке, в Минском уезде, 3000 штук 1 сорта папирос и 2 фунта табака».

А с каким вниманием и уважением относились к поэту газеты и издатели! «Советская Белоруссия» сообщала, например, 27 января 1921 года о постановлении Госиздата БССР издать избранные произведения Янки Купалы, называя это постановление «самым интересным» событием последних дней. Причем о Купале говорилось как о поэте, который «пользуется славой «белорусского Пушкина». И конечно же, Купала знал (не мог не сказать ему об этом Тишка Гартный, которому издательство поручило вступить с поэтом в переговоры), что в постановлении записано: издать его избранные сочинения в самом срочном порядке в «изящной форме», на хорошей бумаге, в художественном оформлении и в количестве 10 тысяч экземпляров. Это была реальная, действительно заинтересованная забота новой власти о Поэте, о судьбе его песни.

Да только ли о нем одном! По делам службы Купала в начале 1923 года составлял акт о вышедших в республике книгах на белорусском языке. Сердце его не могло не наполниться радостью, когда он, подводя итоги за 1922 год, писал собственной рукой: «Вообще выпущено 268 050 экземпляров книг объемом в 2 036 527 печатных листов... Около трех вагонов белорусских изданий». Приводимые астрономические цифры могли показаться тогдашнему рядовому читателю абстрактными, потому поэт и переходил на язык конкретных представлений: «около трех вагонов». Вот это объемно, неожиданно, здорово! «...Эти сотни тысяч книг, — рассуждал далее Купала, — рассыплются по всей Беларуси, чтоб учить народ, будить белорусскую придремавшую думку к светлой, радостной национальной и общечеловеческой жизни». И вот какой вывод делал поэт, стремясь довести его до разума и сердца каждого белоруса: «И следует нам помнить, что эта большая культурная и творческая белорусская работа, которую мы смогли проделать в прошлом году, проделана в Беларуси Советской и при помощи Власти Советской». Это были искренние, в сердце выношенные слова благодарности власти Советов, которая только-только установилась на родной поэту земле, а уже так много сделала для его народа, для его Батьковщины.

Но представлять Купалу того времени только ликующим, ничем не омраченным тоже неправильно, тем более Купалу 1921 года, когда Рижский договор снова располовинил Белоруссию. Контрольная полоса государственной границы прошла через самый Замэчек — через первый купаловский курган, через древнюю стоянку далеких купаловских предков, ту самую, относящуюся ко второму столетию нашей эры. По ту сторону

осталась Вязинка, хата, в которой поэт родился. Купала тяжело переживал эту величайшую несправедливость, это надругательство, которое империализм учинил над его землей, поправ исторические границы Белоруссии, вынудив молодую Страну Советов, как и во время Брестского мира, пойти на горький компромисс.

Сказывалась на душевном самочувствии Купалы и вся та скверна, с которой он столкнулся в дни белопольской оккупации. Она продолжала тревожить его, гневить. Поэт уже попытался начать свою песню «современным ладом»; теперь «современным ладом» он задумал написать драму, а точнее комедию.

Над комедией «Здешние» («Тутэйшыя»), как над многими своими произведениями, Купала снова работал в Окопах. Закончил он комедию 31 августа 1922 года. Ровно год тому назад — тоже в августе — поэт, мы помним, написал здесь величественное стихотворение-реквием, посвященное Степану Булату как новому герою новой эпохи. И вот сейчас Купалу, поэта и драматурга, обступают в тех же Окопах тени старого мира, его обломки: Пан, Исправник, Поп, Дама, Оборванец. Они лица безымянные, каждое — гротескное воплощение определенного социального состояния. Но ряд героев имена имеет: из положительных — Янка Здольник, крестьянин Левон Горошка, его дочь Аленка; из отрицательных — Никита Сносак (он же — Никитий Сносилов, Никитиуш Сносиловский), Генрих Мотович Спичини, Настя Побегунская, Восточный Ученый и Западный Ученый. Все происходит в Минске: первое действие — в феврале, второе — в декабре 1918 года, третье — в июле 1919-го, четвертое — в июне 1920-го. События июля 1919-го, июня 1920-го Купала видел собственными глазами. Но вполне мог представить, каким был старый, мещанский Минск в феврале — декабре 1918 года — с началом кайзеровской оккупации, с концом ее. Второе действие драматург разворачивал в самом центре дореволюционного города — на Кафедральной площади, куда он когда-то мальцом прибегал из Александровского переулка и которую в круговерти переходного времени красноречиво окрестили «Брехалкой». Иными словами, на фоне всех шести соборов и костелов этой площади, да еще с домом губернатора, создается диковинное зрелище, рассчитанное на самую широкую уличную толпу, зрелище, где призраки прошлого мечтают вернуть это прошлое, занять прежнюю силу, власть, привилегии. Гротеск, шарж, сатира, ирония — все пущено автором в ход, все в пьесе заострено, скособочено, преувеличено, как в зеркалах комнаты смеха.

Пьеса «Здешние» была вместе с тем и самым болевым, что ли,

произведением Купалы, самым главным в его непрерывных заботах о будущем Батьковщины. Потому и нетрудно услышать в этой пьесе отголоски почти всех прежних ведущих мотивов купаловского творчества и, в частности, свадьбы, поезжанства, национальной темноты, по черным углам которой плесенью вызревает человеческое ничтожество. О своей свадьбе с Аленкой Янка Здольник говорит, что они ее «отложили до той поры, когда последний оккупант от нас уйдет; ведь при них веселье не веселье». Поезжанином у себя дома приходится быть все время Левону Горошке, которого, по словам его дочери Аленки, в разные обозы «сперва одни гнали, после — другие, затем — снова те самые, потом — опять другие, а там, дальше, и неизвестно кто гонит и куда гонит». От этой неизвестности болела душа у Янки Здольника, у Аленки, у Левона Горошки. И у самого Янки Купалы. Ведь все-таки шел уже 1922 год, пятый год революции, а неясного оставалось еще немало. Большим оптимистом был Никита Сносок, который так или иначе держался на поверхности в самых разных политических ситуациях и которому уверенности придавала его нехитрая философия:

*Беларусь, моя сторонка,
Угол темноты,
Живет Шило, Гриб, Мамонька —
Будешь жить и ты, меджду протчим.*

Для Никиты Сносака все в жизни действительно «меджду протчим»: и Беларусь, и царь, и Советская власть, и кайзеровская или белопольская оккупация... Кто Гриб, мы знаем. А Мамонька — притча во языцех в тогдашнем Минске, безграмотный солдафон, у которого, однако, апломб и карьеристского зуда не меньше, чем у самого Вацлава Ласовского; в этом они друг друга стоили: Ласовский и ввел эту никчемность в свой кабинет министров БНР.

Никита Сносок, как выясняется в финале, не только ренегат, не просто «разноситель» бумаг при «Комиссариате полиции мяста Минска», а самый настоящий доносчик при том же «комиссариате». Мотивом веселит, неновой, но обновленной бурным временем песни кончается карьера Сносака:

*Ой ты, яблочко,
Куда котишься?*

*Не туда попадешь —
Не воротисься...*

Это пела сама революция.

На генеральной репетиции Купала еще раз убедился, что пьеса получилась. В его ушах звучал дружный смех присутствующих, в глазах прищуренных продолжали под звуки дореволюционной шарманки танцевать свой фантастический танец тени, но уже алели красные стяги, что, колыхаясь в походном, широком и мерном ритме большой громады, теснили призраки прошлого и занимали собою всю сцену...

4. ПЕСНЯР РЕВОЛЮЦИОННОЙ РАДОСТИ

...Как хорошо они идут в литературу! Купала радовался за молодых. Купала вспоминал свое вхождение в нее, вспоминал дом на Губернаторской улице, дверь с замысловатой железной оковкой — то ли с цветами стилизованными, то ли с месяцами серповидными: и молодыми, и на ущербе. «Колосья под серпом твоим...» Из какого это псалма или притчи? Нет, они, молодняковцы^[37], не колосья под чьим-то серпом. Серп в их руках! Купала, радуясь, писал:

*Вам серпы и косы в руки
Да мечи из твердой стали
Дали бури, завирухи,
Что тут выли, бушевали.*

Это психологически очень убедительно, достоверно, что радость нового, советского Купалы началась именно с радости за молодежь, за смену, за тех, у кого в руках будущее. И свою первую песню радости поэт сложил о молодых, прославляя их путь, победу революции, обновленный родной край. О молодом поколении, воплощенном в собирательном образе орлят, мы вправе говорить как о первом положительном гербе советского Купалы. В «белорусском буйном поле» витязями полегли Степаны Булаты, чтобы солнце революции взошло. Горе всегда есть горе. Нужно время, чтобы оно забылось, чтобы веселая, гордая песня окрылела снова. Не

потому ли и разделяют надмогильный реквием «На смерть Степана Булата» и звонко-песенное, гимну подобное стихотворение «Орлятам» целых два года?..

Человек, любивший и славивший зарю, в зоревые 20-е годы Купала чувствовал себя в их стихии как рыба в воде. Минск был его Минском. Тот Минск, в который возвращалась с гражданской войны молодежь — Михась Чарот, Владимир Дубовка, Михась Зарецкий, Кондрат Крапива... С ними поэт и сам молодец душою. «Я их всех люблю», — напишет он в одном из писем того времени. И это была суцкая правда. Приход молодых в литературу всегда воспринимался им как праздник. И чем больше старится Купала, тем сильнее в нем это ощущение праздника, тем пристальнее он присматривается к пополнению, как бы желая предугадать и судьбу каждого вновь посвященного, и будущее всей родной литературы.

Самый первый очаг белорусской культуры возник в Минске в начале 20-х годов не где-нибудь в центре, скажем, на бывшей Подгорной с ее бывшим Дворянским собранием, а вблизи окраинной Комаровки. И назывался он просто, демократично — «Белорусская хатка». Самым желанным гостем «Хатки» был Купала. Особую же симпатию поэта вызывал тут Владимир Васильевич Теравский — страстно влюбленный в родную песню музыкант, композитор, руководитель хора. Пел в хоре Теравского и, немного форсистый, кучерявый Михась Чарот — родом из городка Руденска, минский подпольщик, участник гражданской войны. Это как раз для артистов «Белорусской хатки» Михась Чарот написал либретто сценического представления «На Купалье», а музыку к нему сочинил сам Теравский. И вот уже не в тесной хатке, а на весеннем приволье, на зеленом лоне пойменного луга, под соснами, там, где Свислочь медленно вливается в Минск, шло в 1921 году это первое большое представление — всенародное, карнавальное, с танцами, с песнями купальскими о поиске цветка папоротника. Не в честь ли и самого Янки Купалы, столь горячо любимого ими, сложили Чарот и Теравский свое «На Купалье»?..

Приходя в «Белорусскую хатку», поэт обычно пристраивался где-нибудь на краю скамьи, ибо только длинные скамьи и стояли в этом барачном строении, опирался на свой неразлучный киек — подбородок на бугры положенных одна на другую рук — и слушал:

Ой, рано — на Ивана-а-а...

Ой, рано — на Ивана-а-а...

Глаза Купалы горели. «Будут у нас и свои композиторы, и артисты будут...» — повторял он.

Для молодых энтузиастов «Белорусской хатки» Янка Купала был «стариком». А какой же он «старик», когда-ему лишь сорок? Но сколько они вобрали в себя, эти его сорок! Купала из-за той черты, за которой остался другой мир. Купала старше «хатковцев» на целую революцию, и не одну. Революция 1905 года воспринималась молодежью начала 20-х уже как далекая история, даже чуть ли не как предыстория. Вот и получалось: Купала — человек предыстории. Сам поэт находил естественным и нормальным, что молодые видят в нем «старика». Они называли его на тогдашний лад «дядькой Янкой», а считали своим отцом. Счастье или несчастье — быть в сорок лет Нестором литературы? Видимо, счастье. Во всяком случае, Купала зоревых 20-х годов считал это большим счастьем. Кто из входивших тогда в литературу не чувствовал поддержки «дядьки Янки»!..

Свою очень коротенькую автобиографию 1926 года Михась Чарот заканчивал так: «В произведениях своих никогда не грущу. Молодняковец». За это «никогда не грущу» Купала очень любил Чарота, которого ласково, по-отечески называл Михаськой и, где бы ни встретил — на улице, в сквере, в штабе «Молодняка», занимавшем тесную комнатку, — всегда обнимал его, целовал.

Не меньше он любил и другого Михаську, Зарецкого, высокорослого, белокурого, как Сергей Полуян, стройного, с выправкой вчерашнего командира Красной Армии, романтика по натуре, напористого.

Был и третий Михал, которого Купала в хорошем настроении обычно приветствовал восклицанием: «А, Гром-Громько! Гжим-Гжимайла!» Михайло Громько преподавал в университете. Первые стихи написал еще до империалистической войны в Женеве, где учился, чтобы стать одним из первых белорусских ученых-кристаллографов и открывателей полесской нефти. В 1923 году Михайло Громько уже известен как автор нашумевшей тогда поэмы «Глумление над формой». Работал он и в жанре драматургии, что еще теснее сближало с ним Купалу.

Отношения Янки Купалы с новой генерацией писателей были поистине дружескими, самыми теплыми. Поэт всех, без исключения приглашал в свой дом, провозгласив принцип открытых дверей. Он и сам с готовностью откликался на приглашения молодых. В страшное смущение вверх свою мать молодой Владимир Жилка, когда голодной весной 1919 года привел в дом Купалу. Та единственно и смогла поставить на стол блины из жмыха. «Ничего, время теперь такое», — говорил Купала

растерянной женщине и нахваливал блины. А вот Купала пришел на свадьбу к Михайло Громыке: «Яночка положил на стол двенадцать большущих яблок и при этом дал своим приятно-басовитым голосом «отцовский» наказ: «Чтобы деток столько же!» Деток, орлят родной литературы ждал, приветствовал Янка Купала.

Революционную радость, которую поэт проявлял в первой половине двадцатых годов, можно с полным правом назвать державной радостью, ибо прежде всего это была радость за белорусскую советскую державу, радость ее достойного гражданина, и мыслившего и чувствовавшего по-державному.

Революционная радость Купалы была одновременно и гордостью поэта за революцию, за новую Беларусь, ее молодежь. Эта гордость уже отчетливо слышалась в призывных строках, обращенных к «орлятам»; она с большей силой прозвучала в стихотворении «Позвали вас...», написанном по случаю приглашения Страны Советов за «круглый стол» переговоров в Женеву. Символика в этом стихотворении чисто купаловская, романтическая, необычная. Но не она в нем покоряет — покоряет правда сложного, неоднозначного чувства: гордость за великую революцию, вера в ее силу и торжество соседствуют в стихотворении с тревожным раздумьем над темными явлениями жизни, порожденными нэпом и вызывающими осуждение поэта.

Революционная радость Купалы была радостью полной: ведь он всем сердцем поверил, что последнее лихо сплывет с его земли с дымом последних пожаров гражданской войны, ведь он видел желанное обновление своего края:

*Нивы родимые — в алых
Цветах небывалых.*

Произошло первое укрупнение Белоруссии; с невиданным ранее размахом велось хозяйственное и культурное строительство. Понимая, что все это — дары победоносной революции, результат политики большевиков, перспектива, от которой дух захватывает, Купала и создавал одно из прекраснейших произведений советского периода — поэму «Неназванное»:

*В красный кут Беларусь
Села в своей хате —*

*Кубок с медом возле уст,
Смелость во взгляде.*

*Горделивая — сама
Тут себе хозяйка...*

Наконец! Беларусь не поезжанка, не на горькой свадьбе, заблудившейся во вьюгах-завирухах, а хозяйка в собственном доме.

*— Из селян, из мужиков,
А как вышла в люди!*

Революция вывела Беларусь «в люди», и этому радовался поэт.

А ведь для былой, горемычной и сермяжной Беларуси революция — сила неназванная, безымянная; эта «спящая красавица» воспринимала революцию даже не как «веселого жениха» (характерный образ купаловской поэзии), а как что-то неопределенно-личное. Оно! И вот это неопределенно-личное «оно» поначалу «шелестело очень несмело», потом «лизнуло оконце тихо, как солнце», потом «подняло голосочек, точно звоночек», а потом стало «гомоном... вольным, зовущим, к сердцу идущим»...

«Неназванное» — гимн революции, воплощенной в поэме в образе «огнецвета», пламени. И

*Не взять руками голыми
Живое это полымя, —*

утверждал поэт.

В «Неназванном» Купалой преодолевался взгляд на революцию как на силу разрушительную:

*Мосты в былое взорваны,
Разбиты цепи в прах.
Подстепие опорное
Легло под новый флаг.*

*И новый дом возводится
На лад совсем иной...*

Радость поэта стремительно нарастает, и вот ее апогей:

Сами в лужу сели сразу
Те, что вольный люд —
Не скупилась! — грязной грязью
Обливали тут...

Мы — хозяева и сами
Всё свершим сполна,
Молотами и серпами
Звеним дотемна.

Восьмая, девятая и десятая части поэмы — застолье молодой Советской Белоруссии, не бесшабашно-веселое, а раздумчивое, озабоченное. За этим застольем поэт поднимается с четырьмя речами-обращениями. Первая: «Зовем опоздавших — придите!» Вторая: «Нужно славу дальше... светозарными огнями вышить, чтоб в столетьях не пропала». Ибо «жаждет враг с упорством злостным, чтоб на миг остановились мы в своем походе звездном». Третье слово поэта о том, что «еще не вся работа сделана» и, главное, еще «стонут, мучаются... братья» за кордоном, на отторгнутой части родной земли. «Одни падут напрасной жертвою, и ненапрасною — другие». Это больно. Но, как всегда, через тернии — к звездам! И четвертая речь — в ней сознание мощи, правоты революции, сознание того, что «потомок... наш... не будет пить из недопитых чаш», что этому потомку мы (то есть сам поэт, его современники) «к счастью торный путь оставим — сумел бы лишь идти», «оставим песнь освобожденья и вольный отчий край». Должны оставить, иначе не будем достойны высокой радости, которой судьба нас одарила, светлого будущего, ключи от которого нам вручила сама история. В этом Купала был уверен.

В середине 1925 года отмечались целых три купаловских даты: 28 мая — двадцатилетие со времени опубликования стихотворения «Мужик», 10 июня — принятие «Постановления Совета Народных Комиссаров

Белорусской Советской Социалистической Республики о присвоении Янке Купале почетного звания Белорусского народного поэта»; 25 июня — день рождения Ивана Доминиковича. «Советская Белоруссия» еще задолго до первой даты начала публиковать поступающие в адрес юбиляра приветствия. Уже 19 мая Купала вынимал из своего почтового ящика на улице Октябрьской, 36а номер газеты с поздравлениями журналов «Просвещение» («Асвета») и «Белорусский пионер» («Беларускі піянер»). В последующие дни и другие газеты запестрели телеграммами. 23 мая Купалу поздравлял Председатель ЦИК БССР и СССР А. Г. Червяков; 24-го из Москвы слали приветствие находившиеся там в командировке Тишка Гартный и Михась Чарот, из Ленинграда — Б. И. Эпимах-Шипилло, из Кисловодска — поэты Анатолий Вольный и Алесь Гурло. Из Харькова — тогдашней столицы Украины — поздравляли редакции журналов «Нова книга», «Селянські Будинок», «Червоний шлях». Телеграммы шли от самых различных учреждений: из Москвы — от Белорусской театральной студии, из Горы-Горок — от научного общества при тамошнем сельскохозяйственном институте, из Борисова — от коллектива белорусского педагогического техникума...

Перерыв в телеграммах был где-то с 25 по 30 мая, но зато в этом промежутке, 28-го, состоялось торжественное заседание литературной секции Инбелкульта, которое, как сообщала 1 июня «Советская Белоруссия», «все прошло в атмосфере искренней товарищеской теплоты и уважения».

...Доклады были фундаментальными. Профессора Белорусского госуниверситета Пиотуховича сменил на трибуне профессор Марков, Маркова — Максим Борецкий. Прекрасный прозаик и тонкий исследователь литературы, известный Купале еще с Вильно, он и внес в чисто академическое, казалось бы, заседание тот самый трогательный лиризм, под знаком которого и прошло все торжество.

Купала, понятно, в президиуме. Максим Борецкий, объявив, что в зале присутствуют мать поэта и жена, стал приглашать их в президиум. Бенигна Ивановна встала, Владка встала, и обе, растерянные, кланяясь, улыбаясь, перебрались с последнего ряда, где намеревались тихонько пересидеть торжество, в передний ряд. Это Владка настояла, чтобы Бенигна Ивановна пошла на чествование сына. Но если бы мать знала, что ей доведется вот так, через весь зал проходить под столькими взглядами, она ни за что не согласилась бы идти в этот малопонятный ей Инбелкульт. Владке — ей к аплодисментам не привыкать, и она легко и быстро справилась со своим смущением. А Мать Поэта! Что творилось в ее сердце! Она не была и уже

никогда больше не будет на глазах у стольких людей одновременно. «Атмосфера... теплоты и уважения». Таковой она была на торжестве в Инбелкульте 28 мая 1925 года прежде всего потому, что в зале присутствовала Мать Поэта. И еще, пожалуй, потому, что здесь звучало искреннее поэтическое слово. Стихотворение, посвященное Купале, читал Михайло Громько, сказку «Ночь, когда цветет папоротник» своим протяжно-дрожащим голосом — Якуб Колас. Героем сказки был Юноша. «Как известно, — овладевал вниманием зала Колас, — герои сказок весьма часто появляются на свет в результате тех или иных необыкновенных событий или же чем-нибудь необыкновенным отличаются от других. Наш герой ничем таким не выделялся. Родители его были обыкновенные здешние люди. Но разве что необыкновенным было то, что хлопчик родился летом, в ту пору, когда расцветает папоротник, или близко к ней. И даже имя он дал себе сам — имя той ночи, когда цветет папоротник...» Купала, слушая Коласа, нет-нет да и улыбался чуть заметно, краешком губ. А Колас смотрел в зал и вел свою речь дальше: «...Сей маленький штришок в жизни нашего героя, казалось бы, сам по себе не имел большого значения. Но это не так... Порою самое маленькое находится в близкой и тесной связи с самым великим. Нужно только уметь отыскать место их стыка». Лучше сказать о величии Купалы как песняре простого мужика, видимо, трудно было в этом зале. О умение «состыковать» в своем творчестве «маленькую» обыденную жизнь народа с его «великим» историческим бытием! Ты произошло все-таки не без чудес, не без сказок-фантазий, сложенных здешними людьми. И Колас повествует уже о сходке, собравшейся по случаю рождения Юноши. А пришли на эту сходку русалки, леший, вурдалак, водяной, домовый, призраки и волшебники разных мастей. Очень понравился им Юноша, давший себе имя ночи, когда расцветает папоротник.

«— Кто чем хочет порадовать Юношу? — спросил леший.

Русалки сказали:

— Мы научим его петь прекрасные песни, потому что песни нужны человеку во всех случаях жизни. С песнями жить на свете легче...

— И про нас он песню сложит, — добавила одна русалка».

Произнося эту фразу, Колас чуть задержал свой взгляд на Владиславе Францевне, и зал понял, заулыбался.

«— А я пойду с ним «Дорогой жизни», — говорил месяцик, — буду путь освещать, дабы легче ему было пробиваться к цели. В пути же он встретится с милой «Павлинкой»...»

Может, вменив в этот момент, может, чуть раньше или позже в зал

тихонько вошла Павлина Меделка. Но ни президиум, ни заслушавшийся зал не заметили ее появления. Только добрых восходов солнца продолжало желать Купале сказочное коласовское Солнце. И даже понурый вурдалак одаривал Юношу «словами гнева и возмущения, чтобы молотом били они по струнам сердца того, кто продает отчизну». А волшебник вещал: «Я дам ему голое вечевого колокола»; звезды обещали: «А мы сплетем венки его песням из утренних рос и семицветных радуг». И леший расщедрился: «Я дам ему силу и твердость граба, чтобы Юноша до конца был верным своему народу». Леший не скупился: «Я овею его песни шумом боров. Их украшением будет мудрость вековечных дубов. И он оставит народу великое «Наследство»!..»

О силе и твердости граба коласовская сказка упоминала мельком, и никто 28 мая 1925 года в зале заседаний Инбелкульта не догадывался, что в недалеком будущем Купале очень понадобятся и сила и твердость.

...Павлину Меделку поэт не узнал. Ему еще не было известно, что она в Минске, что как раз 20 мая пересекла границу Латвия — БССР, что всю его юбилейную прессу читает. На торжество в Инбелкульт Меделка немного опоздала, и что это она вошла (подобно тому, как некогда он входил — с опозданием — в Белый зал), из президиума не разобрать. Когда же после заседания Павлинка подошла к ним в многолюдном, шумном коридоре, первой Меделку узнала Владка.

— Это же Павлинка! — воскликнула она. — Глянь, Яночка, — Павлинка!..

Они вот так близко не виделись девять лет — с Полоцка, с 1916 года, когда Меделка приезжала к молодоженам Луцевичам из Минска, еще не зная, что Купала женат. Но в памяти поэта глубоко сидел облик не полоцкой, чересчур говорливой, подчеркнута деловой Павлины Викентьевны, как и не той — мимолетной, возле Томаша Гриба, на съезде 1919 года, а его «долгожданной» — Павлинки петербургской, Павлинки виленской, той стройненькой, как былиночка, пугливой, как лань, недоступной, с гордо поднятой красивой головкой. Невинное дитя пущанских недр — где ты! Теперь лицо Павлинки посерело, темные глаза округлились, погрустнели. Появились морщинки, они стали особенно заметными, когда Меделка заулыбалась.

— Идем к нам, только к нам! — говорил Купала.

Владка обнимала Павлинку, они целовались:

— К нам, к нам!..

Новостей у Меделки не на один вечер. Купале даже трудно поверить, что все, о чем рассказывала Павлинка, она пережила — такая все-таки

маленькая, щупленькая, одни глаза да еще дымящая папироска в тонких длинных пальцах. В Минске их с Томашом арестовали легионеры. Нашли у них много денег — партийных. Обоих чуть не расстреляли в Ваньковском лесу. Вывезли из Минска последним эшеленом. Друзья Томаша, двое, сбежали из вагона где-то возле Столбцов, а сам он побоялся. «Журавинку свою, — говорила Павлинка, — это он меня так называл — не рискнул оставить одну». В Польше, в Варшаве, их разлучили. Ее повезли через Познань в концлагерь Вронки. После выхода из Вронок жила одно время в Лодзи, затем — в Кракове, Вильно. Перебралась в Каунас, оттуда — в Латвию, в Даугавпилс, где стала работать учительницей в белорусской гимназии.

Купалу больше всего интересовало Вильно.

— Владимир Иванович Самойло, — рассказывала Меделка, — развернул там самую активную деятельность. А «мамочки»! — удачно сымитировала Павлинка самоейловский голос. — Ты не поверишь, Яночка. Владимир Иванович, называвший себя общерусским человеком, теперь прекрасно пишет по-белорусски. А какой полемист! Два года назад он выпустил брошюру, направленную против «Wyzwolenia». Эта польская буржуазная партия тщится представлять интересы селянства Польши, в том числе и белорусского. Польский министр Скульский, который имел наглость заявить, что через 50 лет на «кресах восточных» белорусами и не запахнет, не знал, куда деваться, — так его отчихвости Самойло.

Купале не терпелось услышать и о Брониславе Тарашкевиче, о деятельности белорусского посольского клуба в польском сейме. С Тарашкевичем встреча у Меделки была очень короткой — на конспиративной, засекреченной квартире. Тарас, как называли Тарашкевича друзья, был недоволен, что Меделка пришла к нему.

Узнал поэт от Павлинки и подробности последних дней Ивана Лапкевича. Умер как поезжанин в Закопане. За год до смерти, еще в Вильно, Иван отписал весь свой музей общественности. Когда Павлинка сказала об этом, Купала резко поднял голову и стал как-то пристально-пристально смотреть на Меделку: он сейчас в душе раскаивался, что когда-то не однажды хаял Ивана, видя в нем хапугу-загребалу. Зря, выходит, оскорблял...

— Антон Лапкевич, как и прежде, великий книжник, — выкладывала новости Павлинка, — у него можно все найти, что печатается в БССР. Видела и твои книги, и книги Коласа — с вашими автографами. В Вильно хорошо, Янка, издан твой сборник «Дорогой жизни». Вообще белорусская печать оживленная, политическая мысль тоже. Сегодня трудно предугадать,

к чему это приведет, но грозových событий в Западной Беларуси ожидать следует. Они зреют, я в этом не сомневаюсь...

— Скорей бы, — со вздохом проговорил Купала.

О судьбе Гриба он у Павлинки не спрашивал — из такта (муж все-таки, избранник!). Меделка сама не смолчала. С Грибом она порвала. Он оказался не тем, за кого приняла она его поначалу. Трус! Это она увидела в эшелоне, когда Томаш говорил высокопарные слова о том, что не имеет права рисковать собою, что еще нужен революции, народу, что не вправе, да и не в силах бросить ее, Журавинку. Журавинка тогда не поверила Томашу. А Томаш вообще стал ее сторониться, когда она загорелась мыслью вернуться в Минск, в Советскую Белоруссию. И тут они разошлись окончательно. Павлинка жалела, что не может показать Купале газету, в которой в Вильно объявила о своем разрыве с Томашом и с Белорусской партией эсеров.

Рассказывала о своих странствиях Меделка, и в голосе ее как будто слышалась виноватость. Но Купала не улыбался ободряюще, не кивал в знак согласия головой — он только молча курил. Дым над его высоким, чистым челом вяло, медленно вился фантастическими синими кругами. Папиросу к губам он подносил плавным, раздумчивым движением, глубоко затягивался, и приподнятая — чуть на отлете — рука его с папиросой в пальцах застывала на уровне плеча.

От этого молчания Купалы Меделке стало не по себе. Рассказ ее вдруг оборвался на полуслове, Купала недоуменно глянул на Павлинку и увидел, как в знакомых, темных, красивых ее глазах крутятся слезы...

1925 год был у Купалы чуть не весь юбилейный: юбилейные торжества закончились 28 декабря. И закончились они в Златой Праге литературным вечером, организованным Союзом студентов — граждан БССР, обучавшихся в Чехословакии. Доклад о творчестве Купалы сделал Владимир Жилка — тот самый, который когда-то в Минске водил своего любимого поэта к себе в гости домой. Теперь он учился в Праге, был там редактором пражского белорусского журнала «Луч» («Прамень»). Жилка радовался новой встрече с Купалой, как ребенок. Потом в реляции об этом вечере будет написано, как в ожидании посланцев Советской Белоруссии — Купалы и Чарота — в Праге «все зашевелились, особенно белорусская антисоветская эмиграция», что вход на вечер был свободным и «пришла почти вся белорусская эмиграция... Надеялась услышать от приехавших из Минска слова примирения...».

Купала выезжал в 1925 году за границу впервые. Поездка в древнюю

Прагу наводила поэта на мысль, что судьба его как бы ведет по шляхам-дорогам Франциска Скорины. Тот был сыном Возрождения, и они в «Нашей ниве» любили повторять это слово, называя им великое пробуждение своего народа после революции 1905 года. Скорину тянуло в Вильно, и Купала не забыл, как влекло когда-то Вильно его, молодого поэта. А почему, собственно, влекло? И сейчас влечет, да еще как! И он просил польские власти разрешить ему хоть на денек заглянуть в Вильно. Не разрешили! Скорину, рассуждал далее Купала, судьба привела в Прагу, сделав его там не только первопечатником, но и королевским садовником на Градчанах. В Праге очутился и он, Купала, ходил под вековыми деревьями Градчан. Ему и в Падуе^[38] хотелось бы побывать, но сегодня там хозяйничают фашисты.

Купала не знал, куда метили многие из собравшихся в зале, однако напряженность чувствовалась. Тут не могло не быть Гриба. Точно не узнал — тенью мимо него и Чарота проскользнул в коридоре Вацлав Ласовский с черным портфелем в руке. И Купала заулыбался, подумав, что это и есть его, Ласовского, портфель премьер-министра эсеровского правительства...

Купала с Чаротом не были в Праге одинокими. Все больше и больше молодых людей, белорусов, сопровождало их в прогулках по городу. И все же, когда начался вечер, не разгадать было, что за тишина стояла: враждебная ли, доброжелательная ли. Одно ясно: здесь равнодушных нет.

Купала смотрел в зал, еще не решив, что он будет читать. Чарот, жизнерадостный, экспрессивный, стремительный, казалось, сам воспламенялся, когда декламировал:

*Запылало солнце — вихрь огня!..
Дни такие — аж не верится!
Кто отважится, осмелится
С молодыми силой мериться!*

Вряд ли мог найтись в этом зале человек, который не понимал, о каком солнце идет речь — конечно же, о революции, о Советской власти, о новой, молодой Белоруссии.

Чтение Чаротом своих стихов очаровывало всех. Купала так выступать не умел. Он не обладал тем пленительным артистизмом, той способностью владеть интонацией, жестом, которыми отличался его младший собрат. Но сила купаловской поэзии дала себя знать незамедлительно. Купала возвышался как Купала. Как легенда. Как песня Батьковщины. Ему

верили. Его слова ждали. Его слово пришло. Поэт читал стихотворение «Орлятам» — с него он начал выступление. Видел перед собой — ряд за рядом — лица усталые, тревожные, измученные. Поезжанство, поезжанство для этих людей еще не кончилось. Что они жаждут от него услышать? Не это ли: «Зовем опоздавших — придите!»? Купала читал без передыху. Как лозунги, зазвучали строки из «Неназванного»: «Потомок... наш... не будет пить из недопитых чаш!.. К счастью торный путь оставим — мог бы лишь идти!.. Оставим песнь освобожденья и вольный отчий край!..» А разве не о том же мечтали многие из собравшихся на вечер? Разве не по иронии горькой судьбы они оказались разлученными с Батьковщиной — слепые в своем неведении, оглушенные брехней, ненавистников БССР? Так слушайте же своего поэта, своего пророка: он вам говорит правду о революции, о Советской Белоруссии.

*Зовем опоздавших — придите!
Вернитесь!..*

Напрасно антисоветская эмиграция «надеялась услышать от приехавших из Минска слова примирения... «Она, — читаем в той же реляции о литературном вечере в Праге, — обманулась в своих надеждах. Устами Чарота и Купалы сказала свое слово работническо-селянская Беларусь, а не идеологи общего с эмиграцией национального фронта... После этого вечера эмигранты чувствовали себя так, словно их выкупали в ледяной ванне...»

Следующий, 1926 год не за горами. В следующем, 1926 году Вацлав Лисовский объявил в Праге о ликвидации правительства, возглавляемого им с 1919 года. Это решение опротестовали только два члена марионеточного кабинета министров — Томаш Гриб и еще один. Ласовский повел переговоры о возможности возвращения в БССР.

Купала был аккуратист: у него в завидном порядке хранились книги, журналы, рукописи, автографы коллег-писателей, газетные вырезки, разного рода сувениры. 1925 год щедро добавил ко всему этому очень важные и дорогие для поэта поздравления, телеграммы, должно быть, помещенные им в один из самых заветных ящичков. Но вряд ли их Купала перечитывал в конце года, спустя пять, семь лет.

Семь лет! У человека, говорят, через семь лет характер меняется. Изменился ли он у Купалы? По-видимому, не очень. Но что же изменилось вокруг поэта, если в 1925 году он получил целых 30 поздравительных

телеграмм, а в 1932-м в прессе их было всего лишь восемь.

В приветственном адресе академии третий абзац начинался словами: «Несмотря на Ваши прошлые ошибки...» Жестко. Категорично. Что же случилось? Что?..

Глава десятая

ДОМ ПОД ТОПОЛЕМ

1. В ДОМЕ И ВОКРУГ ДОМА

Сам Янка Купала был украшением этого места — дома под тополем, в котором жил он до 24 июня 1941 года. Прожил там, на Октябрьской улице, 36а, пятнадцать лет — самых зрелых и в то же время самых светлых и самых драматических...

Сегодня на месте купаловского дома — двухэтажный музей. Тополь, который помнил Купалу, разбило громом в 1966 году, но от корневища густо закустились, потянулись вверх, укрупняясь с каждым годом, зеленоствольные тополиные побеги. Купала любил обновление. Как символ этой его любви шумят сегодня топольки — сыновья и внуки раскидистого, могучего в стволе и кроне когда-то тополя Купалы. В листву того отшумевшего тополя празднично гляделось солнце, радуя взгляд Купалы; в крону того прежнего тополя врезались, щербатясь о могучие сучья, серпы молодого месяца. А под тополем была калитка на улицу. На калитке прибитая заржавевшими от осенних дождей гвоздями жестяная табличка с профилем собачьей морды — уши торчком, надпись на табличке предупреждала: «Во дворе злая собака». Роль этой злой собаки в двадцатые годы выполнял, бегая по двору, маленький юркий Султан, ласково крутившийся возле ног и детей и взрослых; в тридцатые годы похаживал по двору огромный, желто-песочной масти, задумчивый в своей степенности Журан...

На крышу дома клонила ветви черемуха, как невеста, вся в белом весною; в густом посеве черных ягодок, таких заманчивых для снегирей в зимние дни. Красногрудые снегيري важно и проворно склевывали дары недавней невесты-черемухи. Перед окнами на улицу и в сад росла сирень, кустистая, высокая. Под навесом сирени стоял, будто испокон веков, топчан, на котором с самой ранней весны, лишь только начинало пригревать солнышко, днями просиживала бабуня (так в доме под тополем называли мать Купалы). Она обычно первой замечала гостя, стоило тому звякнуть щеколдой калитки, ведущей во двор дома под тополем, и была как бы добрым духом, встречавшим здесь каждого.

Застекленная веранда служила одновременно и тем, что в деревне называли б сенями или чуланом: на стенах здесь висели не только огромные венки-вязанки бокастого золотистого лука, маленькие веночки клювастого розовато-молочного чеснока, но и припасы, которые в деревенских хатах обычно хранятся на чердаке, были здесь же в обвязанных Купалой корзинах. Купала не мог, чтоб у него на веранде не висели пара окороков, полос просоленного сала, ветчины, розовобоких колец свежих колбас. Бывало, коты добирались до копченых лакомств, но чтоб ни одна злобная муха не смогла даже присесть на душистые лакомые копчености, Купала заворачивал их в двойную марлю или в тонкое льняное полотно. Свое, деревенское, не покупное, а приготовленное дома, вылежавшееся в своей кадушке, крепком рассоле, приправленное перцем, чесноком, шалфеем, кориандром, посыпанное черными можжевельными ягодками, насыщенное запахом дубовых листьев, хрена, мяты, зубровки, вишни, смородины, петрушки — все это здесь в большом почете. Кроме домашней колбасы, любили хозяева этого дома свиной рулет из-под пресса, с хрустящими на зубах ушными хрящиками; любили разваристую, да чтоб только из печи, да чтоб пар до потолка, насыпанную в глиняную миску с верхом картошку; любили мачанку — и еще скворчащую на сковороде верещаку, и более почтенное молчаливо-густое тыцкало^[39]; драник или блин скручивай трубочкой и макай в эту вкуснотищу!

Но больше всего любили в этом доме гостя.

И что за белорусское застолье, и что за угощенье, коли нет в нем принуждения: все на столе в избытке, а есть никто не заставляет?! Стоило появиться гостю, и как бы из всех углов и щелей дома выползал этот самый белорусский пры'мус — хлебосольное принуждение. Просим к обеду — на веселую беседу! Ешьте, макайте — лучшего не ожидайте! Блин не клин — брюхо не расколется! Хоть с перцем, хоть без перца — только бы от всего сердца! И гость был доволен, усердствовал, ведь дорого не винцо, а словцо; и он никогда не оставлял на дне винца — злости, ибо лучше животом стол отпихнуть, чем не уважать гостеприимство хозяина. Гость говорил, наконец, что наелся уже по самое не хочу, но хозяин не успокаивался.

И пока прозвучит то, еще далекое за полночь: «Спасибо этому дому, а мы пойдем к другому!», и ответное хозяев: «Вы уж извините, если что не так...» — все новые и новые шуточки и веселые тосты звучат за хлебосольным столом дома под тополем.

Самым дорогим гостем в доме под тополем был Якуб Колас, которого Купала любил всей душой еще с первой встречи в Смольне — на

Николаевщине. «А я колосок под голову, — успокаивал он тогда мать Коласа, что ему жестко не будет на горохе в пуне, — колосочек под голову, и спи себе до утра!..»

Судьба их обоих в новом, советском Минске складывалась и похоже и непохоже: литературная, общественная — похоже, семейным укладом — нет. Не мог же Колас, ставший к концу двадцатых годов отцом троих сыновей, объявить в своем доме принцип открытых дверей: дети требовали внимания, их надо растить. Тут и люльки, и пеленки, и миски — не очень-то пригласишь компанию. К тому же Колас писал не стихи, как Янка Купала, а вещи крупные. Их надо высидеть. В 1923 году он заканчивал «Новую землю» — 10954 строки, в 1925 году — «Сымона-музыканта» — третий вариант объемом в 7632 строки. В 1922, 1926, 1927 годах вышли три повести Коласа, десятки рассказов, как черный рабочий вол сидел Колас за столом. «Это тебе не стишки цедить по строчке, Яночка, помахивая тросточкой или развалившись на диване!» — вздыхал обычно Якуб и садился с утра за стол; недовольно ерзал, раздражаясь, когда приходил неожиданный гость днем, ерзал в кресле и вечером, если гость задерживался позже девяти — режим у дядьки Якуба был суровым: в девять — спать. Вставал он рано, по-крестьянски, вместе с солнцем.

У Купалы с Владкой детей не было. Это они вначале переживали очень болезненно. Детей любили оба невероятно. Владислава Францевна потому и пошла учительствовать, а в Минске сразу же устроилась на работу в детский сад. Одним словом, любовью к детям, особенно к сиротам, были полны их сердца. Именно поэтому в начале своих первых оседлых лет в Минске Купала так много написал для детей, печатаясь в основном в детском журнале «Зоркі Ільіча» («Звезды Ильича»), В тридцатые годы он напишет только своего известного «Мальчика и летчика», а тут сразу «Песню и сказку», «Бая», «Мороза», «Короля», «От минских детей». Это писала для детей и о детях его, купаловская, жажда иметь ребенка своего, собственного — его и Владки, — чтобы он мог посадить его на колени, как обычно сажает в том детском саду, заходя к Владке, чужих детей, чтоб покачать их на ноге, напевая:

*Едет, едет пан, пан
На лошадке сам, сам, —*

поцекотать его «рожками», как обычно щекочет трехлетнюю дочку Михайлы Громыко, пугая ее «козой»:

*Идет коза рогатая
Бодать дитя пузатое!..*

Но проходил год за годом в доме под топодем, а Купале все некого сажать на колени, все некого пугать рогатой «козой». Пустоту заполняло другое. Принцип открытых дверей и возник именно потому, что жизнь требовала чего-то не менее значительного, чем дети.

Якуб Колас очень хорошо понимал это, воспринимая как одну из главных причин того, что Купала не может быть один, без окружения, не может, чтоб тосковала Владка, чтоб ей было горько. «Пусть лучше застолье шумит в своем доме, чем искать Янку за чужим столом», — решила и для себя раз и навсегда Владислава Францевна. Так же раз и навсегда назначила она и время обеда: четыре часа. И объявлялся аврал, чрезвычайное положение, если уже четыре, а Янки нет. Поиск проводился самый оперативный, не без упреков потом, когда Янка наконец находился и бывал усажен за стол.

А день часто начинался с того, что Янка просил Владку:

— А не сходила б ли ты, не прошлась бы по улице, — может, где какая-либо сиротина плачет?

Если не находила сиротину Владка, ее находил сам Янка, и в их доме под топодем днями, месяцами, годами получали приют и ласку очень и очень многие.

Купала разводил розы. Перед верандой купаловского дома под топодем была примечательная клумба — словно солнце, от которого лучами «отсвечивало» равносторонними остроконечными треугольниками пять клумбочек. В центра клумбы королевой стояла голубая ель. За клумбой живой изгородью шли кусты барбариса, снежника вперемешку. От весны и до осени цвела купаловская клумба, от первых нарциссов и тюльпанов до последних цветов бабьего лета. Очень любил Купала запах тимopheевки, которая сверкала маленькими оранжевыми глазками с наступлением летних сумерек и пахла на всю Октябрьскую улицу. Но особенной любовью Купалы пользовались розы. У него даже были свои знакомые — профессионалы по выращиванию роз: некто Фрэй, эстонец, живший в Козыреве, тогдашнем пригороде Минска. Саженцы роз Купала привозил из Крыма, с Кавказа; привозили и приносили их ему друзья и знакомые, живущие вблизи и вдалеке. В розарии Купалы красовалась даже черная роза, предмет особой гордости Купалы — нечто и в самом деле редкостное из редкостного.

Колас размашисто колол дрова, складывал их «стожком» — сын лесника, он любил не дурманящий аромат оранжерейных неженок, а крепкий, смолистый дух коряжистых пней, запах свежих, только что расколотых чурок, дровяника вообще. Всякий раз, видя Купалу среди его неженок роз, Колас обычно начинал словами известной белорусской народной песни «Янкi»:

- Янка стоит у горы...
 - Лесовик, а что в долине? — спрашивал Купала.
 - Янка сеет кавуны, — вел Якуб Колас.
 - А кто — журавины?^[40] — допытывался Купала.
 - Ну, конечно ж, не любители роз! — откликнулся Колас и продолжал:
 - Конечно же, не туры-туры-рас-татуры, мы — шляхетские натуры!
 - Замолчи, — делал вид, что злится, Янка, — а то Бэнде услышит.
- Но Колас продолжал свое:

*Я в субботу ем блины,
В воскресенье — кавуны.*

Купала не оставался в долгу:

— Конечно, не постным же обходимся, как некоторые из униатов, — говорил он, намекая на непролетарское происхождение Коласа, на то, что его дед Казимир был униатом. Шутки по поводу социального происхождения были тогда в духе времени, были действительно веселыми. До поры!

Губернаторскую, мещанскую, Кафедральную площадь Купала высмеял в своей комедии «Тутошние», как Брехаловку. К Комаровке, ее знаменитому базару, известным трем корчмам, продолжавшим стоять на развилке Логойского и Борисовского трактов в двадцатые годы, к лирникам, которые крутили там свои лиры в те же годы, к торговкам зеленью, вообще ко всему сельскому люду, привозившему сюда разную живность, овощи, картошку, фрукты, — ко всему этому у Купалы была глубокая, почти сентиментальная привязанность. Он мог и утро, и день молча, посмеиваясь, прослоняться с кийком, повешенным на руку, среди всего этого пестрого базарного люда, хитроватого, потому что на базаре, языкастого, потому что на базаре, и праздничного, потому что на базаре, ведь ярмарка не каждый день.

...Переполох в доме под тополем немалый: Янка вернулся с базара рано, вернулся не один, вернулся с покупкой: поросенком. Не имела баба

хлопот, купила поросю — кто в Белоруссии не знает этой поговорки?! Знают все, но купила поросю не баба, а Янка, и у Владки не хватало слов для выражения своего недовольствия. Правда, в доме более сердитой считалась Зося. С 1927 по 1930 год она была более полновластной хозяйкой в доме под тополем, чем Владка. Владка хозяйничала на кухне и сама подавала на стол только тогда, когда в доме появлялись высокие гости. Обычно всем этим занималась Зося: она пекла, жарила, подавала и убирала. И дядька Янка больше любил драники, испеченные Зосей, и всегда заказывал их, когда в доме появлялся Якуб Колас.

Не домработницей была в доме под тополем Зося Ходосевич. До нее на таких же правах и обязанностях там жила Ганя. Когда Ганю дядька Янка выдал замуж за учителя, в дом пришла Зося (Ганю дядька Янка и тетя Владка выдали замуж, как свою дочку, так же, как потом и Зоею).

Зося была из окрестностей Окоп. Отца она не помнила. Мать у нее умерла. Четырнадцатилетней попала она в одну из минских больниц, коростовая, отощавшая. Было это в 1922 году. Как узнал о Зоське Купала, осталось тайной и для Владки, и для самой Зоськи, по только в голодном, не оправившемся еще от разрухи 1922 году на тумбочке измученной экземой девочки вдруг каждое утро стали появляться то ломоть свежего хлеба, то душистый кусочек сала. А стоило дядьке Янке узнать, что выздоровления не дожидаться, если сиротка не попьет рыбьего жира, как огромная бутылка из-под вина густого, зеленовато-бурого рыбьего жира появилась на больничной тумбочке Зоськи. Через пять лет после этого Зоська вошла в дом под тополем, а еще через три ушла из него замуж, как перед этим и Ганка. Но и после 1930 года она продолжала прибегать сюда, как к отцу и матери...

В день великой покупки дядькой Янкой поросенка судьбу злосчастливого поросю решила Зоська. Она оказалась на стороне дядьки Янки. Она не без торжественности заверила тетю Владку, что согласна кормить такое пестренькое, подвижное существо, приобретенное дядькой Янкой. И тогда уже настоящий праздник пришел в дом под тополем.

Дело в том, что дядька Янка не отпустил из дому хозяина, у которого купил поросенка. А хозяином тем был не кто иной, как дядька Амброжик из Мочан: возможно, это обстоятельство как раз и послужило первопричиной покупки поросенка Янкой Купалой, но то, что решение не выпускать хозяина поросенка из дома, было принято дядькой Янкой заранее, не подлежит никакому сомнению.

Как жаль, что разговоры за круглым столом, которые велись дядькой Янкой и дядькой Амброжиком в тот исторический день купли-продажи

поросся, не были никем ни запротоколированы, ни застенографированы! Очень небольшое запомнила Зоська, находившаяся больше на кухне, чем у стола, а тетя Владя вследствие того, что до конца еще не простила купеческой выходки Янки, застолье в тот день игнорировала. Сегодня известно лишь одно, что сначала разговор книжника из Мочан, Льва Толстого, как его там называли, шел вокруг поросенка; что он должен быть удачным, очень салистым, потому что лопаухий и рыло у него короткое и вздернутое, а щетинка длинная и вон на косточках задних ножек мякоть, словно подушечки, прощупывается.

Сколько времени ушло на обсуждение пороссячьих достоинств, опять же достоверно неизвестно, как и то, две или три чарки при этом было пропущено, но у дядьки Амброжика разговор не мог не переключиться на вещи более существенные. О сельсоветском начальстве дядька Амброжик много не распространялся: «В панах ходить, не горе мыкать, — легко научиться!» Но самым интересным, затянувшимся до позднего вечера, был, конечно, разговор о литературе.

— Глаголом жечь сердца людей! — декламировал дядька Амброжик, который не мог не показать своей мочановской начитанности, как и уважения к литературе, теперь, уже не в хате пани Бони в Боровцах, а в доме самого Янки Купалы.

Купала, улыбаясь, спрашивал:

— А может быть, поэту надо быть не только Перуном, но и пожарным? Перун ведь бьет, сжигает, и если б не вода — беда.

— Истинная правда, дорогой сосед, — говорил дядька Амброжик, — ей-богу, истинная правда! Но как же это, чтоб и Перун, и пожарный, и огонь, и вода? Слыхал, кум, солнце? Видал, кум, гром? Слышать — не слышал, видать — не видал!..

— Не видал? — усмехается Купала.

— Ведь если огонь, то не зальешь водой, а воду ничем не успокоишь, — рассуждает дядька Амброжик. — Это как снег соломою тушить, огонь и вода! — опять наступает дядька Амброжик на Купалу.

— Ха! — смеется Купала. — Огонь всегда жжет.

— А что? Разве это лучше: хоть запали — не треснет, — не сдается дядька Амброжик.

— Не лучше, — соглашается Купала, — но ведь не совсем хорошо и вот так, как Владка, — из печи полымем, из хаты — дымом, со двора — вихрем...

— А ты что думал? — смеется дядька Амброжик. — Охотился на куницу, добыл молодицу...

— Ну, скажу тебе, дорогой сосед, — соседом дядьку Амброжика начинает называть и Купала, — женка во! — и сама как огонь, и хоть из огня, а вырвет.

— Из огня да в полымя? — опять заостряет вопрос дядька Амброжик.

Купала вздыхает, зовет к столу Владку:

— Иди посмотри: без ножа режет, без огня палит!

— А тебе только б солнце днем с огнем искать, — = отзывается из спальни оттаявшая уже Владка и выходит в гостиную.

— Ну, разве я не говорил, — обращается Купала к дядьке Амброжику, — что вода всегда тише человека?

— Вода всегда как вода! На то она и вода, — говорит дядька Амброжик, а Владислава Францевна сама парирует вопрос Купалы:

— Лучше б и ты повторил тут вслед за дядькой Амброжиком, что огонь не зальешь водой, а воду ничем не успокоишь. О, тогда бы я дала согласие быть водой, а тебя бы считала огнем...

Уже совсем поздно прощался дядька Амброжик с хозяином и хозяйкой, прощался снова не без прибаутки, потому что такой уж человек был дядька Амброжик, что без шутки не мог переступить порог, ни входя в дом, ни выходя из него.

— А что ни скажи, Яночка, — говорил дядька Амброжик уже на «ты», без всякого там «соседа», — а что ни скажи, Яночка, гостью дважды рады: когда он приезжает и когда уезжает. Ну, так я поеду. Ей-богу, истинная правда!..

Свою жизнь в Минске профессор Б. И. Эпимах-Шипилло тоже начал с ночлега под крышей дома под топодем. После первого приглашения еще в письме в 1919 году Купала при каждой okazji продолжал приглашать профессора на постоянное жительство в Минск, и мечта ученика наконец-то сбылась: в 1925 году Бронислав Игнатъевич решил в свои преклонные годы покинуть бывшую северную столицу и переехать в столицу Белоруссии. Профессор стал работать в Инбелкульте, а с 1928 года, со дня образования Академии наук БССР, когда пресса откликнулась на это событие радостным *Vivat academia!* — в академии. Он пожертвовал академии свой богатый рукописный архив, в том числе и известную «Белорусскую хрестоматию». Однако значительная часть библиотеки профессора все еще оставалась и на 4-й линии Васильевского острова, и время от времени профессор ездил туда приводить ее в порядок. Событие, о котором сейчас пойдет речь, почти совпало по времени с выборами Купалы в академики. 26 декабря 1928 года Купала был выбран академиком, а через день к нему в дверь дома 36а на Октябрьской улице постучал, как

всегда, корректный профессор, и постучал не только для того, чтобы поздравить своего Янку с этим событием. Дело в том, что профессор с подчеркнуто торжественным видом держал под мышкой папку, которая и таила в себе радостную неожиданность для хозяина дома под тополем. В папке были стихи, целых 65 стихотворений, — дореволюционных, для той поры подцензурных. Теперешний владелец разбухшей папки обнаружил их случайно во время очередного приезда в Ленинград при упорядочении своей библиотеки. Об этом событии газета «Савецкая Беларусь» сообщила 20 января, а уже в феврале и марте того же года часть найденных стихотворений была опубликована в журнале «Полымя». В примечании к публикации в февральском номере Янка Купала сохранял деловой тон: «Представленные здесь мои произведения... были потеряны и случайно нашлись теперь у известного опекуна белорусских писателей дореволюционной эпохи... Одновременно выражаю здесь искреннюю благодарность проф. Эпимах-Шипилло за его приятную для меня неожиданность». Выражение этой благодарности в тот зимний вечер, когда Бронислав Игнатьевич с папкой под мышкой осторожно постучался в дверь дома под тополем, было, конечно, куда более бурным. Засиделись за полночь. Купала как бы открывал Купалу — себе самого себя. И он не просил, как обычно, почитать свои стихи кого-нибудь из гостей. Да и некого было просить, ведь, кроме Владки, за круглым столом лишь двое — профессор и поэт, а в кабинете они вообще остались вдвоем — старый профессор и Янка Купала.

Бронислав Игнатьевич любил этот кабинет больше, чем гостиную с круглым столом — «столом рыцаря Янки, а не Артура», как любил он повторять. Профессор любил этот кабинет поэта, может быть, больше всего за то, что он чем-то напоминал комнату Янки в его профессорской петербургской квартире на Васильевском острове: здесь, ему казалось, был тот же дух, тот же стиль, хоть много появилось и нового, непохожего в реалиях, собранного здесь целиком новым временем. Комната небольшая; письменный стол, книжный шкаф. На столе нож для разрезания бумаги, пресс-папье, чернильница, пепельница. А над рабочим столом на стене ярко-красная грамота «Почетного металлиста» (вручили металлисты завода «Коммунар» в дни празднования двадцатилетнего юбилея творческой деятельности), среди письменных принадлежностей на столе — ручка в виде миниатюрной винтовки (подарок рабочих Минского машиностроительного завода), на стене среди белорусских пейзажей, похожих на те, что висели в гостиной профессора в Петербурге, кинжал — ножны из черненого серебра, узорчатая рукоять.

— Отделкой золотой блистает мой кинжал, — обычно начинал декламировать профессор, когда этот кинжал, привезенный Купалой из его самой первой поездки на Кавказ, попадался ему на глаза. С годами все больше и больше роднился с далеким югом кабинет Купалы — после каждой встречи с Черным морем поэт привозил полные чемоданы отливающей всеми цветами радуги морской гальки.

— Чем не юг, профессор? — спросил Купала, когда профессор, наклонясь, стал перебирать руками насыпанную просто так вдоль стены разноцветную гальку. Купала и сам наклонился над ней, взял горсть камешков, пересыпая в ладонях, прислушиваясь к их тихому шороху.

— Кажется, морская волна с тобой разговаривает.

— Морская галька цветок папоротника завораживает, — улыбнувшись, как бы согласился с поэтом профессор.

А стихи, которые, раскрыв профессорскую папку, стал перелистывать Купала, действительно были как бы вехами его жизни: «Отзвук 29 октября 1905 г. в Минске», «Я не для вас...», «Не корите меня», «Перед висельницей», «Слугам алтарным», «Перед бурей», «Моя молитва». Сегодня для нас чуть ли не каждое из этих стихотворений воспринимается как визитная карточка Купалы-поэта, как то, что принято называть сейчас паспортом поэта.

Купала читал стихи низким, немного глуховатым, но волевым, напористым, непокоримым голосом:

*...Я не для вас, паны, о нет,
Пласт слов живых, изнемогая,
Стараюсь вывернуть на свет
Средь пустоши родного края,
Я не для вас, паны, о нет!*

*...Я не для вас, паны, о нет,
Для тех я, кто страдал веками,
С которыми цепями бед
Я скован, будто кандалами...
Я не для вас, паны, о нет!*

*Я не для вас, паны, о нет!!!
Для бедных я, лишенных солнца.
Мне слово доброе в ответ
От них, настанет час. вернется,*

Но не от вас, паны, о нет!

...Сегодня любой исследователь творчества Купалы просто не может представить себе, чтобы у Купалы не было таких строк, чтобы мы не смогли прочитать их, услышать. Счастливый случай вернул их, не дал погибнуть? Счастливый, конечно. Но был еще профессор Эпимах-Шипилло, была его петербургская квартира...

...Купала, провожая гостей, каждого без исключения расцеловывал. Целовал крепко, по-мужски, всю душу вкладывая в пожатие руки, в объятие. В тот поздний зимний вечер Купала долго-долго не выпускал из своих объятий на пороге дома под тополем расчувствовавшегося и радостного профессора Эпимах-Шипилло.

Тетя Владка не раз упрекала своего Янку:

— Ты все с людьми да с людьми, а я... На двоих двадцать пять обедов варю, и все мало. Вот брошу тебя и уйду в монастырь!

Но дом под тополем Владислава Францевна не оставляла, хоть и случалось ей не однажды варить гораздо больше, чем двадцать пять обедов за раз...

Кому первому пришла в голову эта идея, «сегодня за давностью лет забыто, но что в тот вечер гостей собралось столько, что кресел за круглым столом гостиной явно недоставало, это сегодня не подлежит сомнению. Поэтому в гостиную из детского сада, где работала Владислава Францевна, принесли низенькие столики и маленькие креслица. Столики уже накрыты, а гости собираются; у каждого, кто входит, улыбка на лице, но каждый, сохраняя серьезность, садится в предложенное ему хозяином креслице, будь то респектабельный, с пенсне на носу президент академии, или же гвардейского роста Михась Зарецкий, или коренастый Михасик Чарот.

— А мои вы Михасики! А мой ты Сымонка! Кондратка! Володенька!.. Максимка!.. Мирошка!.. Петрусёчки!.. Куземка!.. Миколка!.. — это Купала приветствовал двух Михасей — Михася Зарецкого и Михася Чарота, двух Петрусей — Петруся Бровку и Петро Глебку, Сымона Барановых, Кондрата Крапиву, Владимира Дубовку, Максима Лужанина, Евстигнея Мировича, Кузьму Чорного, Миколу Хведаровича. А в гостиную все входили — из академии, университета: профессора Замотин и Вознесенский, Пиотухович и Боричевский (чуть ли не весь авторский состав книги «Янка Купала в литературной критике» 1928 года), Михайло Громько, Вацлав Ласовский (он возвратился из Праги и сейчас — ученый секретарь академии), Тишка

Гартный... Легче перечислить, кого из известных литераторов Минска второй половины двадцатых годов не было на том импровизированном литературном вечере в доме под топодем, чем тех, кто на нем был. Сидел и великий Купала тогда в маленьком креслице за низеньким столиком, и Якуб Колас — щупленькая бородка, светящаяся лысинка, и белый как лунь Эпимах-Шипилло. А надо всеми — Владислава Францевна. В этот вечер она действительно царствовала над всеми в своем доме, как до этого, днем, царствовала над этими же столиками и креслицами в детском саду.

Но почему сидят в маленьких креслицах и не обижаются на свою судьбу и все еще молодые, веселые вчерашние молодняковцы, а сегодняшние возвышенцы, полымянцы, белапповцы^[41], и те, которые считаются попутчиками из крестьян и интеллигенции, и вся русская уважаемая профессура, которую позвали Минск, университет, Беларусь зачинать белорусские литературоведение и критику, и те одиночки, которые, изведав потерю Родины, приобрели ее вновь своим отречением от неразумного прошлого? Есть причина! Причина очень важная — трость Купалы. Праздник — сотая монограмма на ней. Так сказать, юбилей трости поэта. В двадцатые годы это было очень модно — трость с монограммами. Но не столько от моды попала трость в руки Купалы, сколько от привычки: детства — из Селищ, юности — из грибных походов в Окопах. А еще из больницы, с марта месяца 1920 года, когда был слишком слаб, чтоб не опереться на ореховый кий.

Кто первым из друзей Купалы прибывал на его трость свою серебряную памятку-монограмму, уже и в тот импровизированный литературный вечер в доме Янки Купалы за давностью лет никто не помнил. Но все знали, что сегодня будет прибита к трости сотая монограмма. И в доме под топодем стояли шум и гомон. Оставалось только секретом, кто тот счастливчик, кто будет этим сотым. Дядька Янка загадочно улыбался. Уже зазвучали тосты, поздравления, а имя сотого оставалось в тайне, и одно место за столиком Купалы, Коласа и президента все еще оставалось свободным. Купала объявил, что именинник опаздывает, а чарки просил наполнять.

Тост Коласа был кратким. В нем объявлялось, что с этого дня Купала возвращается в свою самую радостную стихию, когда на память он знал только один стишок:

*Дождик, дождик, лей сильней,
Я поеду на коне.*

— Короче, Купала имеет сейчас своего очень надежного копя, — продолжал Колас, — коня, который превзошел все автомобили, и пусть теперь в этом доме каждое утро звучит громкий голос хозяина: «Подайте коня!»

Тишка Гартный — толстогубый, круглые, в черной оправе очки, белый воротничок, вместо галстука черный бантик-бабочка — говорил медленно, плавно, немного в нос, как бы с французским прононсом:

— Замечательная трость. Отменный кий. И главное, ни по чьим спинам не ходит.

Президент Академии наук говорил не только несколько длиннее других, но и более красноречиво:

— Все началось с посоха. Он помог человеку идти дальше, когда устали ноги; он помог достать дальше, чем могли это сделать руки, ибо, став стрелой, полетел. Но он же послужил и отправной точкой полета, так как, изогнувшись, превратился в лук. Но изгибаться только как лук посох не считал для себя большой честью и, выгнувшись так, что оба его конца встретились, стал колесом. И колесо покатилося, закружилось по дороге, по суше, потом подставило свои лопасти воде и стало мельничным колесом; закрутилося в воде, подгребая под себя волны, и вот оно уже пароход. Но что ему суша, что вода? В воздух захотело подняться колесо — к звездам! И выписал посох в воздухе видимое человеческому глазу колесо, сделавшись пропеллером. К звездам возносит нашего Янку дорожный посох, ореховый кий, громко именуемый здесь тростью...

— История цивилизации!..

— Белорусские байки и сказки!..

— Академики и профессора!.. — полетели одно за другим уточнения к тосту президента, но в это время на пороге гостиной появился дядька в ярко-рыжем кожухе с топорщащимися прядями черной шерсти поднятого к ушам воротника. Купала улыбнулся. Это был дядька Амброжик из Мочан. Это его место пустовало за столиком Купалы, Коласа, президента: это он был сотый.

— Был кий под рукой, да не такой, — сказал дядька Амброжик, прибывая к трости Купалы монограмму со своей фамилией. И теперь уже в доме под тополем был кий что надо. И тут дядька Амброжик начал петь своим высоким, будто женским, голоском, который так удивил Купалу еще когда-то в Боровцах, когда Амброжик читал пани Боне рецензию Самойлы.

Купала и Владислава Францевна очень рады и трости, и всему этому событию, которое и в самом деле удачно и весело было задумано ими еще в тот день, когда Купала приобрел у дядьки Амброжика поросенка.

Но, конечно, двадцатые, их такие еще молодые годы не были сплошь безоблачными. Не надо забывать, что Владислава Францевна была женщиной со слабыми нервами, лечить которые Купала приглашал врача уже спустя полгода после их свадьбы. Нередко случалось, что наплывали бело-перистые облака на синеву Владкиных глаз, что красивая лебединая белизна ее чистого доброго лица по той или иной причине начинала вдруг густо краснеть, а ноги ее внезапно, будь то в гостиной или на кухне, начинали громко топтать, и молчаливый Купала, в одну из пауз, когда прекращалось топание босоножек, обычно вставлял одну и ту же реплику:

— Нашествие на Москву французов...

Владка реагировала бурно:

— Это мое нашествие? А кто ходил на Антоколь?! Может, я?! Кто набивался в компаньоны и помощники, когда я выбиралась в Кушляны, Ошмяны, Острино?

— На Антоколь — не на Поклонную, — улыбался Купала. — Антоколь не идет к горе, гора идет к Антоколю... Богушевич виноват... Тётка виновата...

— Лучше бы помолчал, — еще больше распалаясь Владка. — А не Магомет ли сажал деревце на Полоцкой улочке в Вильно — в знак большой любви? Дурил мне голову, льстивыми словами умасливал...

— Может, пора и проведать то деревце, — добродушно улыбался Купала. — Наполеон согласен?

— Подумаешь, кавалерчик!.. — выпаливала Владка. — Еще согласия спрашивает!

Купала заговорщицки посмеивался. Владка оттаивала. Ключи от Москвы нес на Поклонную гору — сколько раз Владка удивлялась этому! — гордый, светлый, высокий человек.

Однако Владислава Францевна была, и Купала знал это, человеком большой и глубокой души, мудрой уже тем, что первой из женщин почувствовала, поняла путь Купалы, ринулась в его объятия вопреки всему. «Подумаешь, какие-то сплетни, слухи о какой-то там Пеледе?! Подумаешь, какие-то там легенды про терновые венки, без которых будто бы не бывает лавровых?! Все ерунда! Она мужественный, волевой, преданный своему Яночке человек!»

Она знала все радости его души, она знала все раны его души. Знала, когда на него «находил» стих, и знала, когда его охватывала обида на кого-то или на что-то; знала, почему это он вдруг снова решил «попутешествовать по свету» (это означало покрутить радиоприемник).

Особенно далеко он не путешествовал: обычно' ловил голос Вильно, Варшавы. Мать Купалы в долгие зимние вечера ловила только голос Варшавы, чтобы послушать саму польскую речь, которая на всю ее жизнь — со времен ее далекой хуторской юности — так и осталась для нее речью праздничной, торжественной. Минск в двадцатые-тридцатые годы был, по существу, годом пограничным: 18–19 километров до границы в направлении Крыжовки, Зеленого — сегодняшней зоны отдыха минчан, где еще и сейчас можно встретить оставшиеся с той поры, глубоко вросшие в землю бетонные громады бункеров. В приграничной зоне находились и Окопы. Вязинка, хата, в которой родился Купала, остались по ту сторону. В хате, где висела люлька Купалы, висели карабины со штыками и бинокли пограничников-легионеров. По самому Замэчку — курганицу близ Вязинки — проходила контрольно-пограничная полоса. Проходила она по самому сердцу поэта. Эта рана на сердце Купалы была самой невыносимой.

Поэт воспринимал горький раздел его земли как раздел живого, любимого им существа, как величайшую несправедливость, которую империализм учинил над его землей, попрев исторические государственные границы Белоруссии, вынудив молодую Страну Советов, как и во время Брестского мира, пойти на горький компромисс.

А тем временем радио приносило из Западной Белоруссии новости волнующие и драматические. Белорусский посольский клуб в сейме дал начало Белорусской крестьянско-рабочей громаде. Стотысячной громаде! Громада — под влиянием КПЗБ. Ее возглавляет Бронислав Тарашкевич. Вот это Тарас! Но движение этой организации — все чаще слышит Купала по радио, читает в газетах — пилсудчики подавляют репрессиями. 25 мая 1928 года Купала, как председатель Комитета научных работников и писателей БССР по защите Белорусской крестьянско-рабочей громады, подписывает обращение к трудящимся и деятелям культуры мира в связи с судебным процессом над этой организацией. Громада, триумфальный взрыв ее в Западной Белоруссии — радость Купалы за свой непокоренный народ, надежда на возможно близкое воссоединение, на преодоление самим народом всех старых и новых исторических обид. История, она — только справедлива! — в этом Купала уверен. И вдруг снова расправа: разве же это справедливо? Вести из суда в Вильно самые разные: Бронислав Тарашкевич — настоящий герой новой белорусской национально-освободительной эпопеи. Но как недостойно ведет себя Антон Лапкевич: он тоже арестован, вот уже восьмой месяц сидит в панской тюрьме, но на допросах полностью отказывается от своей

причастности к Громаде. Никаких формальных отношений к ней не имел, постоянных контактов не имел, членского билета не имел, политического влияния не имел. На суде все члены Громады объявляют Лапкевича предателем, ренегатом. А Владимир Иванович Самойло вдруг публикует заявление, в котором говорит, что порывает всяческие связи с белорусским движением. «Что случилось, Владимир Иванович? Неужели вы приняли измену Антона Лапкевича за капитуляцию всего белорусского движения? Как бы мне хотелось с вами встретиться, Владимир Иванович!» (В 1927 году по дороге в Карловы Вары Купала проезжал через Польшу, но ему отказали в визе, в возможности хоть на день остановиться в Польше, хоть на часок заглянуть в Вильно.) Судебная расправа над руководителями Громады очень сурова: четыре посла — Тарашкевич, Рак-Михайловский, Мятла, Волошин — осуждены на двенадцать лет строгого режима каждый. В зале суда, где был зачитан приговор руководителям Громады, будто в последний раз прозвучал ее гимн «Веками мы спали...». И стражники-полицейские вытянулись в струнку, как по команде «смирно», — такая вдохновенная сила была в этом пении, и цветы летели под ноги осужденным, когда их выводила из зала суда полиция. Купала плотно припадал ухом, словно глухой, к своему, кстати, довольно голосистому приемнику, когда слушал про все это, и уже тогда у него появилась мысль написать обо всем этом. Но когда? Потом, когда все кончится...

Антон Лапкевич в тот же год овдовел. Не успел он выйти чистым, по его мнению, из тюрьмы, как привезенная им некогда из Парижа сорбоннская студентка — сама родом из Вильно — Софья Абрамович покончила с собой, повесилась, оставив на руках потрясенного мужа двоих малолетних еще сыновей. Падкое на сенсации буржуазное радио распространяло и такие сообщения. «Неужели молодая жена осуждала позор мужа?» — подумал Купала, но чужая трагедия за кордоном еще долгое время оставалась для него тайной, как и внезапное, экспансивное отречение Владимира Ивановича Самойло от белорусского движения...

Вообще как это так: отречься от себя самого, откреститься от того, с чем был кровно связан?! — этого Купала не понимал. Отречением от самой себя ему показался сначала разрыв Меделки с Грибом. А здесь отречение Лапкевича, Самойло... Меделку, Ласовского он понимает: отречением от своего прошлого они возвращали себе Родину. Меделку действительно можно назвать мужественной, ведь она ради Батьковщины, Родины, пошла на разрыв с мужем, которого, видно же, любит. Без мужества не мог бы перечеркнуть себя, свое самолюбие, как бы заново родиться и Ласовский. Отказываясь от министерского портфеля, он тем самым вновь обретал

Родину. Их отношения в академии, однако, сухие, официальные. Иногда встречаются они в гостях у своих общих знакомых. У дядьки Вацлава сейчас вторая жена, от нее у него так же две дочери, с ними живет и старшая дочь Марии — Лаздины Пеледы — Ганка. Очень похожа на мать, но Купалы сторонится. Сторонится вообще всех: молодая, но уже замужняя, а молодой ее муж осужден в Литве на пятнадцать лет. Коммунист? Можно догадываться, что коммунист, как, видимо, догадываются и Ласовский и Ганка, почему Купала вот уже который раз, проезжая через Польшу, рвется в Вильно. Купале, конечно же, хочется повидать младшую дочку Пеледы — Стасю. На кого Стася похожа? Ганка, та — Купале кажется временами — вылитая Мария: и своей стройностью, и белизной лица, и привязанностью к черному платьицу с вышитым на груди, слева, стилизованным цветком.

Владислава Францевна знает про Лаздину. Она всегда немного насторожена, если в компании Ласовский и особенно если он вместе с дочерью от первой жены. Но этого Владка старается не задевать в душе Купалы. Делает вид, будто ничего не знает, будто ничего и не было. И он, хотя и замечает напряженную настороженность жены, благодарен ей за молчание. Молодец у него Владка!..

Дом под топодем сначала был откуплен Купалой у его прежнего владельца наполовину. Только «в тридцатые годы Купала откупил и вторую часть дома, и вовсе не потому, что семья Купалы жила с соседями не в добром согласии, а Журан почему-то никак не мог избавиться от привычки лаять на родственников хозяина второй половины дома, когда те появлялись во дворе. Купала мог бы и дальше продолжать журить Журана за его невоспитанность, так как лаял он только на тех, кто приходил к соседу Левину, на гостей же, приходящих в купаловскую половину, никак не реагировал, но в этой, купаловской, половине дома стало тесно: переехала на постоянное жительство бабуня — мать Купалы, Бенигна Ивановна, надо было помочь жильем и сестрам, у которых подросли племянники и племянницы, как всегда, обитала в доме очередная сиротина, да и ночевал кто-нибудь постоянно. Так что причин стать полным хозяином всего дома у Купалы было достаточно, и он, выхлопотав отдельную квартиру своему хорошему соседу, решил таким образом жилищную проблему и для своей семьи.

Не сказать, чтобы дом под топодем сразу стал местом обитания вдохновенных муз поэта, скорее наоборот. Летом 1926 года, как раз во время покупки первой половины дома под топодем, Купала написал около

двадцати стихотворений. Это в год после своего юбилея (двадцатилетия литературной деятельности), в лето, которое можно назвать четвертым и последним Окоповским. Стихи этого четвертого Окоповского лета во многом неожиданны. Вполне понятно было одно из первых стихотворений, написанное 5 июня. Называлось оно «Оков разорванных жандарм» и выражало импульсивный протест Купалы — народного поэта против выступления некоего Белоруса в газете «Савецкая Беларусь»; именно под таким псевдонимом появилась там статья «Вражда из-за языка», направленная против употребления белорусского языка в государственной и общественной жизни и изучения его в школе. Аргументация этого псевдобелоруса была такой же, как некогда у Солоневича. Но еще большее негодование охватило Купалу, когда он узнал, что один из авторов этой статьи — Александр Пщелка, тот самый, который давал когда-то показания царскому суду при его расправе с «Нашей долей», тот самый, который пописывал при царе реакционнейшие пасквили на белорусское крестьянство. И как только газета Советской Белоруссии могла дать слово этому выползну из гадючьего клубка иуришкевичей, родзянок, солоневичей? Стихотворение Купалы было гневным в наивысшей степени: чувствуется, будто землетрясение прошло по душе поэта после этого фискальского выполза на белый свет давнего чудища враждебного силам милого его душе белорусского возрождения, — его появления после второй уже волны, так называемой белоруссизации края, после второго укрупнения БССР?

Неожиданно настораживающе в стихах Купалы четвертого Окоповского лета другое. В прошедшем году, во время юбилея, ему столько наобещали, напожелали долгих лет и ответственные работники республики, и мудрые книжной мудростью академики, и пылающие сердечной любовью к человеку поэты и писатели, и убеленные сединами деды, и щебечущая школьная детвора, и т. д., и т. д., и вдруг поэт взял да и обратился почему-то к кукушке, начал считать в бору ее «ку-ку» — много ли накукует? «Умолкла... Мало насчитал». Откуда ты, такая неожиданная после «революционной радости» нотка? Тем более откуда, если в стихотворении «Царские дары» говоришь ты, поэт, что белорус вообще неумираем, а в стихотворении «Летом» утверждаешь: «музыка лета на свете, — бед отступили напасти... Хочется думать, как дети, верить младенчески в счастье»? Или откуда это заявление ветру: «Без твоей музыки дикой сумею сложить свои кости»? «Музыка лета» и рядом, здесь же «музыка дикая» ветра, которого «нелегкая носит, примчала», как будто ему, ветру, людей, мира, без мира его, поэта, еще мало?!

Стихотворение «Молодая выздоровела» тоже удивляло, ведь каждый из читателей помнил уже купаловский поэтический образ Молодой, которая в красном углу «в хате своей села с медом чарочки в руке, смотрит бойко, смело». А тут Молодой готовят соседи домовину, соседки — рубаху на смерть, и погребальный мотив, присущий Купале дореволюционному, звучит снова по-купаловски ярко, с жестким, однако, сарказмом, которого, пожалуй, не было до этого у поэта. Ведь люди у него «очень верные не в меру» выдумке, что Молодая умерла; и то, что она «все еще жива пока, для соседей просто чудо» — прежде всего над этим с издевкой иронизирует поэт. «Сосед «могильщик заграничный» — это ясно кто: Пилсудский, «с делом справился отлично; гроб, рубаха — пахнут новым, — все готово, одним словом!» Одним словом, адрес заграничного могильщика ясен, но кого ждет Молодая, кто он, Молодой, ее возлюбленный, и кто для нее здесь, не за кордоном, готов и гроб-домовину справить, и рубаху на смерть? Александр Пщелка? А не раздувает ли поэт из мухи слона? И эти явные похороны Молодой особенно неприятно впечатляли после фанфарной песни в честь Молодой на государственных посиделках, а не в ожидании черного катафалка.

«А суд истории тяжел», — со всей суровостью промолвит поэт в стихотворении четвертого Окоповского лета «И придет». Это стихотворение было одним из первых в советское время, где поэт выходил на прямой разговор с потомками. Забота у него большая и прежде всего чтоб «мы по-давнему несмело» не «жили не в лад и невпопад». Гражданского, высокого мужества требует поэт от своих современников, требует его в решении проблем, конфликтов, выдвигаемых временем на повестку дня.

Каждый поэт всегда немного Дон-Кихот: каждый из них может принять ветряные мельницы за разбойников с большой дороги. Но когда Дон-Кихоты сражаются с ветряными мельницами, они сражаются не только с ними: они, Рыцари Печального Образа, сражаются за истину, справедливость, красоту, доброту. Словно с ветряными мельницами, сражался среди Окоповского поля в лето 1926-е Янка Купала, проклиная ветер, размахивая листком бумаги со стихотворением про кукушку перед призраком своей будто бы близкой смерти, да и в своих современниках видя чересчур уж измельчавших, «ломких» попутчиков, которым, словно детям, надо напоминать, и что «суд истории тяжел», и что ни слепыми, ни глухими, ни трусливыми, ни лакеями быть нельзя. Современники могли б на Купалу и обидеться. Современникам Купалы даже в голову не могло прийти, что беспокойство поэта о сохранении высот человеческого

достоинства «отныне и присно и во веки веков», было более чем своевременно...

В 1935 году Купала говорил чешскому писателю Франтишеку Кубке: «Я — поэт новой белорусской деревни, Есенин и Клюев долго ныли по старой деревне. Я же не жалел о ней ни минуты». Не верить Купале нельзя, да и как мог жалеть ее тот, который всячески вырывался из нее, тот, из которого вышел не землевладелец, а певец, показавший всю нечеловеческую тяжесть жизни старой деревни. Но ломку старой деревни Купала не мог воспринять без боли, хотя бы по той причине, что там, в старой деревне, продолжали жить его мать и сестры. И еще одно было у Купалы: мир новый и старую, так сказать, шкалу ценностей перед новыми представлениями о мире, людях Купала никогда так прямо не противопоставлял, как в стихотворении «Уходящей деревне». И чтоб выяснить эту черту Купалы, вернемся еще раз в Окопы.

Еще на улице Захарьевской в одном доме с Янкой Купал ой жил тогда и поэт Исидор Самойло-Тулягер, который обычно читал свои стихи вслух, как будто они были написаны без знаков препинания, и при знакомстве с кем-то обязательно подчеркивал, что он не тот Самойло, не зарубежный. Не подружиться с соседом Купала не мог, придерживаясь принципа, что нельзя любить все человечество, не любя соседа. Тем более, что сосед был поэтом — из новых, обещающих. Вот и стал приглашать его Купала в гости к своей матери и к шурина в Окопы. Приглашения стали традиционными, и вдвоем они, бывало, и летом и зимой бродили по холмам и перелескам окрестностей Окоп.

И гостю этому ни один блин, который он старательно поворачивал в жиру или сметане, ни разу не стал поперек горла, да и сам он никогда не думал, что ест в кулацкой хате, хлебает кулацкую верещачку и хвалит кулацкое гостеприимство. Но что вдруг стало с этим визгливым, казалось бы, вечным хвалителем хлебосольства матери Купалы и шурина Купалы Юлиана Романовского, когда время повернуло деревню на новые рельсы, когда оказалось, что грехом было водить дружбу, на которую Тулягер так «необдуманно» пошел, которая стала его так нежелательно пятнать, компрометировать, — Тулягер сел за роман. Написал первую книгу, к концу двадцатых годов — вторую. Название явно показывало, от кого, от чего он отрекся: роман назывался «Юлиан Окоповский». А чтобы не было никаких сомнений, что это роман о хуторе, к которому Тулягер имел отношение, им был введен в роман именитый поэт из Минска — родственник махрового кулака Юлиана Окоповского. Фамилией, конечно, герой Тулягера — поэт не выдавал бывшего соседа по Захарьевской улице,

однако же, как ближайший друг по прогулкам в Окопах, Тулягер для непосвященных выворачивал именно «скрытое» нутро поэта — бывшего своего соседа, родственника Юлиана Окоповского. Антон Брешко — так звали поэта в романе Тулягера.

В один и тот же год появились диалогия Самойло-Тулягера и стихотворение Янки Купалы «Уходящей деревне» — несколько элегическое по звучанию, ведь писал поэт все-таки о том, что уходит, доживает свой век, гибнет, и внутреннее, шестое чувство подсказывало поэту, что это нельзя воспевать в ритмах бравурного марша, барабанно. Но торжественный разворот образов, апофеоз, восхищение новым образом деревни были в стихотворении действительно такими, что выражали так же глубоко внутреннее чувство, в котором не было и минутной жалости к уходящей деревне. Об этом после и будет говорить Купала чешскому писателю. Поступь истории, прогресс поэт понимал как закономерность — принимал, приветствовал, призывал приветствовать. Но это не означало, что он не видел, не понимал драм переустройства деревни на новый лад. Поэт видел общую перспективу, величие общих сдвигов — общенародных, общесоветских. И он видел вместе с тем и драмы отдельных людей.

...Рыжего Тулягера после появления его романа «Юлиан Окоповский» Купала довольно долгое время не встречал. Встретил, когда однажды довелось ехать в Киев. К нему в купе одновременно ввалились давнишний друг Купалы Змитрок Бедуля и Тулягер. Купала был немногословен.

— Певца пяти ложек затирки прошу, — сказал он Бедуле, имея в виду его известный дореволюционный рассказ «Пять ложек затирки». — Ас вами, — глянул в сторону Тулягера, — мы, кажется, не голодали...

Рыжее пламя копнообразной шевелюры Тулягера слилось с румянцем, залившим его лицо, даже глаза.

«Огонь, да не тот...» — подумал Купала, а вслух, глядя в окно на паровоз, который, дымя, набирал скорость, сказал:

— Вонючий дым. Вот бы вдохнуть запах затирки... Тулягер не стал ждать новых реплик и вышел из купе.

2. ГОД 1930-й

БелАПП входил в тридцатые годы окрепшим, самоуверенным — что там тридцатые годы, вся вечность, которая впереди, — его парадия, прерогатива, паства, суд и власть! Говорилось, что «успехи белорусской пролетарской литературы за последнее время сопровождаются ростом

буржуазно-капиталистической реакции в белорусской художественной литературе» и про «все более утонченные формы» ее борьбы; восхвалялся БелАПП, который «провел большую работу по борьбе с буржуазными и национал-демократическими выступлениями в белорусской художественной литературе», и данный БелАППом «беспощадный бой»; утверждалось, что белапповцы «ни на минуту не должны успокаиваться, забывать о борьбе с вылазками!..».

На этот раз БелАПП давал бой Михасю Зарецкому и Максиму Лужанину. Зарецкий обвинялся в пропаганде романтизма. Подводилась в этой связи и теоретическая база: «Борьба вокруг реализма и романтизма в его конкретных проявлениях и теоретических обобщениях — такой на сегодня теоретический эквивалент классовой борьбы в литературе». Тот, кто за романтизм, кто отстаивает его стилистические особенности, утверждая, что стилем массовой пролетарской литературы может быть или должен быть и романтизм, тот ведет пропаганду буржуазной, бюргерской, кулацкой идеологии, как, например, у Зарецкого-романтика «все характерные признаки мелкобуржуазного романтизма очень легко согласуются с творчеством...».

Купала не мог читать спокойно этот номер «Маладняка». В статье о Зарецком все ставилось с ног на голову. И не у кого-либо другого, а именно у Зарецкого автор находил «ключ от национал-демократизма как брата западного фашизма...». Над раскрытым первым номером «Маладняка» Купала замер в глубокой задумчивости. Как это и в самом деле могло случиться, что литературная борьба переросла в наклеивание политических ярлыков. Зарецкий — фашист?! И где же он, Купала, был до этого, когда все эти споры только начинались, когда все это, будто лавина, накатывалось? Разве ж он не видел? Разве не предчувствовал, не предупреждал? Разве сам он не романтик, не духовный отец Зарецкого, Дубовки, Жилки, Хадьки, Лужанина? Бить — так одним махом, «кто за романтизм, кто отстаивает его стилистические особенности, тот ведет пропаганду буржуазной, бюргерской, кулацкой идеологии...»? Несчастные Шиллер, Байрон! И как это понимать лозунг «Долой Шиллера»?! Долой и Купалу?!

Но Купала о себе не думает, он думает о Зарецком, о всех тех, о ком ровно год тому назад он писал Клейнбарту: «Всех их я очень люблю и ценю». «Всех ли?» — спрашивает сейчас себя Купала. И Дударя-Глыбоцкого, Городню, и вот этого Иллариона Барашко, который называет честного, боевого Михася Зарецкого врагом?

Когда, однако, началось такое? — вопрос этот не дает покоя Купале. С

кризисов «Маладняка», с обособлением «Узвышша», с возвышением БелАППА? Само по себе творческое соперничество литературных организаций дать такого никак не могло! Столкновение самолюбий? Жажда лидерства? Самолюбие — гибель для художника. Это сказал Лев Толстой. Но как молодости не быть самолюбивой, самоуверенной, как не быть ей неудержимой?! Ведь ей даровано святое право и дерзать и ошибаться: у молодости действительно есть время, чтоб войти в берега неторопливой мудрой зрелости, чтоб улыбнуться потом над собою: «Ошибки молодости!» Но здесь нечто совсем другое! — рассуждает Купала. — Бывшая единая когорта молодых как резко разъединилась: послушать — уши вянут. А он же их все время приближал к себе и вовсе не замечал, чтобы шальная злость нарастала в их душах друг против друга. В жизни друзья, однокурсники, к одной чарке прикладываются, из одних и тех же деревенских хат чуть ли не все, а как доходит дело до выступлений на страницах печати, кем и чем только теперь друг друга не изображают.

Мальчишки!

*Вам серпы и косы в руки...
Дали бури, дали вьюги...*

Серпы и косы в ваших руках. Если вы не под божьим серпом, да не окажитесь вы, хлопчики, под серпами друг у друга! Серпы ведь острые! Держа острый серп в одной руке, держите в другой сери мудрости — серп. Скорины, вы, наследники Скорины!

Много вопросов в начале 1930 года возникло в озабоченном сердце Купалы, и многие из них оставались, как говорится, открытыми, без ответа Купалы самому себе, без окончательного понимания им самим, что делается, почему так делается, куда все это идет и к чему приведет. Может быть, в бесконечных критических баталиях происходит еще так скверно и потому, что критика в Белоруссии вообще дело новое. А она и вправду была делом новым.

Белорусская литературная критика в двадцатые годы только зачиналась, хотя и имела свое дореволюционное прошлое — критику Максима Богдановича, Левона Гмырака, Сергея Полуяна, Антона Новины, Максима Горецкого. Среди первых ее представителей были Тишка Гартный, Максим Борецкий, из молодняковцев выделился Адам Бабареко, свой опыт литературоведения и критики привезли в Белоруссию и представители русской филологии — профессора Замотин, Вознесенский,

Пиотухович, Баричевский, чья критика — в отличие от молодняковской и возвышенской — называлась то академической, то университетской. Академические направления в белорусской критике, к которым примыкала критика старейших писателей — Тишки Гартного, Максима Горецкого, почти до конца двадцатых годов были солидными, с разными концепциями и нетерпимости не проявляли. Дискуссионной, разгоряченной почти с самого ее начала стала критика молодняковская и возвышенская. Пошло это с конца 1926 года, и Купала был прав, когда обострение литературной полемики связывал с первым кризисом «Маладняка», с выходом из него «Узвышша». 1930 год был далек уже и от первого кризиса, и от второго, когда «Маладняк» влился в БелАПП, но литературные баталии не только не утихали, а вот дошли даже до политических обвинений.

Не он один видел, понимал, что разгул групповщины — беда. Но что особенного сделали они — он, Колас, Гартный, Зарецкий, Громько, Чарот, Александрович, — когда в конце 1927 года объединились в новое литобъединение — третье? Объединились, и только, записав первоочередной задачей организации объединение литературных сил. Думали, само их объединение — «старых», молодых — подаст пример единения. Не подало! Видимо, беда в том, что полымянцы, как и он сам, были более молчаливыми, чем белапповцы. Олимпийским возвышением своего «Полымя» (так они называли свое, третье в Белоруссии, литобъединение), олимпийским молчанием, чего и в самом деле они могли добиться перед напором БелАППа. «Полымем» хотели они, Купала и Колас, погасить пламя групповой схлестки, а вот теперь само «Полымя» топчет Бэнде.

Слишком долго, однако, не верил Купала в силу Бэнде, ведь еще полгода назад — до зловещей статьи о Михасе Зарецком, писал своему глубокоуважаемому биографу Клейнбарту: «Напрасно Вы обратили если не серьезное, то вообще внимание на... отзывы недоучек писак о Вашей книге...» Книгой была «Молодая Беларусь», а критиковал ее Бэнде. В том же письме Купала писал: «Книгу обо мне, Лев Максимович, заканчивайте, и она (я уверен) будет напечатана... если ГИЗ БССР будет в чем-нибудь не соглашаться, то над ним еще есть также начальство, с которым пока что я в хороших отношениях». Не в хороших — в самых наилучших отношениях с высоким начальством был тогда Янка Купала, и только скромность не позволяла ему говорить об этом. Но своей уверенностью тешил себя и своего биографа поэт напрасно, как напрасно думал, что Бэнде — не сила, которая помешает. Помешает! Еще как помешает. Книга Клейнбарта о Купале так и не увидит свет, зато в 1932 году выйдет пасквильная книга о

Купале того же Бэнде, в которой Клейнбарт будет именоваться не иначе как... меньшевистским критиком! Ха!.. Он, Бэнде, недоучка писака?!. Он вам покажет «недоучку»! Университетов не кончал и Белинский! Вы еще не знаете Бэнде!..

Купала в начале 1930 года и в самом деле еще не знал, что такое Бэнде. Бэнде — это претензия, напор без всяких оглядок ради утверждения правоты однажды усвоенной догмы. Мерой же принципиальности для Бэнде была мера воинственности в утверждении вульгаризаторской схемы. Какой же была эта схема?

Критик Бэнде выдавал себя за критика истинно марксистского, точно так же, как другие деятели ВАППа во главе с Авербахом, Лялевичем и др. Бэнде — один из последователей Авербаха, его цель — и в Белоруссии привести литературно-критическую мысль к одному знаменателю — к схеме вульгарного социологизма. Сама эта схема, сформулированная в трудах идеолога ВАППа В. Фриче, упорно навязывалась советскому литературоведению. В Белоруссии Бэнде начал с «Введения» к «Материалам» и «Очеркам по истории белорусской литературы» («Маладняк», 1931, № 5). Рекомендации, как определить идейную сущность произведения, здесь очень просты. Бэнде цитирует Фриче, который поучает: «По «надстройкам» класс может, конечно, познать те или иные стороны своего классового «я», как он по ним может узнать классовое «я» других классов. Но это итоговый момент — классы, действующие в обществе, прежде всего борются за свое существование и власть, а не занимаются тем, что остаются в состоянии созерцательного познания». Вот и все «рациональное зерно» фричевского вульгаризма, из которого вымахали спорые побеги дальнейших рассуждений последователя Фриче в Белоруссии, который заявлял: «Мы привели довольно длинную цитату из труда В. Фриче, опубликованного после его смерти, потому что она не только выявляет генезис искусства-литературы, его классовую обусловленность, но она одновременно ясно формулирует социальную функцию литературы. Это основное методологическое положение поможет нам вскрыть классовую обусловленность, классовые сущность и функцию в процессе классовой борьбы литературного стиля в белорусской литературе, как и каждого отдельно взятого писателя». И так, по «надстройке» — это значит по литературе — узнавать классовое «я» автора, выявлять классовую обусловленность литературного произведения, в котором проявляется «я», проявляется класс, к которому «я» принадлежит, ибо само это «я» может функционировать только как представитель класса. «Я» — порождение класса, и оно в силу этого не

может избежать того, чтобы не защищать интересы своего класса, выражает классовые интересы только этого класса. Все очень просто, логично, ясно. Бэнде готов делать тотальный пересмотр всей белорусской литературы, и он начнет его, конечно же, с правофланговых — с Купалы и Коласа...

Купала, однако, январский номер «Маладняка» за 1930 год до конца еще не дочитал. Купала читает в нем еще и статью Бэнде — теоретическую, об отношении к буржуазным спецам. «Что за проблему спецов вздумал ставить этот человек в 1930 году? — удивляется Купала. — Сейчас же не 1917-й и не восемнадцатый год?!» Бэнде же представляет ситуацию в белорусской советской литературе так, будто в ней все эти дореволюционные старые писатели, разные попутчики (крестьянские и некрестьянские) и не думали принимать социалистической революции, все ждут, кто кого, и все игнорируют пролетарскую литературу так же, как буржуазные спецы игнорировали молодой советский строй, рождавшийся в Октябре. Сидят молчат. Чего молчат? Почему молчат? И почему это им так долго верят? Вывод Бэнде грозен: «Отсекать!..»

О, здесь Купала уже почувствовал: Бэнде не шуточки. Это не выпад какого-то там доморощенного вульгаризатора наподобие Городни, который не так давно поддел Купалу вместе с Владимиром Жилкой очень прозрачным намеком, что Жилка, как «необуржуазный» поэт, находящийся для себя возможность выполнять социальный заказ нэпманов, попов, кулаков, корчмарей», при этом отталкивается от Купалы, берет эпитафией строки из купаловских «Поезжан». У Городни была инсинуация, и только здесь, у главного критика БелАППа, теория: Купала — «спец», который умолк; в 1927 году ни одного стихотворения; 1928 год — до декабря опять ни одного. В декабре написал два и два в конце двадцать девятого. Неохотно приглашает Купала муз в дом под топодем! Он, Бэнде, разберется, какие классовые корни молчания у этого тополя над домом молчуна?! Не разобрались другие, он разберется!..

Революция, происшедшая в стране, была великой пролетарской. Отсюда зачастую — прямолинейные выводы: только пролетарское есть великое, только пролетарское — революционно, а новая литература, которую рождает новое время, должна быть только пролетарской — литературой передового класса пролетариата, о пролетариате, для пролетариата. Кто первый пролетарский писатель? Алексей Максимович Горький. А в Белоруссии? Тот, кто пишет о пролетариате, кто сам вышел из пролетариата. И первым пролетарским белорусским писателем объявляется

Тишка Гартный, ведь он и кожевником был, и землекопом в своем родном местечке Копыле, опять кожевником в Сморгони, рабочим в Риге и на петербургском заводе «Вулкан». Тишка Гартный — белорусский Горький! А первый белорусский пролетарский поэт, конечно же, автор поэмы «Босые на пепелище» — Михась Чарот, и о Чароте крупным шрифтом пишут в двадцатые, как о Шекспире, десятки статей, а о Купале до 1928 года появилась в «Маладняке» № 9 за 1925 год только одна рецензушка в 23 строки петитом. Так же первым пролетарским поэтом провозглашался и Андрей Александрович, так как был сыном минского сапожника, да и потому, что свой первый сборник назвал «На белорусской мостовой». Если Гартный, Чарот, Александрович были первыми, то кто же вторыми? Купала, Колас?..

Ты — пролетарский, ты безоговорочно верен ре. волюции, ты — ее, она — твоя — вот что означало тогда для многих писателей слово «пролетарский»; и если бы не началась спекуляция им РАППа, ВАППа, не было бы и этой переоценки ценностей, которая отодвинула на задний план Купалу и Коласа как певцов крестьянства и выдвинула Александровича как певца белорусской мостовой — на первый. «Пролетарием» в прямолинейном понимании стал как бы привилегией на лидерство, на первородство — козырной картой в руках ВАППа, а со дня основания БелАППа и в руках БелАППа. Возвышение иллюзорное, но если ты посчитал свой авторитет ботее высоким, как не впасть в искушение, что только ты выше, только ты «пролетарский».

Великий Ленин неоднократно указывал на угрозу психологического перерождения не проверенных жизненным опытом победителей и в полный голос говорил о ком-чванстве. Партия заметила проявление его и в литературной жизни, и уже в 1925 году ЦК ВКП(б) принял постановление о литературе. Этим постановлением партия не давала никаких исключительных полномочий ни тем писателям, которые стали квалифицироваться по разряду пролетарских, ни тем, которые считались крестьянскими или интеллигентами-попутчиками. Это было очень мудрое решение партии, особенно в том, что оно лишало права писателей того или иного социального происхождения говорить от имени партии. Главным объявлялось принятие платформы Советской власти и давался полный простор развитию всех творческих стилей и индивидуальностей, объявлялась полная поддержка со стороны партии и крестьянским писателям, и попутчикам, если они стали уже на путь создания новой литературы нового общества. Если ж они еще не стали на новый путь, говорилось об их переустройстве, о необходимости помочь им

перестроиться.

И глубоко закономерно, что именно в это время, в 1925 году, Купале, а в 1926 году Коласу присвоили почетные звания народных поэтов Белоруссии.

Но рапповцы само постановление истолковывали в свою пользу, как закамуфлированное под них, ибо как это партия может отказаться от них, от «самых пролетарских» и самых-самых «революционных»?! Партия, рассуждали они, не может прямо сказать, что она надеется на них, но она, уверяли они, несомненно надеется на них — на первых, на самых-самых. И так не только думали самоуверенные ревнители своей «революционности», но и свои мысли, как могли, вбивали в головы всех этих «нечистых» крестьянских, интеллигентских и самых-самых разных иных попутчиков. Свое вульгарно-социологическое понимание литературы, дело перевода литературы на социалистические рельсы они ничтоже сумняшеся присвоили себе, взяли в свои руки, монополизировали, содрали в литературной жизни атмосферу жестокой нетерпимости к «инакомыслящим».

Вульгарный социологизм надвигался на Купалу и Коласа как черная туча. Молния в пень не бьет, бьет в раскидистые кроны дубов и сосен. На Купалу и Коласа в первую очередь и обрушатся громы и молнии вульгарной критики.

А жизнь шла своим чередом. Февраль, март, апрель 1930 года — в республике трехмесячник белорусской национальной культуры. Купала ездит по республике: выступает со стихами в Бобруйске, Витебске, Хойниках, Мозыре. Особенно любит читать стихотворение «Уходящей деревне». Мать не может никак привыкнуть к минскому дому под тополем, тоскует по Окопам. А сын приветствует конец хуторских Окоп, стремится развеять печаль своей матери — и не только ее — воспеванием обязательных для человеческого счастья добрых перемен.

Купала читает в «Правде» статью И. В. Сталина «Головокружение от успехов» и искренне принимает ее как действенную настоящую заботу главы государства о крестьянстве, как свидетельство бережного отношения большевиков к людям. «Советская власть — мудрая, святая, только вот люди, как лес, неровные, — думает Купала. — Не все еще люди одинаково доросли до вершин Советской власти, данной всем как бы на вырост. Вот и коллективизация — на вырост, надо дотянуться до нее умом и сердцем, порывая с обычаями старого сельского уклада, старой мелкособственнической моралью, хуторянством...»

Май пришел к Купале снова с юбилеем. 15-го развернул Купала

«Известия» и увидел статью Луначарского о себе, а 9 июня он услышал и голос самого народного комиссара. Было это в Москве, в Комакадемии. А. В. Луначарский говорил, что «новая белорусская литература не бедна», что «она насчитывает в своих рядах немало крупных поэтов. Но все же, — подчеркивал оратор, — отцом белорусской поэзии, которого белорусы не зря сравнивают с Шевченко и по сущности его поэзии и по роли, которую он играет в их родной литературе, является, безусловно, Янка Купала». Дальше нарком говорил об «особом месте» Купалы, который «принес свой словарь, свои образы, свою поэтическую музыку прямо из крестьянских глубин, с целины народного словотворчества, о том, что «многие его песни поются в народе» и что «с ними вместе распространяется энтузиазм Купалы к возрожденной родине». Закончил нарком свою речь словами, что юбиляр в этот день окружен «любовью своего народа, к которому мы присоединяемся в горячем признании литературного и общественного служения поэта».

Признание было полное. Купала читал свои стихи, читали их и Михаил Голодный, и Сергей Городецкий, и украинский поэт Григорий Коляда. Когда Купала возвращался в Минск, статьи Бэнде не хотелось вспоминать. Пришла уверенность: его понимают. То, что было дома, — небольшое недоразумение. Разум должен победить. Но в доме под топодем Купалу ждали неожиданные новости.

Институт литературы АН БССР с первых дней его основания возглавлял академик Иван Иванович Замотин. Сын бывшего крепостного тверского крестьянина, он стал литературоведом с мировым именем: до революции даже избирался ректором Варшавского университета. Очень душевный, добрый, даже чрезмерно, он поэтому, может, и был администратором не самым лучшим: при его директорствовании строгой явочной дисциплины в институте не было. Доверчивый, он отдавал предпочтение самодисциплине каждого научного сотрудника, верил в каждого и доверял каждому.

Не был исключением и Бэнде, ставший при Замотине первым научным секретарем Института литературы: старый профессор поверил в литературную звезду человека, который, как и он, приехал со стороны, приехал — конечно же! — честно закладывать фундамент молодого белорусского советского литературоведения. Глаза Бэнде горели задором. «Горение — начало всего», — решил профессор.

Но не Замотин формировал концепции своего научного секретаря, он привез их готовыми из какого-то вновь образованного института, который, правда, не успел закончить, но несложные идеи вульгаризаторов — шефа

ВАППа и «иже с ними», как любил повторять ученый секретарь, целиком и полностью усвоил. Глянул ученый секретарь на поле критических баталий — на белорусское поле и за голову схватился: дремучая целина! Никто не просветил еще головы этих провинциалов идеями Фриче и Авербаха! Поле, широкое поле деятельности!.. Белорусское, буйное, горькое поле: красовался в буйстве твоём Степан Булат, топтать тебя выходит Бэнде!..

Купала, приехав из Москвы, домой вернулся под вечер. Шел домой медленнее обычного. Мать сидела на топчане под сиренью. Подошел, поцеловал. Владки дома не было. Наконец откуда-то вернулась вместе с Марией Константиновной Хайновской — подругой Владки. Откуда? — Купала спрашивать не стал. «Кветочки»^[42], как он, бывая в хорошем настроении, обычно называл их, были возбуждены.

— Зарецкий, — только и сказала Мария Константиновна.

Купала молча сел в плетеное кресло-качалку, где обычно любил сидеть Бронислав Игнатьевич Эпимах-Шипилло, называя качалку «на волнах Леты». Владка и Мария Константиновна присели к круглому столу. Все молчали. Женщины переглядывались, и то одна, то другая, то обе вместе выходили на кухню пошептаться.

Купала неподвижно сидел в кресле и молчал. Глаз не поднимал. Час, два, три. Когда наконец поднялся с качалки, сказал:

— Попьем чайку.

«Что делать будем? — Пить чай», — вспомнила Мария Константиновна слова чеховского героя-профессора. Смотрела на Купалу: было больно за него, за его любовь к Зарецкому, за тех, кого он так любил. И что он, с окаменевшими глазами, думает два, три, четыре часа?!

Владислава Францевна, убирая со стола самовар, чашки, блюдца, неловко позвякивала серебреными чайными ложечками.

...Молча попив чаю, не сказав ни слова женщинам на прощанье, Купала пошел в кабинет. И его рука потянулась к книгам. Нашел одну, маленького формата, «Путешествие на Новую Землю» Михася Зарецкого, изданную в прошлом году. Купала должен проверить себя, должен убедиться в том, что он не мог ошибаться в Михасе. Когда сидел в плетеной качалке, мысли рвались, как старая кинолента у неопытного киномеханика. Вспоминал нравившиеся им обоим, ему и Зарецкому, посиделки у Вингжецкого — за бутылочкой вина, обычно за теми столиками, которые выносились на уличный тротуар из ресторанчика между Советской и площадью Свободы. Вспоминал Михася дома, такого упорного в работе, за низковатым для него, высокорослого, столиком.

«Горбится, как пахарь над бороздой», — обычно думал, заходя к Зарецкому, и радовался лирическому, как называл в душе, покою, царившему в небольшой комнатенке Зарецких. Пара синеглазых! Жена Зарецкого была настолько красива, что о влюбленности в нее стали даже ходить легенды.

Во время трехмесячника культуры ездил Купала с Зарецким то ли в Хвойники и Мозырь, то ли в Витебск, сейчас уже и не вспомнить. А ведь мог бы с ним поехать и на Новую Землю. Даже с охотой поехал бы, выговаривал же потом Михасю, почему, мол, не позвал.

Очерк, опять убеждался Купала, написан с журналистским блеском: широко, размашисто, с патетикой и лиризмом, хотя не без сарказма, — написан с чувством заботы о Новой Земле, об обновлении Полесья!

«Да, — читал Купала, — это действительно Новая Земля, которую мы открываем шаг за шагом, которую мы отвоевываем у Природы, это действительно Новая Земля, которая даст нам новые, еще полностью не оцененные перспективы, которая выведет нас на новые пути ведения хозяйства».

«Уходишь ты из ясной яви...», уходишь, старая деревня, навсегда, шаг за шагом; да, это действительно Новая Земля, о которой и не мечтали герои «Новой Земли» Якуба Коласа, Зарецкий — певец освоения этой Новой Земли. «Как создается красота» — вот в чем высокая озабоченность Михася. А как опоэтизирована у него вода, Оресса, зеркальная ширь ее разливов, шорох камыша! Купала сам должен это увидеть. Купала сам должен выбраться как-то на эту Любаньщину, на берега красавицы Прессы. Уж если Любань, то не любить ее, видимо, невозможно. Я полюбил уже тебя, Оресса, через Михася, и я, как и он, должен вслушаться в шепот твоего камыша, Полесье!.. Но когда?..

Камыш — это по-белорусски «чарот». Михась Зарецкий писал и о Михасе Чароте. Чарота он не мог не вспомнить среди зеленого половодья белорусского чарота, называя поэта вместе с дядькой Янкой нашим милым, славным и думая, «какой он счастливый, что сумел увязать свое звонкое, высокое творчество воедино с могучим, полным национальной самобытности образом шумящего чарота-камыша!» «Счастливый? — спрашивал сам себя Купала. — Высокое творчество! Вот они — два Михася, — прежний, всегда веселый, и Чарот, который не первый год стал искать утешения в чарке. Лучше бы и не писал он своего Гришку-Свинопаса, лучше бы не было и «Лесной были», фильма, поставленного по сюжету этой его необычайно популярной партизанской приключенческой повести. Жена Чарота играла главную героиню в фильме. После этого она перестала быть женой поэта, стала женой режиссера. А забыть ее Михась

не мог, пытался забыть, утопить свою память о ней в рюмке, но, видимо, так и не смог этого сделать.

Было уже далеко за полночь, когда Купала кончил перечитывать «Путешествие на Новую Землю». Проявляя беспокойство о новом быте на селе, Зарецкий также остро ставил проблему его новой духовной культуры. Зарецкий, без сомнения, сгущал краски, чтобы заострить проблему. Но разве проблема духовности не требует в любое время самого резкого заострения?

Сегодня мы знаем, за что боролся — открыто, страстно, бесстрашно — Зарецкий. Историкам литературы это абсолютно ясно. Зарецкий вульгаризацию называл вульгаризацией, профанацию — профанацией. Он чувствовал, видел, понимал, где искусство, а где подделка, видел, что чем меньше у некоторых художественного дара, тем большего удара можно от них ожидать. Но Зарецкий не обращал внимания ни на какие удары, он говорил все до конца: ставил все точки над «и». «Такой выдержанный, — думает Купала, — мог бы ты, Михась, обойтись без «ишаков», и «ослов», и без «тупой ограниченности!»» «Не мог! — взрывается, будто у Вингжецкого за столиком, Михась Зарецкий, возвышаясь на полголовы над Янкой Купалой. — Ве-ещи, — растягивая слова более обычного, — на-адо называть своими именами, — заключает Михась, — иначе кто узнает когда-нибудь, какими мы были на самом деле и что и как мы на свете своими головами думали?..»

Это не было сюрпризом для Купалы. Александрович всегда держал нос по ветру, высматривал, где сила, спешил туда, где для него открывались большие возможности. Еще вчера он вместе с Купалой был в литобъединении «Полымя», сегодня — в БелАППе. Вчера он подписывал с Зарецким «Письмо трех», размашисто, без особых на то оснований, упрекая университет, в котором учился, в игнорировании белорусского языка (вот какой си неустрашимый борец против шовинистов, где б они только ни объявились), сегодня, чтобы задобрить Бэнде, он уже в союзе с ним. Соглашение вот какое: «Я ваш, белапповец, вы забываете про мое «Письмо трех»!» Сюрпризом же для Купалы было вот что: шестой номер «Полымя» этого года открывался «Поэмой имени освобождения» Александровича, в которой Купала читал:

*...Беларусь у Янки Купалы
Безымянною вековала,
А у Якуба Коласа
И лишенной была права голоса.*

*У Бедули — в беде бедовала,
У Гартного — чуть бунтовала,
По Чароту — безымянная, нищая,
Вышла босая на пепелище,
А по Александровичу Андрею
Окрепла в завяхах
И теперь зовется
Беларусь советская.*

«Еще одни претендент, который все перечеркивает», — думает Купала и зовет Владку:

— Почитай!..

— ...Купала был уже Купалой — он Андрейкой из Сторожовки, а когда Купала в «Белорусской хатке» гладил по белесой головке его, декламатора купаловского стихотворения, был еще этот Андрейка и хористом в хоре Теравского. Быть в хоре, да не стать солистом?

И декламатор начинает думать, что он становится в поэзии всем, хотя он всего лишь хороший декламатор стихов, написанных кем-то другим. И от того, что он тем же хорошо поставленным голосом декламирует потом свои стихи, они лучше от этого не становятся. Но он, декламатор, уже занял свое место, к нему уже привыкли, привыкли к тому, что он — первый декламатор. И хотя он только декламатор, что он декламатор, уже не замечается, забывается, выпадает из памяти и остается на устах малосведущих — *лучший, первый*. И так думает о себе и сам этот лучший, первый, не предполагая того, что он же первым и будет забыт!..

...У Бэнде же настроение в тот вечер было превосходное. Купала не мог знать о том, что критик сидел весь вечер в академической библиотеке и подбирал материалы для очередного доклада. «Отчет литературно-научного кружка студентов С. Петербургского университета» за 1912 год. То, что надо. «Посмотрим!»... «Как сердцу Беларуси, свою признательность». Ага! Кто же это «сердце Беларуси», кто «свою признательность»? Далеко ходить не надо. Журналы на стеллажах, подшивки газет, «Савецкая Беларусь» за 21 декабря 1924 года: «Все время ведется организационно-агитационная работа (вон когда начали!). Где собираться, где сходиться для совещаний, конференций — у профессора Б. И. Эпимах-Шипилло... Квартира старого профессора — белорусский штаб». Со штаба и начнем!

Бронислава Игнатьевича было не узнать. Не слышно обычного, веселого: «Яночка, как живешь?!», «Владочка, как живете?!» Сказал

только: «К вам, простите, к вам», — грузно опустился в плетеное кресло-качалку «на волнах Леты» в уголке гостиной. Начал говорить, что-то забывая, через что-то перескакивая. Куда подевалась профессорская строгость, затаенная в пышных усах, свойственная Брониславу Игнатьевичу улыбка.

— Бэнде... Старый лис...

Для Купалы и для Владиславы Францевны было уже ясно, что привело в такое неузнаваемое состояние профессора.

— Я — благородный... — продолжал профессор, — не шакал, думает твой...

Купала было подумал, что о своем благородстве неожиданно завел речь Бронислав Игнатьевич, но тут же понял, что он говорит о благородстве шакала, а профессор продолжал:

— Но убирайся сам... Сам! Откуда пришел... Советская власть справедливая... Паук; солнца не видно; заткал все своей... как там это слово?...паутиной... Убирайся в двадцать четыре часа!

— Какое он имеет право?! — возмутилась Владислава Францевна.

— Шакал прав не спрашивает!

Купала был бледен. Сказал, не узнавая своего голоса:

— Побудьте у нас! Посидите! Владка!.. Посидите! Этого нельзя оставить...

Купала ищет свою трость: «Где мой конь?..»

— Я иду... Я сейчас...

...Бэнде сидел один в своем кабинете ученого секретаря. Постучав в дверь и не дождавшись ответа, вошел Купала.

— Добрый день!

— Здравствуйте! — сказал критик, делая вид, что улыбается, что рад такому уважаемому гостю. — Чего так рано? — спросил у Купалы, чтобы как-то продолжить разговор.

— Не рано, — ответил Купала.

— Значит, поздно, — в тон Купале продолжил Бэнде, — хотя, — сверкнул глазами, — лучше поздно, чем никогда.

Купала до этого не был в кабинете ученого секретаря.

— Лучше бы никогда, — сводить разговор к шутке Иван Доминикович не собирался и, показав это, начал официально: — Лука Ипполитович!

Лицо Бэнде перекошилось:

— Какой я вам Лука Ипполитович?!

— Извините, — сам не знал, как это у него вырвалось, краснея,

вставил Купала, — было у меня одно такое приятное знакомство, — пояснил.

— Знаю ваши знакомства! — повысил голос Бэнде. — Я вам не какой-то там Лукаш Опанасович из вашей нацдемовской белоруссизации. Хватит!

— Все равно...

— Что все равно?!

— Я пришел официально сказать вам, что вы не имеете никаких прав вести себя так по отношению ко всеми уважаемому профессору Брониславу Игнатьевичу Эпимах-Шипилло, как вы ведете...

— Нацдем, — блеснул глазами научный секретарь.

— Я за него заступаюсь, — твердо сказал и встал с кресла резко во весь рост Купала. Вскочил по ту сторону стола низкорослый, карлик против Купалы, Бэнде.

— Вы сами такой же, как он! — прямо-таки в радостном возбуждении, как победитель, как тот, кто доказал нечто, требующее доказательств, кричал Бэнде.

Купала сказал:

— Если я нацдем, вся белорусская литература нацдемовская.

— Под нацдемовским влиянием. Вся. Хотя есть и здоровые элементы, — ледяным голосом вещал Бэнде.

...Видела бы Владислава Францевна лицо Янки сейчас! Бэнде был в пылу своего мракобесного красноречия.

— Нацдем, Иван Доминикович, нацдем, и это я скажу каждому, с каждой большой и малой трибуны, я скажу, если вы не скажете сами. И ваш Шипилло, и вы — мы все знаем. Дошли уже до того, что в свою банду записываете трудовое белорусское крестьянство. Вы же вот сами держите в руках вещественное доказательство вашей подпольной контрреволюционной нацдемовской деятельности. Не отказывайтесь! Вы не сможете отказаться! Если не засвидетельствует Амброжик, засвидетельствует ваша трость.

Не подав Бэнде руки, Иван Доминикович вышел из кабинета бледный, возмущенный, лишь теперь осознав, что сюда ему незачем было заходить, что надо было идти к Замотину, к Игнатовскому. Но что делать Брониславу Игнатьевичу, как быть ему? Купала зашел к Ивану Ивановичу Замотину. Тот растерян. Видимо, лучше на время профессору уехать в Ленинград. Пошел Купала к Всеволоду Макаровичу Игнатовскому. Обстановка, оказывается, и в самом деле складывается не из лучших. Пока в академии все успокоится, пусть лучше Бронислав Игнатьевич спокойно уедет. Ради его спокойствия, счастливой спокойной старости...

Провожал Янка Купала с Владиславой Францевной любимого ими, дорогого для них Бронислава Игнатьевича Эпимах-Шипилло действительно через двадцать четыре часа. Старый профессор показался им вдруг лет на сто старше того, который навещал их дом под тополем в течение всех последних пяти лет. Старенький-старенький, он едва поднялся на подножку вагона, неуклюже просунулся из тамбура в вагон, но возле окна не остановился. Купала с Владкой, грустные, махали пустому окну вагона, в котором уезжал невинный профессор.

Все лето и всю ту осень 1930 года домой Янка Купала возвращался поздно. Поздно возвращался и не оставался в гостиной, а зашивался, как говорила Владислава Францевна, в спальню. Все молчал. Это было время молчаливой замкнутости Купалы. И Владислава Францевна не обижалась на мужа, понимая это, принимала как должное, чувствовала, что так мужу легче. Розы в саду не радовали, морская галька в кабинете перестала шуметь морем. Но роз нет без шипов — кто в мире этого не знает? Потому и шипы воспринимались как должное, думалось: «Временно! Все изменится к лучшему!» Однако же чувство вины не отступало — вины отца перед орлятами. Он же их сам породил. Породил, чтобы на головы их свалились такие испытания?! Значит, не от него ли их начало? Не его ли в первую очередь вина, что они страдают, его сыновья и дочери, его белые соколы и орлята? Об этом теперь часто думал Купала, это были муки совести виновного и невинного Купалы, ведь он, безусловно, понимал, что, не спой песню Молодой Беларуси он, ее пропел бы любой подобный ему Иван, Ян, Ясь, который не мог не родиться в народе, если этот народ был, появился на белом свете, есть. Но Молодую Беларусь вульгаризаторы выдают за враждебную Советской власти Беларусь, сынов Молодой Беларуси, его, Купалы, сынов, объявляют нацдемовским отродьем, контрреволюцией.

Советская власть, она самая наилучшая в мире, однако вон сколько слизняков оказалось ниже ее, не доросшими до нее: ужами под нею. «Вверх взлетает Сокол, жметя уж к земле». Ужам не суждено летать и при Советской власти! Но они хотят быть Соколами. Ужи хотят быть Соколами. В конце концов, уж хороший, уж не кусается, не жалит. Жалит змея. Кобра...

Но, возможно, эти шальные головы молодых что-нибудь и набедокурили? Могли же что-нибудь выкинуть, чего он и не знал, — шевелится в мыслях змея подозрительности, жалит сердце. «Нет! —

отмахивается Купала, — я же их знал, знаю как себя. Но все же...»

Когда начинаются сомнения — это страшно... А может, и я в действительности не я: со стороны, как говорят, всегда лучше видно. Но на своей стороне Купала видит Луначарского, Карского, Червякова, Коласа, Замотина. Неужели все они ошибались в том, кто он, Янка Купала, и только один Бэнде не ошибается?!

Купала курит. Курит день и ночь. В папиросном дыму словно в тумане. Папиросы покупает большими пачками: по сто штук в пачке. Курит папиросу за папиросой, коробки остаются в кабинете на рабочем столе пустыми десятками. Лежат коробки: силуэты черного всадника в кавказской бурке на черном коне. Всадник-джигит будто кого-то все догоняет и догоняет, и догнать не может — скачет этот джигит по столу поэта, а цокота подков не слышно. Выбрасывает из кабинета коробки с черным профилем всадника Зоська, а Купала ее совсем не ругает за это, как раньше: «Сонька Золотая Ручка, ты опять «казбечину» выкинула?! У меня же там строчки записаны были! Ворона!..» Ни «вороны», ни «золотой ручки»! Один дым!..

...Был поздний вечер поздней осени. Темно. Почти Филипповка. Тополь стоял без единого листика, мокрый, продрогший. Тополь ничего не предчувствовал, ничего не ведал. «Мой верный страж», — называл тополь Купала, и этот страж гнулся, не ломаясь, под злыми порывами навязчивого ветра. Ни месяца, ни звезд над ним...Купала снова в госпитале. Возле его постели одна Владка. 14 декабря 1930 года в больнице он прочитает в газете «Звезда» «Открытое письмо Я. Купалы».

3. «ПРИДЕТ НОВЫЙ И МУДРЫЙ ИСТОРИК...»

Для Купалы всегда живой саднящей памятью было все то, что он пережил в «Нашей ниве» в 1908 году, — и горница Лапкевичей, державших его в качестве работника, и Лаздину Пеледа, и его бегство из Вильно в Бенин — первый крах его юношеского романтизма, его невыразимое отчаяние от того, что паруса его романтических мечтаний порвал в клочья прагматизм владельцев «Нашей нивы». А в открытом письме обо всем этом говорилось так, что Купала не верил своим глазам.

Рукопись открытого письма Купалы не сохранилась, сегодняшние историки тем не менее уверены, что это фальшивка. Трудно представить, что Купала сам мог говорить о себе как о контрреволюционере, сам легкой рукой мог подписать все то, что содержалось в последнем абзаце письма,

где он, Купала, говорил о своем категорическом и бесповоротном, идейном и организационном разрыве с белорусским национал-демократизмом. Ну, допустим, объявлял бы он о своем идейном разрыве! Но организационном — какой мог быть организационный разрыв, если и организации-то никакой никогда не существовало, если было у Бэнде единственное надуманное вещественное доказательство какой-то организации — трость Купалы с монограммами?!

...Зима конца тридцатого — начала тридцать первого года была снежной, суровой. Владислава Францевна не успевала расчищать дорожки от тополя вдоль веранды до крылечка, как их снова заносило пушистым снегом. Когда морозное солнце заглядывало во двор с чистого синего неба, снег под окнами лежал высоким валом, будто Карпаты, сверкал, светло-голубой, просил прогуляться мимо него, но хозяин из дому не выходил. Владислава Францевна как можно быстрее старалась расчистить дорожку около тополя, чтобы меньше находиться на виду улицы, чтобы поменьше слышать вопросов, расспросов соседей, знакомых, что с дядькой Янкой, как его здоровье. Владислава Францевна расчищала дорожки регулярно, аккуратно, как бы предчувствуя, что в доме быть высоким гостям, а первыми к больному Янке Купале явились действительно гости самые высокие.

В те дни, возможно, больше всех во всей Белоруссии переживал за Янку, за все, что так несуразно произошло в доме под топодем, Николай Федорович Гикало. И Николай Федорович решает: ехать к Купале! И фотографа взять! Во-первых, понимал Николай Федорович, Купалу надо успокоить, его приезд не сможет Купалу не успокоить уже тем, что будут отброшены любые сомнения насчет характера и сущности взаимоотношений между главными государственными деятелями и первым Народным поэтом. Если дом этот не обходят вниманием, как и раньше не обходили, товарищи из ЦК, то, значит, в доме под топодем все в порядке и любой нездоровый интерес к нему будет наперед обуздан, перехвачен. Во-вторых, фотография о посещении правительством дома поэта попадет в печать, и это покажет разным оголтелым критикам, что поэт пользуется доверием правительства, под защитой правительства, что партия, ее ЦК КП (б) Б о нем самого высокого мнения. На второй день после посещения Купалы Николаем Федоровичем в республиканской печати появилась известная фотография «Члены правительства БССР — гости Янки Купалы».

В доме Купалы Бэнде ни разу не был. Но звонить Купале он звонил, и, заслышав в трубке его визгливый голос, Купала сразу знал, что ничего хорошего ждать не следует. На этот раз он сказал, что Купале необходимо познакомиться с капиталистической прессой и что соответствующие газеты ждут его в библиотеке Академии наук. Этими газетами были «Kurjer Wileński», «Шлях моладзі», «Беларуская крыніца», «Беларускі звон». «По ком?» — сразу же подумал Купала. А звон был не по ком-то, а по нему самому, Купале. «Беларускі звон» от 26 февраля 1931 года поместил портрет Купалы в черной траурной рамке. В «Беларуском звоне» даже некролог на Купалу был напечатан. Читать некролог на самого себя кому приходилось? А вот Купала сидит читает. В читальном зале народу немного, тишина, как на кладбище. И может, сейчас, как никогда, он понимает, что такое политика, что враги БССР, СССР действительно коварны, жестоки. До этого Купале иногда казалось, что вульгаризаторы реального врага, с которым воюют, как бы и не видят. Империализм, капитализм, национал-демократизм, национал-фашизм! Они пугают, нагоняют страх, раздувают большой огонь, при тушении которого сами же выступают и главными пожарниками, и главными героями. А здесь Купалу хоронят люди, которых он даже знает в лицо. Для них Купала — повод. Они действительно всем своим классовым контрреволюционным нутром ненавидят Советы, революцию, большевиков. Большевики арестовали Купалу! Купала покончил жизнь самоубийством! Большевики заставляли писать Купалу так, как он писал в последнее время, и Купала, мол, этого не выдержал. Смерть Купалы простить нельзя!

Радослав Островский, Акинчиц. Этих Купала не знает, а вот Антона Лапкевича знает хорошо, и для него их триумвират мерзок, противен, гадок. А разве действительно сегодняшним панибратством с явными фашистами Антон Лапкевич не чернит его, Купалу, не дает лишнего повода Бэнде кричать, что как он, Бэнде, мол, говорит, так и есть на самом деле: яблоко от яблони далеко ли катится?! А может быть, и все недоразумения здесь с ребятами — бывшими молодняковцами — тоже из-за них, из-за этих закордонных хищников, антисоветчиков? Беларусь, какая ты разная! Одна мова^[43], да для разных белорусов! Пусть бы разные белорусы по-разному и говорили, а то: брат по мове — Островский?!

Отповедь «Звону» и «Крыніцы» Купала даст самую гневную, ведь только категорически можно разговаривать с врагом, ибо здесь не будешь делать на полях разные пометки-оговорки, что, мол, чуть было не пошел к Аврааму на пиво, если бы не Козубович, если бы не Владка, не будешь же вспоминать, что еще во времена «Белорусской хатки» ты вместе с

Теравским имел около десяти дней домашнего ареста, пока не выяснилось, что с красоткой — лазутчицей легионеров, записавшейся в артистки «Хатки», вы с Теравским никаких дел не имели, если не считать, что были шутящими соперниками-воздыхателями. А вообще, какое ваше дело, Панове, вражья сила, 36,6° у меня температура или повышенная? «Со стороны Коммунистической партии и Советской власти как пользовался, так и пользуюсь самым доброжелательным и уважительным отношением». Сдержанно и конкретно пишет Купала. И это была суцкая правда. И дальше, как ножом, режет Купала: «Я с негодованием отмечаю эту фашистскую клевету и всяческие слухи о том, что я когда-нибудь был противником Коммунистической партии и Советской власти».

Отпор Купалы закордонным врагам — как «бритва обоюдоострая». Не Бэнде predetermined, не по чьему-либо указу было написано это, но по велению сердца поэта. И отпор этот, по существу, имел два прицела: бил и за рубеж, бил и по Бэнде. Насколько резко не согласен Купала с Бэнде, как с критиком, историком белорусской литературы, перекраивающим ее карту на свой вульгарно-социологический лад, видно с первой строки стихотворения «Песня строительству», начинающегося словами: «Придет новый и мудрый историк».

Жажда нового, мудрого историка — вот что преобладало над всем в душе поэта на протяжении всех тридцатых годов. Желание очиститься от бэндевской клеветы, этого злого наваждения, избавиться от грубого искажения правды его жизни. Желание мучительное, как жажда в пустыне, мучительное, потому что от несправедливости, и еще более непереносимое, потому что Купала — человек гордый. Но песней эта мучительная жажда души не стала — стала только вот этой единственной строчкой «придет новый и мудрый историк», которая подкрепляется второй строкой — полной веры, что этот историк обязательно «будет, уже он идет», идет, чтобы «новый сказ, сказ правдивый свой вскоре о событиях, людях» поведать свету. О людях — это значит и о нем, о Купале, сказ *новый, правдивый*. Каждое время ждет своего историка, каждый человек ждет его, но Купала и Колас ждали его в тридцатые годы особенно жадно...

Весна 1931 года была ранняя, дружная, и Свислочь вышла из берегов. За одну ночь вода поднялась в ней так, что в доме под тополем подступила к окнам. Чарот организовал спасательную экспедицию. Спасали библиотеку, рукописи, перетаскивая их на чердак.

— Как будто вода решила всю грязь с земли смыть, — говорила Владислава Францевна.

Белапповцы, вульгарные социологи тем и причинили наибольший вред

белорусской советской литературе, что, воюя будто бы за белорусскую пролетарскую литературу, обескровливали ее тем, что дезориентировали даже Купалу и Коласа. Поэтому и радость Купалы и Коласа в связи с появлением постановления ЦК ВКП(б) «О переустройстве литературно-художественных организаций» была невероятной, ибо для них это означало в первую очередь конец Бэнде, конец групповщины, БелАППа.

1932 год уже действительно не был годом Бэнде. Но оставались навязанные белапповцами белорусскому советскому литературоведению вульгарно-социологические схемы. По ним стали писать даже Замотин, Пиотухович, цитируя все того же Бэнде. Бэнде не сдается, БелАПП не сдается, и у них полная уверенность, что основная опора будет только на них — идеологов белапповского пролетариата, разбивших националистическую самобытность. И первый всебелорусский съезд писателей 14 июня 1934 года избирает Оргкомитет СП БССР во главе с новым Михасем — Климковичем, в комитет входят Андрей Александрович, Кондрат Крапива, Кузьма Чорный, Янка Неманский. Ни Янки Купалы, ни Якуба Коласа в нем нет. В Минск, однако, приезжает представитель Оргкомитета СП СССР, и первым его вопросом к Александровичу было:

— А где Кирилл и Мефодий?

Дело в том, что еще с двадцатых годов, когда Купала и Колас впервые появились вместе в Москве, писатели-москвичи их так назвали, пораженные их братской близостью, их одинаковыми огненно-рыжими полущубками, черными валенками на ногах, с галошами — черными, мягкими, рассчитанными на белорусскую зиму с оттепелями, а не на московские крещенские морозы.

Кирилла и Мефодия пришлось в Оргкомитет СП БССР включать, и хотя в Доме литератора Александрович в своей окрыленности продолжал вести себя так, будто он главное начальство, и все еще читал с трибуны «Беларусь у Янки Купалы безымяною вековала, а у Якуба Коласа и лишеной была права голоса», — права голоса Кирилл и Мефодий лишены уже не были.

Уже зазвучала новая формула — за литературу социалистическую по содержанию, национальную по форме. Самобытность с этого времени перестала считаться нацдемовщиной. Безликим поэтам Купала противопоставлялся как поэт национальный, белорусский, мужичий. Правда, многие журналы, сборники, учебники все еще повторяли рапповские схемы, хотя лексика их в какой-то степени обновилась. Но это был уже жалкий лепет. И особенно его никто не слышал на арене

всесоюзной. Постановление партии о литературе 1932 года предопределило жалкость этого лепета, и чем дальше, в глубь 30-х годов, тем торжественнее был выход Янки Купалы к читателю всесоюзному, выход поэта, каким он был, поэта народного, поэта песенного, каждым сердцем человека труда воспринимаемого. Клочками бумаги оставалось написанное всуе никому во всей стране не ведомым Бэнде, а стихи Купалы, все появлявшиеся в «Правде», укрупняли и укрупняли его фигуру, его личность. С торжеством построения в стране социализма шло и торжество открытия имени, песен Купалы — действительно всенародное, действительно впечатляющее. Он становился великим песняром социалистического Отечества, нового мира социализма.

И каждый день как зримые внешние приметы того времени на газетных полосах появлялись слова «первый», «всебелорусский». В них проявлялись и честь и гордость общества, строящего новый, социалистический строй. Первая Всебелорусская выставка. Она открылась 11 июля 1930 года. В том же 1930 году 10 августа открылась 1-я Всебелорусская сельскохозяйственная выставка и в тот же день — 1-я Всебелорусская выставка картин, скульптуры, графики и архитектуры. Широким фронтом шла демонстрация, шел смотр достижений как народного хозяйства, так и искусства. В том же 1930 году в разные месяцы были еще и 1-я Всебелорусская конференция редакторов фабрично-заводских газет и рабкоров; открытие 1-й Всебелорусской фабрики-школы швейников; открытие Всебелорусского стадиона имени 10-летия освобождения Белоруссии от белополяков; 1-й Всебелорусский съезд горняков; открытие первого в БССР Института физических методов лечения; прибытие в Минск колонны 1-го Всебелорусского автопробега, отправка первой партии комсомольцев для ликвидации прорывов в шахтах Донбасса; доставка на Всебелорусскую выставку первого в Белоруссии трактора Сталинградского тракторного завода.

Тридцатые годы — это и первые пятилетки, и первая Конституция социалистического общества, и первые выборы в Верховный Совет СССР и в Верховный Совет БССР. И так на протяжении всех тридцатых годов. Не было года, который не приносил бы чего-нибудь впервые. 1934-й — Первый съезд писателей Белоруссии. 1935-й. 25 июня. В летнем театре сада «Профинтерн» происходит заключительный вечер 1-й Всебелорусской олимпиады самодеятельного искусства. 11 июля. На юбилейной сессии ЦИК БССР М. И. Калинин вручает Белорусской ССР орден Ленина. Первый ее орден Ленина! 26 сентября. В главном корпусе БГУ открывается

первая в БССР постоянная выставка экспортной продукции республики. Через три года здесь будет проходить 1-е Всебелорусское совещание работников высших школ. И еще припомним три даты: в феврале 1939 года в Минске на стадионе «Динамо» будет построен новый трамплин для прыжков — первый в СССР трамплин, построенный в центре города; 10 марта 1939 года постановкой первой белорусской оперы Евгения Тикоцкого «Михась Подгорный» состоится торжественное открытие Большого — первого, конечно, — государственного театра оперы и балета БССР; в марте того же года в Минск переехала из Ленинграда киностудия «Советская Беларусь», также первая в Белоруссии киностудия.

Купала каждый день раскрывает свежие номера газет. Купала под впечатлением информации, Купала и сам посетитель 1-й Всебелорусской выставки сельского хозяйства и промышленности, всего первого, которое становится явью. И у него появляются стихи по тому или иному поводу — по поводу 1-й Всебелорусской выставки, по случаю посещения колхоза «Красный боец» на Борисовщине, в связи с открытием Первого съезда писателей, к годовщине освобождения Белоруссии от белополяков, к юбилейным красным датам календаря, к Октябрьским праздникам, к 1 Мая — целый каскад праздничных, приуроченных к событиям стихов. К концу тридцатых годов этот каскад у Купалы будет особенно звонким. Но мы пока что в его начале.

Песенная сила Купалы-лирика и в праздничных стихах, и в стихах, написанных по какому-либо поводу, часто остается очень и очень звонкой, крепкой. Что ни строка — энтузиазм и лирика, лозунг и песня.

*Страна нарядилась
В цветы и зарницы,
Кличет солнце и месяц —
Взгляните.
Мы шагаем к солнцу с солнцем
Молодым походом...
Слава дорогой Отчизне
И ее народам.*

Праздничные, приуроченные к событиям стихи поэта были не без обобщающих картин, мыслей, особенно красноречивых, когда стихотворения становились в ряд купаловских образов, соприкасались с мотивами, однажды уже нашедшими отражение в творчестве поэта, как это

произошло с новым стихотворением 1934 года, одноименным со стихотворением про буйное белорусское поле 1919 года. Действительно, обобщающую картину повой, радостной жизни народа создавало стихотворение «В нашем поле»:

*Трудимся в поле
Дружной семьей,
Знаться не знаем
С горем-бедою...*

*Солнышко всходит.
Снова садится.
Пашем и сеем —
Вольно трудиться.*

И образ солнышка очень уж выразительно для каждого белоруса ассоциировался с другим: с тем, что когда-то всходило над крепостным белорусом, заставляя его, безземельного, на опротивевшей панской ниве, и, заходя, оставляло его жать панское жито на той же ниве. Певцом судьбы народной, его новой славной доли становился Купала подобными праздничными песнями. Но Купала не мог не чувствовать угрозы, которая всегда нависает над стихотворением, родившимся по случаю, над стихотворением праздничным: оказаться однодневным, стать идиллической одой, стихотворным репортажем. Купала же не мог не чувствовать, что он зачастую идет не за временем, а за календарем, не за человеком, а за событием, местом, которое посетил. Нет, это не выражение энтузиазма времени. А как, чтобы глубже? Как это новое время пропустить сквозь себя, чтобы согреть всей душой, сердцем? И с этим вопросом в сердце Купала становился человеком высшего долга, высшей ответственности — государственным человеком. Он чувствовал зов времени, задачи времени. Чувствуя, уяснял, осознавал. Звала не какая-нибудь просто экзотика, туристский интерес, непоседливость. Звала его Белоруссия, вся страна — от Бреста до Камчатки, от Кушки до Ямала. Звала эпоха — новая, социалистическая. Ведь он был уже весь в ней, весь ее, через нее славен славой всесоюзною, через нее велик. Страна звала, эпоха звала.

И постранствовало сердце Купалы на огни. Май 1932-го — он в Борисове, встреча с рабочими Ново-Борисова, с молодежью. Октябрь — он в Запорожье. Июль 1933-го — в Ленинграде, на заводе «Красный

путиловец», в августе — на открытии Беломорско-Балтийского канала, проплывает все 227 километров канала от Повенца до Онежского озера. А до этого были май, июнь — и Купала на Полесье: в коммуне Белорусского военного округа и в совхозе имени Десятилетия БССР. Что же, однако, происходит с сердцем Купалы? Огни ново-борисовских цехов отражались в зеркальной голубизне Березины, помнившей бесславный конец Наполеона, и в широко открытых глазах Купалы, стучась в его сердце. Гребнем всех своих 49 беломраморных плотин расчесывал Днепрогэс пенный чуб Днепра-Славутича, который помнил слезы Ярославны. Вода высекала солнце, и это восхищало сердце Купалы; и вода соединяла моря, поэта слепили морские маяки, волшебное мерцание плавучих бакенов. Действительно, словно путешествие по сказке. Но вместе с тем в этих бесконечных странствиях Янка Купала не раз ловил себя на мысли, что он словно герой из материнской сказки, тот, который отправился в белый свет, не ведая, что оставил дома и зачем едет.

Сразу не знал Купала, зачем едет он и на Полесье. Корреспонденту газеты «Литературный Ленинград» через год после этого признавался: «Когда я ехал в этот колхоз, я не думал писать». Что, однако, тянуло сюда поэта? Муки творчества? Поиски чего-то, что его удовлетворило бы? Или то, что осталось в подсознании, когда читал «Путешествие на Новую Землю» Зарецкого? Или вообще мотив, тема новой земли, соперничество с «Новой Землей» Коласа? А может, ехал он на Полесье и от праздничных стихов, звонков из редакции, которые будили его, бывало, и среди ночи: «Дайте для очередного номера!» И давал, и не какие-нибудь стишки: «Песню строительства», например!

Социальный заказ времени Купале был известен. Но ощущал он и внутренний зов — на Полесье, и только! Могучий Днепрогэс, славный Беломорско-Балтийский канал! Большевики показали всему миру, что они могут! А тут еще, когда приехал на Прессу, вопросы, вопросы, вопросы: куда ни пойдешь, в какую деревню ни заглянешь, взрослые как дети, дети как взрослые — везде вопрошающие взгляды. В Листенке подбежал чумазый Адамка:

— Что вы напишете про полещуков?

— Что-нибудь напишу, — отвечает Купала.

— Много? — допытывается с именем первого человека любознательный и наивный, как все дети, маленький полещук.

— Много! — отвечает Купала.

У землекопов, самих мелиораторов, вопросы иные. Для них все предрешено наперед: раз Купала здесь — на пишет! На то писатели и хлеб

едят, чтоб писать! Неясности на этот счет у них нету. Есть по другому поводу.

— Всю правду напишете? — спрашивают.

— Одну правду напишу, — отвечает Купала.

Купалу обязывают и наивные вопросы мальчишек, и хозяйские, с заботой о правде, мелиораторов. Вот он в действительности, социальный заказ, заказ реальных строителей социализма, полещуков, самых подлинных сынов драматической истории всей его, купаловской, Белоруссии. «Поэма сложилась неожиданно для меня самого, когда я увидел необычные контрасты, — признавался ленинградскому корреспонденту Купала, и в этом была чистая правда: контрасты для романтика — огонь и лед, первый побудитель его фантазии, замыслов, песнопений.

...Не представить, какой была бы поэма «Над рекой Орессой», если бы Купала приехал сюда ну хотя бы еще тогда, когда приезжал сюда Зарецкий. На Полесье 1933 года приехал не Купала-романтик, а всего лишь Купала-репортер, который не взял с собой своей самой основной палитры красок — романтической. «Тот, кто за романтизм... тот ведет пропаганду буржуазной кулацкой идеологии!..» За ведение якобы такой пропаганды и был уже отлучен от литературы романтик Михась Зарецкий. И такой пропаганды, конечно, совсем не собирался вести Купала. Но как было ему, романтику, без романтических красок? Красок оставалось мало: реалии природы да быта: «клюв свой ворон свесил над гнилым болотом», «старый челн-корыто» среди заплесневевших топей и веселая моторка на зеркальной глади каналов. Хотя поэма с провалами — с такими воздушными ямами, которые так ощутимы, когда летишь на «кукурузнике», — однако же и здесь Купала оставался Купалой. Особенно в главе «О прошлом», в строках пафосного, афористического звучания:

*Трясина, топи, зыбь болот,
Как там ни называй,
Но большевик пришел сюда —
И он изменит край,*

в строках не регистраторского описания событий, а восхищенно воспетых сердцем:

А на речке, на Орессе,

*Темп работ громовой:
Коммунары, коммунарки
Строят быт свой новый...*

*Новый челн весь полон силы,
Гордостью взлелеян...
Полоненная Оресса
Лилией алеет.*

Эти строки хочется петь, они подымали душу и сердце к пению и в самом деле давали эстетическое представление о величии сдвигов в социалистическом строительстве. За все это и хвалили с высоких трибун высокие партийные деятели Белоруссии поэму — за позицию Купалы, за попытку широкого эпического раскрытия темы, за пафос и строки, которые сразу запоминались. Был Купала, и торжествовал Купала, был уже для всех и каждого в Стране Советов — в стране строителей нового общества, торжествовал как поэт, как творец великого, незабываемого. И все знали, что есть Купала, а не какие-то претендующие на Купалу критики, считавшие себя, свои схемы, свою безапелляционность выше его!

Бэнде поставил свое имя под первой публикацией поэмы, но оказалось, что даже его имя не талисман от вульгаризаторских нападок. Ученики мэтра были уже впереди батьки. 18 сентября 1933 года Купала читал в газете «Літаратура і мастацтва»: «Основным политическим недостатком поэмы «Над рекой Орессой» является то, что рост коммуны и совхоза не, показан в пей в их связи с борьбой против капиталистических элементов деревни. Кулацкая активизация в борьбе против нового социалистического строя в поэме не отражена, не показано, как коммуна и совхоз уничтожали в бою эту кулацкую активизацию». Одним словом, политический недостаток поэмы критик — а им был Алесь Кучар — видел в том, чего в ней не было. Нужно было, по мнению критика, показать, как «уничтожали в бою» кулацкую активизацию. Снова погудка на старый лад: Купала отворачивается от выявления кулацких элементов, не уничтожает в бою, не жжет огнем классовой ненависти...

Купала читал поэму часто и везде. И в Копыле — в городке Тишки Гартного и молодого тогда поэта Миколы Хведоровича, у которого Купала гостил летом тридцать третьего года. Купала начинал читать Миколке те или иные строчки из поэмы, а молодой поэт все хвалил их. «Плохой ты критик, Миколка, если все хвалишь, — говорил Купала. — Головешечка твоя, —

продолжал, — видимо, лучший критик». Головешечкой Купала называл молодую жену Миколы — чернявку, чернее угля. Но более строгим критиком была не она — Якуб Колас.

Колас тоже противостоял Бэнде, как и Купала, но если Купала только мечтал о приходе нового историка, то Колас выступил в 1934 году в «Литературной газете» с требованием, чтобы сами писатели и поэты более активно занимались вопросами литературной критики. Тем номером газеты от 8 июня Колас козырял перед Купалой: «Этот, на один глаз глуховатый и на одно ухо слеповатый, потеряет свою монополию!» Купала сомневался. «Не отступим! — упрямылся Колас. — Не теперь, так в четверг», «Літаратура і мастацтва», правда, выходила по пятницам, и чуть ли не два года ждал Колас пятницы, когда наконец сказал о Бэнде открыто. Это было 31 марта 1936 года. Колас писал в газете о своей неудаче с повестью «Отщепенец», отмечая, что «не последнюю роль отрицательного порядка сыграла здесь и наша критика, которая смотрела на меня строгими глазами Бэнде и требовала быстрее откликнуться на такие важные события, как коллективизация, художественным произведением». Вывод из своей неудачи с «Отщепенцем» Якуб Колас делал единственный: «Не всегда умно поступает писатель, если он боится критика и слушается его». 31 марта 1936 года Колас выступил против Бэнде не без предварительных долгих обсуждений своего выступления с Купалой. Обсуждения велись и в Доме литератора, и дома, и в дороге. Было однажды и такое:

Колас. Думаю, что надо сослаться и на твою неудачу с «Орессой».

Купала. Какую неудачу? Переведена на русский, украинский, польский, литовский...

Колас. Как ее только перевели?! Свистнул раз, свистнул два шустрый паровозик, и повез, и повез за возиком возик. Это удача?

Купала (молчит).

Колас. А это?

*Они знают, что вот так
Не быть тому больше,
Что оставят они знак
Небывалой пользы.*

Что это за Они? Небыть? Это на каком языке?

Купала. Ударения ставь как надо.

Колас. Песенник?!. Сухарь! Я давно уже говорил, что у тебя это

(стукнул рукой по лбу) превалирует над этим (стукнул кулаком в грудь, где сердце).

Купала. Я — сухарь? Так, может, и твой «шевроле» лучше, чем мой?

А здесь мы должны сказать, что приведенный разговор поэтов происходил именно в дороге, когда они на легковом автомобиле подъезжали по Логойскому тракту к Комаровке. В прошлом году правительство БССР и Купале и Коласу подарило по новенькому автомобилю — за их заслуги перед литературой и для их, так сказать, большей мобильности на поэтических дорогах. Вопрос Купалы застал Коласа врасплох.

— И лучше, — отрезал он.

— Гриша, останови! — сказал шоферу Купала, когда черный, сверкающий лаком автомобиль въехал в широкую и длинную лужу, которыми тогда славилась минская окраина Комаровка. Распахнув со стороны Коласа дверцу автомобиля, Купала сказал:

— Если лучше, то вылезай, гений из Комаровки!..

Но писать надо лучше — это Купале было ясно. Только что сделать, чтоб писать лучше?..

Все было первым в первой стране социализма, все было лучшим, потому что новым, социалистическим, и лучшей в мире должна была стать и новая, советская литература. С этой первостепенной заботой и собирался Первый съезд писателей СССР, на котором Беларусь представляли Купала, Колас, Климкович, Александрович, Бронштейн и который окрыляли слова: «Советскому писателю даны все права, кроме права писать плохо». Слушали доклад М. Горького.

Купала всю жизнь любил Горького, считал его своим наставником, посвящал ему стихи. Он был из горьковской плеяды деятелей культуры XX столетия — и по жизненным своим университетам, и по уважению к человеку-труженику как создателю всего человеческого в человеке, как началу всех материальных и духовных ценностей на земле. Обо всем этом говорил в своем докладе Алексей Максимович, как будто имея в виду самую жизненную позицию Янки Купалы — ее самые первичные основания, самые глубокие народные истоки. Точно так же были близки Купале и слова Алексея Максимовича о фольклоре как основе мировой литературы, как сокровищницы, из которой мировая литература почерпнула едва ли не все свои исключительные, монументальные, глубоко философские образы, начиная с Прометея и Антея. А разве он, Купала, в не меньшей степени признателен фольклору, не дышал им, будто воздухом, с первых же своих

шагов в литературе, не стал Купалой благодаря Купалью?..

Максим Горький особенно много имен ни в докладе, ни в дальнейших своих выступлениях на съезде не называл. Но само собой разумелось, что это и о лучших писателях республик говорил Алексей Максимович, когда утверждал, что «у нас уже есть солидная группа живописцев слова, группа, которую мы можем назвать «ведущей» в процессе развития художественной литературы». Тем более что перед этим Алексей Максимович специально подчеркивал мысль, что «советская литература не является только литературой русского языка», что это всесоюзная литература, мысль, которую тогда надо было еще доказывать, особенно делегатам из-за рубежа, всем недругам в мире. Ведь феномен советской литературы был еще миру неведом, вражья пропаганда твердила о «насилии» и «нивелировке», а значение Первого съезда писателей СССР как раз и состояло в том, что он впервые так широко выводил писателей всех братских республик не только на всесоюзную, но и на мировую арену, то есть через всесоюзную на мировую. И это тоже было особенно дорого Купале.

«Всем, что сказано, — подчеркивал Горький[^] — я обращался к литераторам всего съезда, а значит, к представителям братских республик. У меня нет никаких причин и желаний, — продолжал он, — выделять их на особое место, ибо они работают не только каждый на свой народ, но каждый — на все народы Союза Социалистических Республик...» Работают именно на виду, перед лицом всего мира, «включены, — подчеркивал А. М. Горький, — в огромное дело, дело мирового значения... И история, — утверждал великий пролетарский писатель, — выдвинула нас вперед как строителей новой культуры, и это обязывает нас... чтобы весь мир... видел нас и слышал голоса наши...».

Да! Так оно и произошло в действительности. Ведь если сегодня весь мир слышит голоса Янки Купалы и Якуба Коласа, то это лишь потому, что они были писателями всесоюзными и советскими, что партия, Советская власть стали созидающим началом как в строительстве новой жизни, так и новой литературы.

Сам Купала об этом тоже не раз говорил на протяжении всех 30-х годов в публичных выступлениях, в прессе, в личных беседах. А на съезде он оказался в той общей атмосфере благожелательности, которая свидетельствовала о братстве литератур. Съезд, как сказал в заключительной речи А. М. Горький, «работал на высоких нотах искреннего увлечения искусством нашим». А это значило — и искусства Купалы и Коласа. «...Партия и правительство, — говорил все тот же

любимый ими Алексей Максимович, — отнимают у вас и право командовать друг другом... И особенно нужно учиться вам уважать друг друга». Более того, Алексей Максимович вспомнил и о словах «учитесь писать у беспартийных». Для Купалы и Коласа слова эти звучали высоко.

Свои вульгаризаторские схемы национальных литератур привезли на Первый съезд и вульгарные социологи других республик, но не они задавали тон в прениях по докладу М. Горького, не их опыт отмечал, не их критическую мысль впитывал, как губка, Янка Купала. «Вялые паруса поверхностного романтизма» в так называемой орнаментальной прозе критиковал Леонид Леонов, однако не называл романтизм дьяволом а la буржуа. «Чтоб паруса романтизма были только наполнены, — чтоб были!» — вот лозунг Леонова.

После заседаний в гостинице «Москва» Купала горячо обсуждал с Коласом выступления Николая Тихонова, Владимира Луговского. Мастер! Твоя забота — организация в стихе множества переходов от возвышенных размышлений до прозаической зарисовки, воспитание в себе способности говорить обо всем, умение создавать лирическую многотемность. «У нас и в самом деле поэты, как правило, одноголосые, — повторял Колас. — К тому же, — добавлял, — поющие — поиск формы, ритма лишили поэзию живого духа!..»

По-своему об интимности в поэзии говорил Владимир Луговской. «Я говорю, — начал он, — о лирике, а не об интимности... У нас стирается грань между личным и общим. Будущее поэзии — не замыкание в себе, а видение мира в людях — строителях, созидателях и героях. Наше будущее — это разговор с людьми на действительно человеческом языке, разговор со своей страной, с любимой, с деревьями и звездами. Радость твоя делается радостью всеобщей, и горе вызывает сочувствие у тысячи. Я вижу силу нашей новой лирики в максимальной честности и искренности высказывания...»

Здесь было над чем задуматься всем поэтам, здесь было над чем подумать и Купале.

Встретившись в кулуарах с Демьяном Бедным, перебросились шуткой.
— Соловьиный, змеиный?..

— Соловьиный твой посвист, Янка, и останется соловьиным — звеняй! А Колас, смотри, какой витязь! — Хорошо он сказал о живой правде, теплоте и искренности твоего тона!..

Возвращался Купала из Москвы в Минск членом Правления СП СССР, вспоминая и встречу белорусской делегации с Горьким на даче у великого, любимого им Алексея Максимовича, и людную встречу под переплетением

балок огромного цеха с рабочими Москвы, в которой он участвовал, и более тихую, в «Правде» с ее сотрудниками. Он не только сидел в президиуме съезда рядом с М. Горьким, А. Фадеевым, А. Толстым, С. Стальским, но даже председательствовал на одном из утренних заседаний съезда, и это у него, как ему казалось, с его хриловатым низким баритоном не очень хорошо получалось.

Как всегда, он промолчал, проулыбался и на даче у Алексея Максимовича, хотя и волновался необыкновенно. Да и весь съезд был для него сплошным волнением, но приятным, окрыляющим.

Было от чего и волноваться, и крепнуть духом Купале. Перспективы съезд открывал самые широкие. А. М. Горький и на съезде и на даче повторял: мы должны всячески укреплять и расширять образовавшуюся на съезде связь с литературами братских республик. Раскатисто окая, звучал его голос на даче:

— Если мы не хотим, чтобы погас огонь, вспыхнувший на съезде, мы должны принять все меры к тому, чтобы он разгорелся еще ярче. Необходимо начать взаимное и широкое ознакомление с культурами братских республик...

Горький мечтал о новом театре, о ежегодных сборниках многонациональной поэзии, о мастерских переводах стихотворений для детей, написанных в белорусских хатах, кавказских саклях, казахских юртах.

«Огонь не погаснет, если он в таких руках, — думал Купала, — лишь бы этот огонь был настоящий... Но ведь в ответе здесь и ты, поэт. Народ дал тебе талант. Как это говорил Алексей Максимович: «Количество народа не влияет на качество талантов... Нет такой маленькой страны, которая не давала бы великих художников слова». Пусть и не маленькая твоя, Купала, страна, пусть не тебе судить о силе твоею таланта, но теперь ты еще больше должен сделать, обязан!..»

И Купала заулыбался. Он вдруг вспомнил, как в школе Старовойтова над Орессой дети допытывались у него, как стать писателем.

— Пишите и пишите, — говорил он детворе.

Ребятня отвечала:

— Мы же пишем и диктанты и упражнения...

— А вы в стенгазету пишите, в районную газету...

Детвора, чувствовал он тогда, осталась недовольной ответом. Поэтому старшекласникам, сказав вначале то же, что и младшим школьникам, порекомендовал в заключение и другое:

— Вы девочкам пишите — записки — стихами. Когда влюбишься, вот

тогда и пишется!..

Сам того не зная, вспоминая этот шуточный разговор со школьниками по-над Орессой, Купала был уже на пути к тому, что станет дальнейшим обновлением его поэзии, его, купаловским, открытием времени не поверхностно, а самой живой духовной сущности времени, открытием, как говорил Колас, поэзии духа живого. «Сам влюблюсь вряд ли, — думал Купала, — а вот стихотворение «Тем, кого люблю» напишу непременно. Тех же, любовь к которым вскоре станет проявлять поэт, будет в 1935 году много. Полный обычного человеческого внимания и уважения к простым строителям колхозного села, поэт напишет многие свои незаурядные стихи. Так он осуществит социальный заказ социалистического строительства — быть инженером человеческих душ при счастливейшем творческом самоощущении, когда зовет «поэта к священной жертве Аполлон»...»

Глава одиннадцатая

НАД КРУЧАМИ

1. ЛЕВКИ

В 1935 году правительство Советской Белоруссии подарило Купале дачу. Купалу попросили самому найти себе место по душе для ее строительства, и этим местом он выбрал Левки — высокую кручу над Днепром-Славутичем, который испокон веков брал разгон отсюда — из-под Орши, Рогачева, Лоева через Украину, Запорожскую Сечь — к Черному морю. Левки — недалеко от Орши. Левки стали новым прибежищем пенатов купаловской музыки, все больше и больше отвоевывая его у дома под тополем.

От витка — до витка, от колеса — до колеса — история как бы повторялась: от скрипучего в черном дегте колеса телеги арендатора Доминика до — на новом витке истории — колеса автомобиля. Вновь вернуло оно Купалу к соснам, вековым, задумчивым, которые покачивали своими разлапистыми ветвями в высоком синем небе за его дачей на круче, так же как и к тем, которые были за Веселовкой и Казимировкой под Минском, и возле Беларуч и Колодищ, и возле Борисова и Марьиной Горки. А сосны дарили Купале грибы, ягоды и зубровку — шелковистую, душистую траву зубров, которая растет только в Белоруссии. И грибники-зубры Купала и Колас, поэты-зубры — народные поэты Белоруссии, возили в багажнике не только боровики с коричнево-черными покоробленными шляпками, не только огненно-рыжие рыжики, маслянистые маслята, красноголовые подосиновики, но и ее, душистую королеву трав, лакомство беловежских и налибокских набычившихся гигантов, а для поэтов — первейшую травку для гостеприимной настойки.

Вновь открылись для Купалы и Левки, возможно, самые заповедные из заповедных по красоте места родного края, и вновь соединился поэт со «Словом о полку Игóреве», с самым главным героем «Слова» — Днепром-Славутичем, как и с новыми героями дня родной для Купалы земли — с крестьянами, которые теперь действительно «княжили» на своей приднепровской земле. И вновь соединился поэт с плотами на днепровской волне, с песнями плотогонов и заречных жниц, с запахами белопенной

гречихи, с гудением в ней работающих пчел и басовитых, как сам поэт, шмелей. Тешило сердце поэта в Левках и вновь возникшее единение с волнами жита, переливавшегося за волнами Днепра, как их продолжение; тешили волны льна за Днепром, кольшущие под ветрами синие огоньки соцветий, голубеющих летом и становящихся к осени — в рыжеватосолнечных головках — коричневатозолотистыми. Колесо автомобиля довезло сюда поэта, но спасибо и тебе, надднепровская круча, что ты поэта ждала; спасибо тебе, домик на круче, за то, что нетесаные смолистые бревна стен твоих так умиротворяли его душу и сердце; спасибо, балкончик под островерхой дранковой крышей, перед светелкой, с которого столько радостно-тихих восходов и заходов солнца приветствовали Купала, Владислава Францевна, Якуб Колас.

Но разве скажешь про Левки и балкончик лучше тех, кто на этом левковском балкончике встречал солнце и провожал солнце?!

Владислава Францевна

«Когда я вспоминаю Левки, где была наша дача, передо мной всегда встает высокий берег Днепра, старый сосновый бор, задумчивый, шумящий...

Возле Днепра, заросшие кустами черемухи, лецины, в высокой зеленой траве окопы, блиндажи — память первой мировой войны.

По Днепру проходят плоты, за Днепром видны широкие колхозные поля, весной зеленеющие новью, а потом — золотистые в тяжелом наливе колхозных хлебов...

Плотогоны пели песни, которые долго неслись над водами, эхом отзывались в бору. Целыми днями бор полнился птичьим щебетом, ночью и утром весь простор прямо дрожал от соловьиного пенья».

Якуб Колас

«Дача... в необычайно красивом уголке, на живописной днепровской круче, на опушке векового леса. Купала очень любил это место. Когда я в первый раз приехал к нему на дачу, он повел меня осматривать ее окрестности и в первую очередь — в глубь леса. Лес часто пересекался глубокими оврагами. Со склонов оврагов пробивались кристально чистые родники. Они стекали на дно оврага и сливались в небольшие ручейки, подвижные, — говорливые. Несколько таких ручейков стекались в один ручей, шумный и многоводный. Он стремительно бежал к Днепру серебряными переливами мелких волн. Особенно красивый и широкий вид открывался перед глазами за Днепром, с балкона купаловской дачи. Не

одну ночь провели мы в светелке. Мне очень хорошо помнятся утренние часы перед восходом солнца, когда мы, ночуя в светелке, просыпались и подходили к окну. Нельзя было не залюбоваться картиной, открывавшейся перед глазами. Обрывистый склон днепровской кручи, густо заросший пышными кустами, упирается в берег Днепра. Широкой сверкающей лептой среди прибрежных зарослей раскидистого кустарника извивается древний Днепр. Медлительно, степенно плывет баржа с красным фонарем. Пятно огнистого цвета отражается в Днепре, идет вслед за баржей. Тихо проплывают рыбацьи лодки. А вдалеке, выше по Днепру, смутно вырисовываются в утреннем полумраке силуэты строений Копыся.

— Ну что — красиво? — тихо спрашивает меня Купала. В голосе его слышны нотки радости».

Нотки тихой радости, скажем мы, и из этой тихой радости поэта и родился у него в Левках большой лирический цикл — Левковские стихи, явление, заметное не только в белорусской, но и во всей многонациональной советской поэзии тридцатых годов.

В Левковском цикле июня 1935 года — Левки словно в зеркале. Вековые сосны на опушке бора, возле которых приютилась дача, и шумят и молчат, отразившиеся в стихотворении:

*Сосны высокие,
Гордые сосны,
Солнце вбирала вы
Многие весны.*

*Вас, долговечные.
Ветер колышет
Думы вздымаете
Шумом и тишью...*

Стихи «Старые окопы» — о блиндажах и окопах, про которые вспоминала уже Владислава Францевна; «Дороги» — про шоссейную магистраль Минск — Москва, по которой ездил на своем автомобиле из Минска в Левки Купала. «Ехать долго, зато к Москве ближе!» — оправдывался поэт перед друзьями за немного длинноватую для дачи дорогу из Минска в Левки. В стихотворении же «Вечеринка» — суббота, колхозный клуб. По имени называет поэт каждого, пришедшего в этот клуб

с поля, с хозяйственных работ: «пришли Степки, Петьки, Васи, пришли Зоей, Стаси, Каси», «Зина говорит Мальвине, а Мальвина шепчет Зине».

*Повели, за парой пара,
Юрка — Раю, Янка — Маньку,
Сколько пыла, сколько жара, —
Шпарят польку, «Сербиянку»,
А гармошка все играет.*

«Вечеринка» станет народной песней, всем своим задором выражая новую колхозную жизнь. Все молодое колхозное крестьянство тридцатых годов увидело в этом стихотворении себя, а Купала писал его, зная, что на гармошке играет не безымянный музыкант-гармонист, а Василь Романцев; как знал он по имени и всех тех, кто на другой день после вечеринки, в воскресенье, пришел к нему с хлебом-солью на дачу. Почтенный, сосредоточенный председатель колхоза Шастовский, более молодой и подвижный, чем председатель, бригадир Семен Борознов, свиарка Дерезовская, трактористка Маша Охримова, звеньевая Войцеховская, конюх Черкасов, Михаил Старовойтов. Хлеб-соль внес в дом на круче старейший колхозник села Черкасов. Звеньевая несла лен, трактористка — мед, свиарка — пирог, а дети — цветы. И среди них был и тот хлопчик, который на днях, жужжа и взмахом руки рассекая воздух, изображал, что это крутится в воздухе не его рука, а пропеллер. В тот момент мальчик был безразличен ко всему, что было на пыльной Левковской улице, — к курам и голубям, к свиньям в лопухах и к тяжело дышащим от полуденного зноя коровам. Не обратил он внимания даже на то, что сам Купала, слегка опираясь на трость, шел по Левковской улице. Мальчик несся по ней напрямик, видимо, к тому месту возле Днепра, где на пологом выпасе садился недавно двукрылый, со звездами под крыльями самолет. Однако торопился этот мальчик не только на приднепровский берег, но и прямо в стихотворение Купалы «Мальчик и летчик». Мальчишка поэта не заметил, поэт мальчишку заметил. Песней — пионерской, широко известной в тридцатые годы, стало и это стихотворение Купалы.

Цветы несли в дом на круче девчушки, среди них была и Женя Новикова, которую Купала больше запомнит уже потом, когда, как он любил говорить, нашел ее в лесу, нашел, как ягодку, разглядев в глухом лесу за оврагом среди кустистого земляничника. Подросток-семиклассница, она как взрослая прилежно собирала в свой кувшинчик

красную россыпь душистой земляники.

Купала и в счастливых Левках нашел сиротку! Ведь он же не мог не спросить у розовой косыночки, которая так по-взрослому озабоченно собирала ягоды: «А ты чья, цветочка?»

— Левковская, — ответила девочка, зардевшись, как земляничка.

Но Купала был на то и Купала, чтоб допытаться, чья она, и, узнав, что у Евгении умерла мать, что Жене очень хочется учиться, стать учительницей, Куцала после этой встречи, хотя он и находился в лесу, вечером выбрался в Левки — к отцу Жени. Так с лета 1938 года Евгения Новикова стала еще одной студенточкой в минском купаловском доме под тополем, хотя в нем уже были студенточками две дочери Лели Романовской, был студентом сын Лели, тоже Янка, как и дед-поэт.

В Левках летом 1935 года в первое лето Купалы написаны им и стихи «Белоруссии орденоносной», «Алеся», «Сдается, — вчера это было», «Партизаны», «Сыновья», «Как я молода была», «Лён», на рукописи перевода которого еще живой тогда А. М. Горький написал одно красноречивое слово: «Славно!» Действительно, славно писалось Янке Купале в июне 1935 года в Левках. Мы, однако, нарочно не назвали еще два стихотворения от июня тридцать пятого года — «Солнцу» и «Мое мне солнце поводырь...». О солнце очень много думал на днепровской круче поэт, думал в своей светелке, где так любил встречать утреннее солнце, провожать вечернее. Но он много думал о солнце и еще по одной причине: где-то в самом конце мая ему вдруг захотелось, прямо потянуло на старей Долгиновский шлях. Окопов не было, и свернул Иван Доминикович в Мочаны: «Как поживаете, дядька Амброжик?!»

На благодарственном хлебе овдовевшей невестки жил неунывающий прежний хозяин, который не из одной печи хлеб ел: в молодости познал хлеб собачий — батрачий, а сейчас, с поникшими уже плечами, сидел на завалинке и рассказывал сказки. Купала был памятный на сказки: с детства не забыл Песляковых сказок. И действительно, не просто на ветер рассказывал свои сказки и дядька Амброжик, начиная их одним и тем же запевом: «Ни когда было, ни когда будет, но расскажу тебе, Яночка...» Дядька Амброжик то и дело вытирал глаза, которые у него начали слезиться. От старости, от жалости?..

— Ты, Яночка, не думай, что борода у меня только для того, чтобы печь выметать, — говорил дядька, — я и подмести дорожку доброму гостю могу, и след ею могу замести. Ей-богу, правда, истинная правда! Но послушай. Это не про тебя, а может, и про тебя, про твой тополь, а может, и не про твой тополь слышал я сказку недавно. Люди же про твой тополь еще

ничего не знают, да видели как-то в лесу тополь, который оплела своим черным телом змея. Больно тополю, а сбросить с себя змею не может: ему бы придавить змею, притиснуть ее всем своим могучим стволом, проткнуть всеми своими острыми сучьями, но для этого ведь надо упасть. А он же сильный, могучий, как тополь над твоей хатой. Вот я и думаю, расскажу тебе сперва про тополь, который не может своими ветвями-руками поднять камень, чтобы прикончить подколодного гада...

Благодарственный хлеб невестки Амброжика оказался пеклеванным, колхозным; несчастная вдовушка — разговорчивой, как свекор, да еще такой, за которой хоть пешочком с мешочком пойдешь, а она тебя посадит в мешок, да еще завяжет.

— Лучше помереть у мужа в ногах, чем у детей на руках, — говорила молодая вдовица Маруся, вздыхая. — Мне уже не будет того счастья, хоть еще Маруся, если постараюсь.

Невестка Амброжика старалась, и солнцеглазая яичница жарко заскворчала на сковородке, она же нарезала миску колбасы, сала, вывернула на льняную крахмаленную салфетку белый как снег сыр из клинка, пододвинула поэту, а хлеб нарезала большими ломтями, по-мужски прижимая буханку к полной груди.

— На Беларуси все Маруси, — наверно, специально для Янки Купалы, как для поэта, ни с того ни с сего вдруг объявила она, когда дядька Амброжик кончил свою сказку про подколодную змею.

— Пожалуй, соглашуся, — в рифму сказал Купала.

— Ей-богу, истинная правда, — подтвердил Амброжик, — как и то, что теперь уже, Яночка, иначе поется твоя песня. «Зашло солнце, вошел месяц, — начал он речитативом, растягивая слова, и продолжал: — А месяц молодой — стал полною луной, а полная луна — захотела солнцем стать опа... Лучше бы солнце не заходило!» — оборвал свой речитатив дядька Амброжик.

— Что всходит, то и заходит, — закурив, сказал Янка Купала.

— Ей-богу, истинная правда, — подтвердил Амброжик, — но без солнца нельзя. Познав солнце, живи солнцем и, хотя оно и зашло, будь с ним. По солнцу живет мир, а не по Библии, солнце — голова!

— Голова — с орех, а глаза — по яблоку, — подавая еще одну сковородку с припечка, вставила невестка Амброжика.

Купала заулыбался, хотя орех и яблоки не имели никакого отношения к голове-солнцу, а заодно отдал дань и яичнице, перебросив один глазок себе в белую тарелочку с красной розой на зеленой ветке...

— Беда, — начал опять дядька Амброжик, — если всходят три солнца.

Это было нечто новое, и Купала оторвал взгляд от тарелки с розой.

— Беда! — вздыхал дядька Амброжик. — Это вот что на днях рассказал мне как раз на котлище^[44] Казимировки, где сейчас под осень рыжиков хоть косою коси, какой-то дед, может, постарше меня, а может, и нет.

Амброжик лукаво посматривал на Купалу. Ясно было, что Амброжик хитрит.

— Так что там за три солнца? — спрашивает Купала.

— Три солнца — три одинаковых, а вокруг них звезд, звезд — пруд пруди! И тоже все одинаковые, спокойные, молчаливые, как бы мудрые, мудрые.

Молчун Купала улыбается. Дым от «казбечины» над ним ласковыми, причудливо завитыми кольцами. Правой поднятой рукой с папиросой он опирается о стол, сидит к столу чуть боком, чтобы быть лицом к лицу дядьки Амброжика, который сидит через левый угол стола. Амброжик продолжает:

— И пе ведают солнца, какое из них — главное, а тем более два — левое и правое — не ведают, что среднее-то загорелось мыслью быть первым и вот — незаметно для левого и правого — отталкивает их лучами своими одно вправо, другое — влево, а справа и слева — кручи, к кручам их подталкивает, а само к звездам обращается: «Гляньте, посмотрите, это ж левое солнце почему-то на кручу полезло, и правое солнце почему-то на кручу полезло. Гляньте, посмотрите!» Звезды смотрели, разбуженные кличем среднего солнца, на все три солнца, смотрели, а потом начали говорить, кто: «И, правда, видим»; кто: «Ничего не видим!» И сказало им среднее солнце: «Те из вас, которые видят, — светлые, которые не видят, — темные». И, поделившись на светлые и темные, как подняли звезды бучу — свет такой не видел! Темные обвиняли светлых в том, что они мошенники, так как не могли они видеть того, что они, темные, не видели. Светлые же обвиняли темных в том, что те не захотели увидеть то, что они, светлые, видели, потому что не могли же они не видеть того, что было ясно видно. Одна звезда из светлых оказалась с выколотым глазом, и она была объявлена полусветлой. Одна из темных звезд заявила, что она краешком одного глаза видела то, что видели светлые звезды, и она была объявлена полутемной. И спор звезд еще более усилился, так как пошел уже между светлыми и темными, и между полусветлыми и полутемными, а как увидели, что нет мира между бывшими светлыми звездами, черные звезды, которые испокон веков черными яминами тоже гнездятся на небе, как и светлые, то и начали они, как чудища, всасывать в свои черные утробы

звезды и светлые, и полусветлые, и темные, и полутемные. А среднее солнце знай себе молчит и усами не шевельнет, а потом и молвит: «Эй вы, звезды, а знаете вы, кто виноват, что нет между вами мира?» — «Кто, кто?!» — закричали в один голос все эти разные звезды. Повернуло солнце, которому вздумалось стать самым главным на небе, свои хмурые очи влево, повернуло вправо: «Они!..» Левое солнце было уже над бездною левой кручи, правое солнце было уже над бездною правой: подтолкнуть только, и скатятся с неба оба. «Они виноваты», — вращая потемневшими очами, как неторопливыми жерновами, то влево, то вправо, тихим совсем голосом и, будто это ему вовсе не к спеху, объявило среднее солнце. Ой, беда, когда всходят три солнца, ой, беда! — качал головой дядька Амброжик. — Сказка еще эта без конца — вечная сказка, — кончил он, — да лучше бы не знать ее конца, Яночга, лучше бы не знать!..

В июне тридцать пятого: ода в тишине надднепровской кручи, в тишине восходов и заходов солнца во время любования ими из светелки Купала вспоминал амброжиковские кручи, солнца. Сказка была про три солнца, а у него складывалась песня только про одно: то, что светило в счастливые окна светелки:

*Ой, ты, мое солнце,
Светишь светом ясным!
Где ж ты было раньше,
Когда был несчастным?*

Упрекать солнце, может, и не стоило бы, ведь не солнце ж в небе виновато в том, отчего несчастным или счастливым, давно или недавно был поэт из Белоруссии под небом Белоруссии. Поэт понял это, и второе свое стихотворение о солнце начал в Левках со строчки: «Мое мне солнце поводирь». «Мое!» То, которое в небе, как символ светлых сил во всем мире. «Мне!» Янке Купале... Но почему о трех солнцах говорил Амброжик? Гм?! А почему к нему самому, к Купале, чаровница-девчина, которую он просил когда-то прийти и из груди его вырвать сердце, пришла-таки и вырвала «да на трех ножах стоячих» понесла его, смеясь?

В надднепровских сумерках, когда звезды одинаково начинали загораться и в небе, и в зеркале Днепра, Купала вспоминал и про черные звезды дядьки Амброжика. Мелькнула мысль: «Есть они, черные звезды, засасывающие в свою черную прорву? То ли существуют они, то ли не существуют, то ли только в сказке оживляет их народная фантазия? Но ведь

в сказке есть не только: черные звезды, есть живая вода...»

Как у живой воды, у Днепра дни и вечера просиживал или прохаживался Купала в июне 1935 года. В сердце Купалы струилась и тихая радость и нет-нет да и появлялась какая-то настороженность перед этой вот, хоть мак сей, тишиной. Настораживала сказка, настораживала Амброжикова присказка: «То ли будет, то ли нет; или дождик, или снег; или будет, или нет».

Этот юбилей Янки Купалы начинался с 15 ноября и продолжался целый месяц. Генеральное чествование намечалось на 11 декабря. Это был уже не 1932 год, но и не 1925-й. Вообще же юбилейная хроника 1935 года была такая. Первый творческий вечер поэта состоялся еще в конце мая в Минске в Доме писателя. От белорусских писателей поэта приветствовал тогда М. Лыньков, от СП СССР — М. Голодный, от грузинских — Л. Буачидзе, от польских — С. Стане, от еврейских — З. Аксельрод. Именно в этот день, 28 мая, СНК БССР принял постановление «О тридцатилетием юбилее литературной деятельности народного поэта республики Янки Купалы».

В ноябре Президиум ЦИК БССР утвердил комитет по подготовке празднования 30-летнего юбилея Купалы, и вообще сами юбилейные празднества шли на фоне очень большого внимания и уважения к поэту со стороны правительственных органов республики. В январе Купала принимал участие в работе XI Всебелорусского съезда Советов, был избран вместе с Коласом членом ЦИК БССР и делегатом с правом решающего голоса на VII Всесоюзный съезд Советов. В конце января — начале февраля он участвует в работе VII Всесоюзного съезда Советов. Не успеваешь вернуться с III Всебелорусского съезда рабселькоров, как 28 февраля выезжает в Москву на II пленум Правления СП СССР. В конце марта Купала в Харькове — на открытии памятника Т. Шевченко. 11 июля в связи с 15-летием со дня освобождения Белоруссии от польской оккупации и вручением республике ордена Ленина награждается Почетной грамотой БССР. 15 августа 1935 года Купала пишет С. М. Городецкому: «Получилась как-то у меня с «Правдой» взаимная любовь — не скупится в печатании моих стихов». И в самом деле: «Правда» 11 июля уже напечатала стихотворение поэта «Лён», 24 сентября — «Мальчика и летчика», печатают поэта в Москве и «Рабочая Москва», и журнал «Новый мир». В упомянутом уже письме к Городецкому, кроме того, поэт мимоходом также отметил: «Кстати, в редакции «Правды» лежат два моих стиха, которые произвели здесь», то есть в Белоруссии, «сильное впечатление» и за которые, скромно признается поэт, он «получил... великую похвалу от

нашего секретаря ЦК», значит, от самого Николая Федоровича Гикало.

«Жизнь наша такая веселая, что песни сами на уста просятся», — говорил 11 декабря на своем юбилейном вечере Купала, и говорил правду. На этом вечере вульгаризаторы Купалы не присутствовали. Зато приехали А. Новиков-Прибой, И. Микитенко, А. Лахути, Н. Рыленков. Зачитали телеграмму от М. Горького: «Сердечный привет неутомимому соратнику, поэту-революционеру».

13 декабря Якуб Колас сообщал Городецкому: «Юбилей Купалы отпраздновали очень хорошо, тепло, сердечно...»

Банкет был на фабрике-кухне, банкет был и в доме под топодем. В доме под топодем более шумный. Лишь Зоська внесла в гостиную на огромном подносе гору только что из печи, горячей картошки, первым Рыленков, а за ним и все застолье разом выдохнуло:

— Бульба!

Пар от бульбы поднимался к потолку, к тому, до которого после зимы 1930/31 года доставала вешняя вода, и за столом вино лилось не обмелевшей с тех пор Свис-лочью, а паводковой — вешней рекой 1931 года. Десять корзин вина привез Купала на своем «шевроле» из Лошицы, где была тогда винная база. Три пуда крестьянской колбасы накрутили Зося, Владка и Мария Константиновна Хайновская. Столы и кресла были не из детского сада: стол буквой Т, кресла мягкие, обитые красной обивкой. Не жестко никому, весело, празднично. Купала рад всем гостям, разговорчив, как, может быть, бывал разговорчив лишь в кабинете без углов в Карпиловке у Левицкого — после третьей чарки, когда читал впервые «Павлинку», или как при знакомстве с Марией Пеледой — на новоселье у Ласовского, когда, по словам Ласовского, «холодность его таяла, погасшие глаза загорались и открывалась мечтательная мягкая душа славянина», а слова его становились жгучими, как огонь, искристыми, как шампанское. Это был не юбилей трости, который так печально закончился. Никакой инсценировки, никакого заранее спланированного смеха! Смеется тот, кто смеется последним. Тут смеялись так, чтоб не оказалось этого последнего. А душой застолья был хозяин.

— Украина, цвете мой, выращенный солнцем! — распахивал он руки для объятий украинца Микитенко.

— Сад души моей, ковер многоцветный! — целовал он вихор на лбу Лахути.

А молодому смуглому Наири Зарьяну говорил:

— А тебя же, алая заря моя из-под Арарата, не только через две недели, через два месяца домой не отпустим!..

— А Цусиму мы без боя не сдадим, — загоразивал от Владиславы Францевны низкорослого Новикова-Прибоя.

— И как же мне не любить вашу смоленскую землю, — обращался к одухотворенному Рыленкову. — Первый белорусский писатель — еретик-монах Авраамка спасался от своих врагов за стенами смоленского монастыря, а я прятался от немцев за соснами смоленской крепости.

— Первый еретик и последний! — вставил Колас.

— Еретик не в притык! — отрезал Купала. — Еретики не любят цветачек, — и поглядел на Марию Константиновну.

— Не ведают того чудесного цветка, — продолжал Рыленков, — который открывает все тайны и дает полную власть над природой.

— Полную власть над Владкой, — заулыбался Колас.

— Молодчина, Колосок, хорошо сказал, лихочко на твою голову, — выговорил молчун Купала, — так пусть же не кончится «спор славян между собою»!

Спор славян и неславян между собою в доме под топодем не кончался в ту снежную декабрьскую ночь очень долго.

2. ВЕРШИНЫ ЭЛЬБРУСА

Кавказ Купалы начинался, собственно говоря, не с Кисловодска, а с Ессентуков, куда он вместе с Якубом Коласом приезжал лечиться еще в августе 1926 года. «Мне и Купале, — писал своей жене Марии Дмитриевне Якуб Колас, — прописаны одни и те же ванны... В санатории публика делится на две части: те, кто живет в нем, и те, кто прикреплен к нему'. Мы с Янкой принадлежим ко второй части». И здесь Колас шутил: «Первую часть называем мы «буржуазией», а вторую — «пролетарием». Дальше о «пролетариях» Купале и Коласе Колас сообщал жене совсем не то, что характеризовало «пролетариев»: «Гуляем, ничего не делаем, да и делать тут нечего». Но что требовать от тех, кто приехал отдохнуть, подлечиться? А как они лечатся, Колас писал в тот же день 26 августа 1926 года сыну: «Пьем воду не просто из кружки, а через стеклянную трубку-чубук. Прямо смех берет, как посмотришь на людей. Сидят или важно идут с кружками в руках и чубуками в зубах и сосут. Купала тоже купил себе чубук и потягивает через него свою воду № 17. В окно я вижу Эльбрус». Купала тоже каждый день в окно видел Эльбрус, потому что в августе — сентябре 1926 года он жил в Ессентуках в одной комнате с Коласом, жил на даче под звучным названием — «Орлиное гнездо». Хотя, простите, не все время, так

как в конце августа приехала к Купале Владка. Жила, правда, частным образом, но днем возле своих номеров минеральных вод их, из Белоруссии, было уже трое — два орла и орлица, как подшучивал Колас. И не только возле вод, два или три раза ездили веселой компанией в Кисловодск, как писал своей жене Якуб Колас об этом.

О Янке Купале он сообщал жене: «Свободные минуты обычно заполняются шахматами. Но Янка часто обыгрывает меня». Самым интересным в эссендукских письмах Коласа к жене, возможно, как раз и являются именно эти реплики большого друга Купали, их тон, комментарии о жене Купали — пани Владиславе, как называет ее Колас. В самом этом «пани» некоторая ирония Коласа. Но куда больше ее в сообщениях о том, что «пани Владислава лечится от нервов, а больше у нее никаких болезней нет. Сама она говорит, что у нее легкие — «трубить» можно. Но, — дальше въедливый Колас добавляет, — почему бы ей не полечиться». Действительно, почему б?

Лечение, однако, Купалиху не радовало. Через день в новом письме Колас сообщал: «Купалиха злится на погоду, на унылость эссендуковской жизни». Смотреть только на Эльбрус ей, видимо, не хотелось, да и что тот «Медовый водопад», куда ее все тянет Янка, если дождик и так льет и льет за шиворот.

Купала в 1926 году и представить не мог, как войдет красавец Эльбрус в его жизнь. Сразу же по приезде сюда, 19 ноября 1937 года, Купала пишет письмо Мозолькову, тогда еще молодому переводчику Купалы: «Дорогой Евгений Семенович! Как видите, я уже отдыхаю и лечусь в Кисловодске. После всяких вольных и невольных треволнений обрел здесь покой и чудное кавказское солнце».

Вольные и невольные треволнения Купалы! Не так трудно догадаться, какие, из-за чего были они у него, эти треволнения!..

Трезвый смысл, мучительное раздумье Купалы не могли убедить его, что сын попа обязательно бородатый поп, а не Добролюбов, дьякона — дьякон, а не Чернышевский, что дворянин Пушкин, потому что дворянин — чуть ли не белогвардеец, а граф Лев Николаевич Толстой — то же, что граф Аракчеев, а не глыбища мужик, которым восхищался Ленин. Купала вдоволь в свое время нагледелся на Муравьева-вешателя, но ведь были еще Муравьев-Амурский и Муравьев-Апостол, были князья-декабристы Одоевский, Трубецкой, Волконский...

Его любовь, его, купаловские, хлопчики, они всячески старались подчеркнуть интернационализм «интернациональными» браками. Купала только улыбался, когда вдруг появлялась мысль, что он и сам мог бы

засвидетельствовав свой интернационализм по матримониальной линии. Его же Владка — полуфранцуженка. Не только художники были в роду Мане! Купала одного только не знал точно, из рода Клода Monet или Эдуарда Manet была мать Владки: по-белорусски и та и другая фамилия читается Мане. Но Владка все время хвалится, что ее бабка чуть ли не героиня баррикад Парижской коммуны! Бабке ж тогда было восемнадцать лет!..

Владка! Немало вольных и невольных треволнений принесла в это время и ее горячая французская кровь. Ведь она могла запросто взять да уехать — на Кавказ ли, в Крым ли, — оставляя Купалу в доме под тополем один на один с Жураном. И сажал Янка напротив себя в монастырской тишине своего кабинета вислоухого Журана — сам на диване, а Журан — морда в колени, глаза опечалены, как и у хозяина пустынного кабинета.

— О Журане, была бы в наших жилах французская кровь! — такой обычно репликой заканчивался долгий монолог молчания: Купала — Журан...

Или иной:

— Полноте, Журан!.. Как там Амброжик говорит: то ли дождик, то ли снег, то ли было, то ли нет... И разве мы с тобой не журились по доярке из Веселовки, и по винярке из Лошицы, и по Ганке — дочери Пеледы, так похожей на Марию?..

Печалится, журится с Жураном, из Кисловодска в Минск Купалу, однако, не тянуло. Да и здоровье не очень-то шло на поправку. И поэтому Купала просил о продлении путевки еще на месяц, а в очередном письме Городецкому подговаривал его: «Приезжай. Ведь ты сердечник, а Кисловодск, пожалуй (с нарзаном), одно из лучших мест в Союзе для больных сердцем. Притом, я думаю, этот курорт тебе особенно понравится в это время — морозик и солнце, солнце...» Солнцем с морозиком продолжал Купала врачевать боль своего сердца в Кисловодске до 11 февраля 1938 года. Но хотелось этого Купале или не хотелось — пора было возвращаться и в Минск. 23 февраля в письме к тому же Сергею Городецкому Якуб Колас писал: «Янка Купала приехал с Кавказа. Поправился, но сейчас что-то прихворнул...» Прихварывать вообще в последнее время Купала стал все чаще и чаще, и особенная немочь охватила его в мае.

5 мая 1938 года Колас Городецкому писал:

«...С Янкой неважно. Лежит серьезно больной. Перед маем поехал за город, заснул на земле в лесу. Сейчас у него сухой плеврит и воспаление правого легкого. Температура не спадает. Доходила до 39°. Сейчас

держится на 38° с хвостиком. Навещаю его каждый день».

Купала продолжал болеть и в конце мая, лежал, врачи и Колас не разрешали ему вставать. 22 мая Колас писал Городецкому: «Состояние его было предельно опасным. Врачи сильно волновались за исход болезни. Я навещаю его аккуратно каждый день, начиная с мая».

...Товарищу, проводившему собрание в одном из цехов Минского машиностроительного завода, почетным металлистом которого считался Купала с 1925 года и чей подарок — перо в виде миниатюрной винтовки — с той поры свято берег на своем рабочем столе в кабинете, — так вот товарищу, проводившему собрание в цехе металлистов, было не по себе. Сначала он надеялся, что Купала, который долго болел, на это собрание не придет, — а Купала взял да пришел. Тогда товарищ, который вел собрание, подумал, что все как-нибудь утрясется, Купала, как обычно, молча отсидится в президиуме, и все. Но Купала захотел выступить. И надо ж?! — у товарища, который вел собрание, на лбу выступил пот. Однако беспокойства председательствующего в зале не заметили, как не заметил его и Купала, направляясь к трибуне. Ведь никто из присутствующих, как и Купала, не был на совсем недавнем большом собрании, на котором был председательствующий сейчас товарищ и который собственными ушами слышал о Купале: «Польский шпион! Изменник, который только и мечтает, чтобы стать минским губернатором! Пограничный Минск — в опасности, Советская власть — в опасности, социалистическое строительство — в опасности!»

Голос Купалы звучал глуховато. Товарищ, который вел собрание, глянул на «губернатора». Что-то непохож! Но вот не мог же человек выкинуть из памяти то, что слышал, что, впрочем, пока никто нигде вслух, широко, на республику — не повторял, не объявлял.

«Хорошо еще, — думал председательствующий, — что Купала сам не был в том зале...» Но тут же промелькнула другая мысль: «Все-таки было бы лучше, если бы он не выступал!» Что он выступает, это уже теперь и его, председательствующего, вина...

Товарищу, который вел собрание металлистов, было не по себе. А Купала говорил с трибуны недолго и об одном: о своей вере в народ, в революцию, в большевиков. И благодарил металлистов еще раз за их давний подарок — перо в виде миниатюрной винтовки: «Надо будет, к винтовке приравняем перо!..»

Но на собрании не обошлось без эксцесса. Только Купала кончил, и не успел товарищ, который вел собрание, перевести дух, как — из зала послышалось:

— А кой-кто утверждает, что вы враг, ренегат...

Купала как стоял за трибуной, так за ней и остался. Чутьочку больше, чем обычно, дрожала туба, чутьочку глуше, чем до этого, Купала сказал:

— Никогда, ни на каком этапе не отступался я от своего парода, от революции, от Советской власти!

Зал всколыхнули аплодисменты... Прекрасен был в эти минуты Янка Купала, так никогда и не сумевший постичь секретов ораторского искусства, но так преобразившийся, когда произнес: «Никогда!» В этом ответе была сама вера, само утверждение великого борца, отмечающего мелкий навет, вставшего во весь рост, обретшего голос непокоримых, негибаемых, не сдающихся, а побеждающих. Поэтому так долго и гремели в зале аплодисменты, как выражение всенародного уважения к Купале, которого он никогда не терял до этого, никогда не потеряет и после этого, наоборот, это всенародное уважение к Купале будет в конце 30-х годов нарастать даже не год от хода, а день ото дня — уважения не только его народа, но всего его социалистического Отечества, всей Страны Советов.

31 января 1939 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета о награждении советских писателей за выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной литературы. Янка Купала был награжден орденом Ленина. А достижения Янки Купалы были действительно выдающимися — достижения Таланта и Труда. Нет таланта без труда, и Янка Купала всю свою жизнь был великим тружеником. Хотя его мало кто видел сидящим за письменным столом, хотя он был совой-ночевкой: писал ночи напролет, а утром — веселый, бодрый! Ведь написал! Звал послушать Владку, читал соседям или зашедшим друзьям-литераторам. Но легкость все это кажущаяся. День в беседах, день на людях, а когда все это было свершено, обдуманно, слажено, скомпоновано, перечитано, вычитано, если только за пятнадцать с малым лет, с 1925-го по 1940-й, вышло, не считая дважды изданных в Белоруссии (в трех и четырех томах) его Собраний сочинений, еще 37 книг поэзии: в переводе на русский — 16, на белорусском — 18, а остальные на украинском, литовском и польском. Вот откуда она, всесоюзная известность поэта, вот откуда и она, всесоюзная любовь к нему — за Талант и за Труд, за открытое сердце и за скрытую, не видимую никем душевную, творческую страду поэта, за его Труд.

10 февраля высокую награду Родины в Кремле поэту вручил М. И. Калинин. В тот же день Купала написал стихотворение «Сердце и мысль говорит мне...». Но прежде чем Купала побывал в Кремле, три дня приема

у Сталина где-то в конце 1938 года ждал другой человек из Белоруссии — новый Первый секретарь приехал с докладом о положении в республике, проводя мысль, что это ненормальное положение, если таким людям, как Купала и Колас, угрожают разные бэнде. Сталину было доложено, с чем приехал П. К. Пономаренко. Решение Сталина оставалось неизвестным, но время приема назначено.

Об этой беседе не однажды слышали от Купалы Михась Лыньков и Петрусь Бровка.

— Так что, товарищ Пономаренко, приехали защищать белорусских писателей? — вопросом, интонация которого не определяла ничего — за белорусских писателей или против них будет Сталин, — начал Генеральный секретарь. Но не успел, однако, Пантелеймон Кондратьевич сказать ни «да», ни «нет», как всегда медлительный Генеральный секретарь на этот раз тут же продолжил: — Так вот, дорогой Пантелеймон Кондратьевич! Если хоть один волосок упадет с головы Купалы или Коласа, отвечать своей головой будете вы!..

Во время этого же разговора И. В. Сталин попросил связать его с А. А. Ждановым, дал ему наставление:

— Андрей Александрович! По-моему, мы давно не награждали наших писателен. Вот тут у меня сидит Пантелеймон Кондратьевич. Он очень хорошо отзывается о Янке Купале и Якубе Коласе...

Судьба Купалы и Коласа была предрешена, как была предрешена уже и судьба Бэнде, который по возвращении П. К. Пономаренко из Москвы был снят со всех постов и исключен из партии.

Слышал ли, знал ли Купала о том, что он, даже когда спит, видит себя во сне минским губернатором, а как шпион только и делает, что снует между Минском и Левками, между Беломорканалом и Кавказом? Видимо, слышал...

«Как ни тяжело бывает на душе, — писал уже во время войны Купала, — но творческие мысли и чувства сильнее, чем боль сердца». В тридцать седьмом, в тридцать восьмом годах боль сердца заглушалась, творческая задача ставилась на передний план. А творческие задачи были одни, верность одному: продолжать песню социализму, новому строю, людям, продолжать, и только. Как ни тяжело тебе, Купала, ты должен оставаться Купалой, поэтом, верным своему долгу, как ты его понимал, как ты его излагал после Первого съезда писателей СССР в стихах, и статьях, и в своей такой близкой, а кажется теперь — такой далекой, потому что только радостной, без боли в сердце, речи 11 декабря 1935 года, когда ты обещал

«вылить в свои песни праздничную радость, гордый и радостный творческий подъем самых широких народных масс». Обещание обязывало, верность долгу певца, социальному заказу. Поэту поэтово: его дело — песня. Ситуация понятна, творческая задача ясна, творческие мысли и чувства должны быть сильнее, чем боль сердца.

Праздничной была книга «От сердца», красной! И была она действительно от народа, от Купалы как народного поэта, от его сердца. Была она от народа-сеятеля, от народа-песенника, властелином песни которого был Купала, от большого поэтического дарования Купалы и от его щедрого сердца.

С чего начинается книга? С замысла общей композиции, с обложки. Не Купала задумал ее, да, может быть, и художник-оформитель не придал особого значения, когда название книги представил в овале из стилизованных цветов — то ли красных маков, то ли тюльпанов, сплетение стеблинок которых создало конфигурацию, напоминающую двуглавую вершину Эльбруса.

Но не только конфигурацию Эльбруса напоминал узор на обложке. Пересечения линий в этом узоре сплелись в своеобразный, загадочный икс, будто бы задавая будущим исследователям задачу с одним неизвестным...

Остальное же в книге вроде без загадочных двуглавых вершин. Стихи о новой судьбе Белоруссии, Страны Советов вообще. Они песня радости от побед в социалистическом строительстве, от достижений в культурном росте и единении наций. Сборник «От сердца» — это парадный смотр поэтом всесоюзных достижений, и еще это книга судьбы белорусского народа, за которую до самого 17 сентября 1939 года не переставало болеть сердце поэта. Но об этом — в следующей подглавке.

Здесь же мы только добавим еще, что в сборнике «От сердца» Купала все же стихи расположил так, что стержневыми оказались в нем именно те, которые написаны им от имени собирательного «мы». И этим «мы» было много чего здесь нового сказано: мы — советские, мы — Страна Советов, мы — поэты, объединенные в единый Союз писателей СССР, где учатся новым песням, высокому мастерству и у Шота Руставели, и у Тараса Шевченко, Пушкина, Лермонтова, Адама Мицкевича, юбилеи которых так широко отмечались в тридцатые годы. И мы — вот такие, какими, например, выражаем себя, свое «я» в чудесном стихотворении «Генацвале», посвященном не сыновьям Эльбруса, а прекрасной его дочери, Элико Метехели, которую Купала полюбил всей душой.

3. ЕРЕВАН — МИНСК — БЕЛОСТОК

Литературная жизнь в Стране Советов перед и после Первого съезда советских писателей была чрезвычайно интенсивной, многогранной, впервые такой всесоюзномобильной. Ведь писатели всех республик как сдвинулись с места, так и конца-краю не было их пленумам, юбилеям, совещаниям, дискуссиям. Политика партии красноречиво воплощалась в явь: великая советская многонациональная литература громогласно заявляла о себе всему миру; достижения одной нации становились достижениями всех народов СССР; на богатых классических традициях прошлого, на лучших достижениях живущих мастеров советских национальных литератур время призывало учиться новые поколения творческой советской молодежи. Вместе со всеми столицами союзных республик Минск как литературный центр становится на виду всей страны. А с ним и Купала и Колас. Конец 1933 года — в Минске гостит делегация в составе В. Бахметьева, В. Лидина, Б. Ясенского, а также делегация грузинских писателей. Март 1934-го — в Минске представители Оргкомитета ССП Западной области — смоленские поэты А. Твардовский, М. Исаковский, М. Рыленков; в Москве — Купала, участник пленума Оргкомитета СП СССР, потом он же в Смоленске — это уже в конце апреля — принимает участие в работе съезда советских писателей Западной области вместе с А. Александровичем и К. Чорным. Май 33-го — Купала принимает участие в работе Всесоюзного поэтического совещания в Москве. Июнь 34-го — участвует в работе Всебелорусского съезда писателей. В августе — в Москве, на Первом съезде писателей СССР. Январь, февраль 1935 года — Купала в Москве сначала на VII Всесоюзном съезде Советов, после — на II пленуме Правления СП СССР. В марте тридцать пятого Купала в Харькове — на открытии памятника Т. Шевченко. В январе тридцать шестого принимает участие в совещании драмсекции СП СССР, посвященном обсуждению результатов работы драматургов за 1935 год и вопросам творческой взаимосвязи с драматургами братских республик. Февраль — накануне III пленума Правления СП СССР в Минске, посвященного белорусской и башкирской поэзии, принимает участие в радиовечерах поэтов Москвы, Ленинграда, Грузии, Башкирии. Апрель тридцать пятого — в Москве на заседании Всесоюзного пушкинского комитета. Октябрь — в Москве на торжествах, посвященных 30-летию литературной деятельности Коласа; ноябрь — опять в Москве, на VIII Чрезвычайном съезде Советов СССР. 1937 год, февраль — в Москве на

IV пленуме Правления СП СССР, посвященном 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина; декабрь — в Тбилиси на праздновании 750-летия со дня рождения Шота Руставели. 1938 год, мы уже знаем, тяжелый для Купалы: до февраля лечится на Кавказе, май — июнь — прикован к постели плевритом дома. Все лето уходит на отдых — в Левках, Городище возле Минска, в Копыле и только в октябре принимает участие в совещании о положении и дальнейшем развитии искусства в БССР, созванном в Москве Всесоюзным комитетом по делам искусства. В ноябре опять едет лечиться в Цхалтубо (с заездом в Тбилиси), в декабре — в Сухуми, в доме отдыха «Синоп». 1939 год проходит под знаком подготовки к 125-летию со дня рождения Т. Шевченко и 1000-летнего юбилея армянского народного эпоса «Давид Сасунский». Все дороги Купалы идут опять в Москву и через Москву: январь — февраль — принимает участие в вечерах белорусской культуры в Москве, награжден орденом Ленина, получает эту большую награду опять же в Москве. А в марте с Коласом, Лыньковым, Бе-дулей, Кулешовым в Киеве — на Шевченковских торжествах, и снова там же в мае, чтобы 7 мая выехать на могилу Кобзаря в Канев и на каневской надднепровской круче прочитать в своем переводе на белорусский бессмертный «Заповит» любимого Тараса. А в апреле до этого, все в том же году, выступал Купала еще раз в Москве на торжественном заседании, посвященном 80-летию со дня рождения классика еврейской литературы Шолом-Алейхема...

Поездки, поездки, а ведь за всем этим не только речи и подготовка к ним, не только такой обычный для «молчуна» молчаливый взгляд из президиума в зал да приглушенный гул кулуаров после президиума, но и завтраки, обеды, ужины — приемы официальные и неофициальные, люди официальные и неофициальные.

В Москве Купала как рыба в воде: половина Москвы ему знакома. Но есть места, где он бывает чаще всего и где он всегда желанный гость, — на пятом этаже огромного серого дома в Грузинах у своего давнишнего друга Константина Елисеева, на Малой Никитской — у Бори Емельянова; и еще в доме между Охотным рядом и Красной площадью, где жил Сергей Городецкий. Также его пенаты — подмосковные Переделкино и Жевнево. Очень любит останавливаться и в гостинице «Москва» — радуется и комфорт отдельного номера, и то, что на любом этаже в буфетах его любят и привечают — пообедаешь и поужинаешь, и что в ресторане он может редкими глотками отпивать из бокала, не торопясь, терпкое сухое вино, сам с неизменной папиросой в руке — был бы приятный собеседник. Он забрасывает тогда собеседника — особенно, если это Костка Буйлянка,

которая в Москве замужем, или приехала из Минска Мария Константиновна Хайновская, или неожиданно встретил поэт Меделку, да и вообще, если красивая, милая женщина оказалась в импровизированном застолье литераторов, — Купала буквально забрасывает тогда своих прекрасных гениев по возможности самыми большими солнечно-оранжевыми апельсинами, выбирая их из буфета все до единого. Забрасывает и элегантными коробками конфет, требует, чтобы цветы и пейзажи на них были покрасивее, ведь только конфеты в таких коробках очень любит Буйлянка; или чтоб конфеты были с орехами в шоколаде, которые очень нравятся Марии Константиновне. А Нелли Елисеева, молодая вторая жена художника, та и меры не чувствует, зная щедрость Яночки. Купи ей то и это, подари то и это. «Есть еще рыцари на Украине!» — посмеивается Янка, но все же наконец от приставаний Нелли переезжает с Елисейских полей, как он называет дом Константина в Грузинах, в тишину Малой Никитской или дома Городецкого между Охотным рядом и Красной площадью.

После хождения по редакциям газет и издательств, после посиделок с редакторами, переводчиками и обсуждений планов на будущее не остается у Купалы времени, чтобы писать письма Коласу или Владке, и те бесконечно в своих письмах к нему сетуют на его молчание, забывая, однако, все свои сетования, лишь только молчун появляется на пороге дома под топодем.

В чемодане и в руках у него всегда есть что-то для каждого: для Владки — коралловое монисто, переливающееся, радужное, ведь танцовщица Игната Буйницкого Владка до сих пор любит их позванивание; для Зоськи — белый пуховый платок, чтоб не мерзла и коробки из-под «Казбека» с его рифмами неосмотрительно в корзинку с мусором не выкидывала; для Марии Константиновны на этот раз шоколадный торт «Микадо», ведь она же любит все в шоколаде. А стоит не встретить Владке с Марией Константиновной Купалу на вокзале — молчун-молчун, но как начнет выговаривать свою как бы бесконечную обиду, семь дней подряд будет выговаривать, как это было, например, когда не на вокзал, а к наркому здравоохранения однажды заторопилась Мария Константиновна. Помолчит, помолчит Яночка и опять и опять Марии Константиновне:

— На кого Купалу променяла?.. Ку-у-упалу на-а на-а-аркома?!

А на улице Октябрьской вдруг перестал встречать Купалу Журан.

— Где Журан? — спросил Янка у Владки где-то в конце тридцать восьмого года.

— Отвезли к живодеду... Взбесился...

Опустел двор дома под тополем без Журана. И кажется, везде все та же травка росла, из которой Журан так умел выбирать нужную (как в лесу Купала) из разнотравья зубровку, но на этот раз нужной травы для Журана не нашлось. Бедный Журан! Купала взял топор, поддел и оторвал с калитки ржавую жестяную табличку с профилем собаки и с надписью, что собака злая.

...Весь 1939 год был так загружен у Янки Купалы, что Якуб Колас в отчаянье: всю зиму, лето, весну не видел Янки.

За весь год виделись только раз, и то не более получаса, на вокзале, в день отъезда Купалы в Ереван 7 сентября. Янка уезжал не совсем здоровым: с двумя товарищами из Белоруссии — поэтами Алесем Якимовичем и Зеликом Аксельродом, чтобы в Москве присоединиться к московским и ленинградским писателям и уже большой группой ехать на великий юбилей армянского народа. Приехал Купала в Ереван только 14 сентября, остановился в гостинице «Севан», на втором этаже. 16 сентября, с трибуны юбилейного выездного пленума СП СССР говорил о величии поэмы «Давид Сасунский», о том, что в сокровищнице мировой литературы этот эпос стоит в одном ряду с «Илиадой» и «Нибелунгами», «Словом о полку Игореве» и «Витязем в тигровой шкуре». И что в этой поэме — великая идея братства народов, и что в ней народ мечтает о счастливой жизни. «В вашу страну гор и стремительных рек, виноградников и кристальных ручьев, — говорил Купала, — меня послал народ страны дремучих лесов и медлительных рек. По-разному прекрасны наши сторонки. Но одна и та же живет в них советская душа». И еще о нерушимости рубежей южных и западных общей великой родины социализма говорил поэт, о единстве народов, стоящих на страже этих рубежей.

Это говорилось накануне. Купала 16 сентября не знал о том, что и завтра он поднимется на трибуну, чтобы приветствовать мудрое решение Советского правительства взять под защиту население Западной Украины и Западной Белоруссии, чтобы приветствовать освободительный поход Красной Армии. Но душевная деликатность не позволяла Купале показывать свое волнение: «Такого быть не должно, чтоб место белоруса в президиумах славы «Давида Сасунского» пустовало!» Но что там?! Что там?! — билась мысль с утра до вечера и с вечера до утра.

А хозяева были гостеприимными, гордились своей древней культурой. Они тоже разделяли радость белорусов и украинцев, однако же у них программа, и они утром 18 сентября подгоняют к гостинице «Севан»

автобусы, чтобы везти гостей в Эчмиадзин. Янка Купала восхищается древней красотой эчмиадзинской церкви и храмов Гаянэ и Репсинэ. А как так, чтоб быть в Армении, жить в гостинице «Севан» и не побывать на высокогорном Севане?! Дом творчества СП Армении на сказочном острове среди ослепительно голубой глади вод. За гостеприимство, оказанное когда-то под минским тополем, «мстят» Наири Зарьян, Дереник Демирчян, Гурген Маари в Ереване. Три дня держит Купалу среди волн Севана Григорян, а на 21 сентября запланирован еще большой спортивный праздник в столице Армении.

Купала смотрит на красоту камня, ставшего храмами Гаянэ и Репсинэ, и молит душой: «Простите!» Смотрит на голубизну Севана: «Прости, Севан! Прости, Арарат! Прости, расцветшая праздничной, красочной розой араратских долин чаша ереванского стадиона! Меня ждет дома эпос! Эпический час моего народа бьет там — час незабываемого воссоединения, такого долгожданного и такого неожиданно внезапного! Счастливый Колао, он там! О, как долго будут тянуться пять суток дороги домой! Чем приблизить встречу с тобой, воссоединение?..»

И Купала более молчаливый, чем обычно, и, как никогда, теперь молчалив от радости, теперь молчалив от того, что он нашел ключи к своему поэтическому приближению к воссоединению: на земле Давида Сасунского их так легко найти, ведь эта земля, как и его Беларусь, тоже была разделена, тоже многострадальная, героическая, эпическая! Бьются волны Севана у ног молчаливого Янки Купалы, не зная, что раскачивают ритм его песен воссоединению. Высится валун на валуне стеною храма Гаянэ, не зная, что и они возвышают строфу над строфой новых стихов Купалы. И всенародная радость величественной чаши столичного стадиона, сама того не зная, вливалась тоже в переливы радости Янки Купалы — во все одиннадцать купаловских стихотворений «На западнобелорусские мотивы», под которыми его рукой будут проставлены место и дата написания: «Ереван — Минск. Сентябрь 1939 г.»

Стихи на западнобелорусские темы — это прорыв Купалы и в эпос, и в лирику. Прорыв в эпос был слабее, ведь самой реальной жизни западных братьев, оторванных на целых долгих двадцать лет, поэт не знал: его представления о ней оставались представлениями о сермяжной дореволюционной Белоруссии вообще, и тут Купала близок к трагическим сюжетам своих дореволюционных поэм. Зато песенные, лирические стихи — само вдохновение, наполнены народной радостью воссоединения, выраженной великим народным поэтом:

*С Запада ты, я — с Востока
Нашей Беларуси,
Нам века под вольным солнцем
В братском жить союзе...*

*Позабыв про все напасти,
Вольный и счастливый,
Будешь жить с мечтой в согласье,
Брат мой терпеливый.*

...Еще 29 сентября Якуб Колас ждал Купалу. Колас писал в этот день одному из своих друзей: «Жду Янку... Видимо, приедет сегодня... Хочу подговорить его сделать выезд в лес. У него осталась машина. Он так заездил ее, что она оказалась не в состоянии служить армии. А моя, наоборот, была в полной исправности, и ее мобилизовали».

Лес, конечно, только повод. Ведь — они, Купала и Кодае, целый год не виделись! Главное — не виделись после воссоединения. Прошла же целая эпоха, и не на лоне ли природы лучше всего им выговориться до этому доводу?!

Однако же Колас и аккуратист. Вот уж будет подтрунивать над ним Купала: «Если бы ездил на своей, то и сейчас бы ездил! Но это, Колясок, и символично, ведь ты же специально берег колеса своего автомобиля для исторической службы, не так ли?..»

В лес, однако, выехать им в ту осень времени так и не нашлось, так как и купаловский «шевроле» ждали западнобелорусские дороги. Первый их выезд был 8—15 октября в Столбцы — на родину Коласа, в Водковыск и Белосток, второй — 27 октября — в Белосток, третий — в середине ноября — в Белосток и Слоним. Каждая из этих поездок глубоко волновала Купалу, но особенно поездка на Народное Собрание Западной Белоруссии, которое приняло Декларацию о включении Западной Белоруссии в состав БССР.

Три дня продолжалось это собрание — 28, 29, 30 октября, великое собрание, историческое собрание, которое осуществило мечты и Купалы, и Коласа, и Бронислава Тарашкевича со всей его 100-тысячной Крестьянско-рабочей белорусской громадой, Сергея Притыцкого, Веры Хоружей, Владимира Царука и других замечательных сыновей и дочерей Западной Белоруссии, и мечты лучших ее певцов — Максима Танка, Валентина Тавлад, Пилина Пестрака, Михася Машары, Анатоля Иверса, Миколы

Васима, Нины Тарас, Галыпна Левчика, Михася Василька, Алеся Соллогуба.

«Мне никогда еще не приходилось видеть такой съезд, такое народное собрание, где бы с такой силой изливалась душа народа, его горькая кривда... И какой это прекрасный народ!..» — писал о собрании Якуб Колас, одновременно признаваясь в том, о чем у него только в этом единственном письме, а у Купалы вообще ни в одном письме не прочтешь. Колас, радуясь за свой народ, добавлял: «Меня также глубоко взволновало и то обстоятельство, что белорусский народ не забыл и о своих песнях, обо мне и Купале, и выразил нам во всеуслышание свою признательность».

Они, Купала и Колас, на собрании везде и всюду рядом. То, что говорил, писал о собрании Колас, то самое было и в сердце Купалы, захватывало, впечатляло, волновало и его. И оба они понимали, чувствовали, что они — при большой эпической теме народной героики, народной борьбы и муки, мечты и надежды, веры и убежденности. Их взгляд в лица до сих пор незнакомых им людей был пристальным и любовным. Их глаза жадно вбирали в себя как уже допотопное чудо пейзажи с незапаханными межами, узкими полосками, с подслеповатыми, под серой соломой хатами и подпертыми колыями овинчиками и хлевушками. Своим колоритом, неповторимостью улиц и проулков, подвальчиков и лавок поражали западнобелорусские местечки, костелами в стиле барокко, крикливыми витринами — большие города; поражали социальные контрасты — осаднические хутора колонистов, богатые особняки старост, воевод, урядников-чиновников и домики-клетушки рабочих ремесленнических окраин, бедность частых — одна за другой у дорог — деревенек.

Купала, должно быть, больше, чем Колас, воспринимал впечатления на слух. Он все просил, чтоб ему рассказывали про концлагерь в Березе-Картузской, про Громаду, про стачки-забастовки лесорубов, про издевательства дефензивы^[45] и осадников-колонистов, про расстрелы демонстрантов в Косове, про наказание провокаторов в Вильно, Слониме, Белостоке. Купала чувствовал себя в долгу перед этим народом, собравшимся на свой исторический Сход. Было красно от знамен и лозунгов, и сердце даже заходило от радостных перебоев, душа полнилась гордостью от горячих слов ораторов, от того, что происходило и утверждалось здесь, на собрании.

Купала, как только переехал в первый раз бывшую границу, сразу же понял, что он не знает этой жизни своего народа, его склада, духа, бытового антуража, особенностей. Проблемы социального, национального

освобождения оставались здесь, по сути, теми же, что и в дореволюционной Белоруссии, но формы проявления подобных же социально-политических процессов были уже иными. Познать их до последней мелочи! Познать, ибо, не зная их, какой эпос можно создать — эпос вот этой народной жизни, которая только эхом радиоволн отражалась в его минском доме под тополем? Купала, Колас знали: и жизнь западных белорусов должна быть отражена на страницах художественной летописи народа.

...Дорога-гравийка бежала с пригорка на пригорок, ныряла в туннели серых от измороси верб, голые ветви которых сплетались над ней. Вербы старые — комлистые и многие с дуплами. Вильнув последний раз налево, мокрый, сверкающе-черный автомобиль выскочил на пригорок, с которого видно начало города: столб с надписью «Слоним» стоял как раз на развилке трех улиц, которыми город начинался. Автомобиль поехал прямо, так как стрелка направо показывала «Барановичи». Слева кладбище, справа — Купала узнал по вывескам — две корчмы. «На выезде, как когда-то на Комаровке в Минске, — подумал Купала, — только там стояли на развилке двух дорог три корчмы, а здесь на слиянии трех путей — две корчмы!» Купала улыбался, а автомобиль трясся по булыжной мостовой резко идущей под уклон улицы, прорезавшейся между двумя крутыми, заросшими травой откосами: слева — кресты, заросли сирени. Купале казалось, что на уклонистом, затяжном спуске булыжной мостовой потряхивает так же, как на отцовской телеге, когда они давным-давно въезжали в Беларучи: и там слева было кладбище, а потом открывалась панорама оврагов, хат, окруженных деревьями. Но здесь перед глазами поэта открывалось иное: панорама костельных куполов чем-то напоминала Вильно, но, сидя сзади за шофером, Купала увидел эту панораму только на какое-то мгновение, и уже оставалось смотреть лишь на одну сторону улицы, которая все еще шла под уклон, но не так резко. «Сапожник», «Портной», «Сапожник», «Портной» — мелькало в незашторенном окошке автомобиля. Купала заулыбался: «Не каждый ли день меняют тут люди башмаки и костюмы?» А потом зачастили вывески с буханкой хлеба или каким-нибудь кренделем («Ташкент — город хлебный!») и с прическами то «рапów», то «раі»^[46] («Неужели у каждого здесь борода до земли, как у Саваофа, а волосы растут, как у Голиафа?!»). А автомобиль уже на ровной площади: справа, заметил Купала, в одну шеренгу слились будки — торговые подвальчики, а повернул автомобиль налево — часовая мастерская, винный магазин, опять парикмахерская, потом кинотеатр, — как солея полусолнцем цементные ступеньки перед ним; за кинотеатром

книгарня, промтоварные магазинчики. Магазинчики с меньшими или большими витринами, не очень богатый, но с претензией. Весь город вообще, казалось, состоял из одних лавчонок, и там, где они остановились — позади белых стен костела, — вся длинная противоположная сторона улицы протянулась более чем двадцатью магазинчиками под одной железной красно-ржавой крышей. Напротив костельной колокольни находилась и застекленная арка дверей перехода на ту сторону торгового ряда. Куда нужно пойти, чтобы попасть в какой-нибудь отдел культуры или районе, Купала не знал. Но был в этом городке, кроме сапожников, портных, парикмахеров, пекарей, лавок, костелов, и нужный Купале отдел, была уже и редакция совсем молодой тогда газеты «Вольная праца» («Вольный труд»). В отделе сообщили Купале адрес редакции, Купала зашел в редакцию, поздоровался по-русски — в шляпе, черном пальто, лацканы замшевые; галоши возле вешалки снимал неторопливо, посматривая, кого ж он застал в редакции.

Один из двух человек, которых он застал, оказался необычайно радостным, синеглазым, разговорчивым. Купалу он узнал, засуетился, не зная, куда посадить, как встретить, как приветить.

— Обедали? А то, может, перекусим в кофейне, правда, временной — в доме бывшего миллионера Рутковского, — предложил синеглазый.

Было около четырех дня.

— Миллионер Рутковский подождет, — пошутил Купала. — А не пойти ли нам сперва к Гальяшу Левчику?..

...Вторая половина дня 14 ноября 1939 года оказалась еще более пасмурной, чем первая, с изморосью. Левчик, выйдя из дома во двор и приложив руку козырьком ко лбу, рассматривал: кто же это идет к нему от калитки? Невысокий, старый, кучерявая седина дыбом, и вот он узнал Купалу, пошел, почти побежал навстречу, разведя руки, как крылья для полета. Распростер свои тяжеловатые руки и Купала, и так они встретились — грудь в грудь — старший Гальяш и более молодой Купала, бывшие поэты-нашенивцы, сегодняшней великий народный поэт и забытый тогда в панской Польше богом и людьми Гальяш Левчик. Забытый всеми, но не Купалой.

Домик, который сам Левчик спроектировал, срубил, обшил тесом, покрасил, стоял несколько на отшибе — за огородом, который, вспаханный на зиму, чернел в тот день серыми комьями земли. Не домик, а лучше сказать, теремок — аккуратный, как и его хозяин, и кажущийся светлым из-за солнечно-коричневой окраски даже в мглистой измороси. В коридорчике тесно, тем более что с двух сторон на стенах висели гитары, скрипка, на

полочках стояли и еще какие-то незнакомые инструменты — пузатые, блестящие, как обливные горлачи с черными глазками отверстий. Купала не знал, что эти свистелки назывались окарины^[47].

— Извини, тесно, — промолвил Гальяш.

— А мы бочком, бочком! — И Купала, как бы подталкивая кого-то плечом, делая вид, что подпрыгивает, прошел узкими сенями рядом с хозяином...

Дом Гальяша Левчика не дом, а музей, ведь Левчик был и поэтом, и живописцем, и музыкантом, любителем антиквариата, коллекционером всевозможной старины — грамот, привилегий, летописей, книг старых и новых, связанных с его родной Слонимщиной. Купала, Левчик вспоминали нашенивские времена: Купала, сидя в углу на самодельной скамье, а Левчик и Сергей Михайлович Новик-Пеюн (а это он приехал из редакции с Купалой к Левчику) — на самодельных табуретках.

— Чижик, чижик, где ты был? — спрашивал Купала, вглядываясь в нестареющие глаза энтузиаста Гальяша, словами его же, известного в свое время стихотворения, которое Купала запомнил со времени редактирования первой книжки Гальяша «Чижик белорусский» в Вильно в 1912 году.

— На Руси я Белой жил, — отвечал Гальяш.

— Потому и белый, — намекая на седину кучерявого чуба хозяина, задумчиво промолвил Купала.

Уезжать из этого антикварного домика старого Гальяша Купале не хотелось, и он все откладывал отъезд, хотя новый его шофер, Яртымик, все торопил Купалу и торопил.

— А здесь еще где-то близко Жировицы, — обратился Купала к молодому Новичку-Пеюну, который тоже оказался поэтом и композитором.

— Да так километров десять, — ответил тот.

— Халимон из-под пущи был родом оттуда, — сказал Купала.

Халимона из-под пущи в доме Гальяша не знали. Купале же было приятно молчать — вспоминать в этом доме и белые петербургские ночи в беседах с разговорчивым Евгеном Хлебцевичем, который стал другом Купалы в Петербурге.

Западнобелорусские маршруты возвращают Купалу в далекие уголки его молодости. Но они возвращали его не только в прошлое, они объединяли его и с будущим...

...Сейчас и я захожу за вами в тот домик. Извините меня, Илья Михайлович, Иван Доминикович, Сергей Михайлович, — я не помешаю?..

4. ИНТЕРВЬЮ АВТОРА КНИГИ У ЯНКИ КУПАЛЫ

Автор. Дорогой Иван Доминикович! Я тот и, конечно, не тот хлопчик, который босиком бежал за Вашим автомобилем по улицам Слонима. Но Вы ж художник, меня поймете, ведь я остаюсь я, ведь все мы, люди, как сказал Экзюпери, родом из детства. Причем я уже столько дней и ночей веду с вами молчаливый разговор, что мне кажется, не только я Вас знаю соответствующим образом, но, видимо, знаете уже меня и Вы. Я постараюсь Вас в Слониме долго не задерживать. У меня к Вам всего несколько вопросов и несколько просьб. Чувствую Ваше согласие, и поэтому вопрос первый. Издавна говорят люди: глаза — зеркало души. Я с самого начала стремился увидеть прежде всего Ваши глаза, а какие они, еще до сих пор не знаю. Сушинскому в Петербурге, Максиму Горецкому в Вильно, Михайлу Громьке в Минске в начале двадцатых годов и Михайлу Григорьевичу Ларченке в сороковом году, сегодняшнему профессору, тогда молодому литератору Ваши глаза казались синими, а Якубу Коласу — карими, так кому верить, кто сказал правду — Максим Горецкий или Якуб Колас?

Я. Купала. Правду сказал и тот и другой.

Автор. Не понимаю.

Я. Купала. Правду сказал и романтик и реалист. Они у меня и синие и карие. Как для кого... Жизненная правда и в романтизме и в реализме. Главное — связь с жизнью... Словацкий — романтик. Но какой это большой поэт!

Автор. Я и Вас люблю, дорогой Иван Доминикович, как романтика. Я и сам романтик. Но простите ли Вы мне мои отступления от правды фактов?

Я. Купала. Каких?

Автор. Я, например, в этой книге про Вас рассказал, будто бы Вы сами ходили к Мысавскому в дом Дворжица, в «Северо-Западный край», а ведь стихи Ваши отнес туда Самойло Владимир Иванович.

Я. Купала. Вы хотите сказать, что следовали «Поэтике» Аристотеля: писали о возможном по вероятности или по необходимости? Что ж, я допускаю такое, но только с одним условием: чтобы эта возможная вероятность или необходимость соответствовала жизненной правде, не изменяли ей.

Автор. В ряде случаев я изменил фамилии Ваших реальных современников...

Я. Купала. (Вопросительный взгляд.)

Автор. Возможно, люди, фамилии которых изменены, в реальной жизни были лучше, а может, и хуже: я их так не распознал, не открыл для себя, как Вас, не слился так с ними душою, как с Вами, ведь о них я не думал столько, сколько о Вас, и так горячо не желал, как желал, думая о Вас, проникнуть до самых глубин души человеческой. Я этим, без сомнения, многих реальных людей обидел, а это не по-купаловски (*Купала улыбается глазами*). И еще скажу Вам, что мне важно было не столько сохранить подлинные фамилии, сколько раскрыть атмосферу времени, в котором Вы жили, — такого переменчивого, такого разного на разных этапах Вашей жизни. Каскад атмосфер! Каскад тенденций!

Я. Купала. (Молчит.)

Автор. И простите меня, пожалуйста, еще за одно, — за то, что в моей книге о Вас больше Ваших внутренних монологов, чем Вашего голоса. Но что я мог сделать, если Вы такой молчаливый герой?! Поэтому я постарался больше вслушиваться в Ваши стихи. По ним читать Вашу жизнь. И, признаюсь, Вы все время были передо мной больше между мечтой и воспоминанием, чем в действительности. Вы весь на перевале между Прошедшим и Грядущим...

5. ЦХАЛТУБО — МОСКВА

Первый раз в Цхалтубо Купала попал с Руставелевского пленума ССП в Тбилиси. Посоветовали врачи, выявив плохое состояние его позвоночника. Прописали ванны, и до 24 января 1938 года Купала был в Цхалтубо. «Цхалтубо мне очень и очень помогла», — писал он уже из Кисловодска Мозолькову, привезя из Цхалтубо стихи «Генацвале», «Мы люди свободные», «То не рыцари с князем», «Грузия».

Кавказ лечил. Кавказ для Купалы был все-таки той прекрасной далью, из которой весь мир виделся в ином свете, и на то, что оставалось в Белоруссии, поэт также начинал смотреть сквозь призму «прекрасного далека». Не абберрация зрения, а законы человеческой психологии: время излечивает раны сердца, простор тоже как бы отдаляет человека от них, хотя они в его сердце.

Прекрасное далеко — благословенный Кавказ. Ты был в судьбе Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого, и вот ты в судьбе Янки Купалы! «Отделкой золотой блистает мой кинжал...»; «Кавказ подо мною: один в вышине стою одиноко на крае стремнины»; газавата нет: в надвинутой на

орлиные брови папахе не лицо сурового Шамиля, а лицо певучего Сулеймана Стальского и остроумного Гамзата Цадасы...

Прекрасная ты, Цхалтубо! Ты лежишь в низкой котловине, одним краем упираясь в горы. С другой стороны тянется широкая равнина. Здесь масса зелени, цветов, могучий парк. Здесь течет теплая река, есть теплое озеро, небольшое, но очень глубокое. Но прекраснее вас, горы и доли Цхалтубо, Элино Метехели, прекраснее — грузинская речь Акакия Церетели или просто Акакия, как называют своего любимого поэта грузины. Но еще прекраснее стихи Акакия из уст Элико.

— Елена Михайловна, — просит Янка Купала, — запишите же мне хоть строку этой песни.

Элико (Елена Михайловна) записывает: «Даидзине, генацваласнеши мшабелиё!.. И Купала читает нараспев: «Даидзине, генацваласнеши мшабелиё». Как это прекрасно звучит! Элико улыбается. Она главный врач санатория, но такая молодая, красивая: не мрачная царица Тамара из теснины Дарьяла — белолицый, черный цветок Цхалтубо!.. Шестая палата, в которой во время первого своего приезда жил Купала, лишь войдет в нее Элико, не шестая, а первая. Купале хочется иметь ее фотографию на память, и он дарит ей свою: может, Элико поймет намек. Не поняла! Ему же не семнадцать! Она знает, что ею все мужчины восхищаются, и принимает их восхищения как должное — привыкла. Но не может к ее необычной горской красоте привыкнуть Купала. Нет, он не в том возрасте, чтобы писать любовные мадригалы. Его восхищение Элико — восхищение красотой. Он ею просто не налюбуется, как и поэзией Акакия. Седьмой день уже у него на устах «Даидзине генацваласнеши», а на восьмой он дарит ей свое одно из наиболее изящных стихотворений:

*Было любо мне в Цхалтубо,
Обнимали солнцем дали.
Было любо мне голубить
Тебя в мыслях, Генацвале.*

*Ты с улыбкою входила,
И недуги отступали.
Сны волшебные будила
Ты, грузинка, Генацвале.*

*Ой, уеду я далеко
С сердцем, горьким от печали.*

*Сразу станет одиноко
Без тебя мне, Генацвале.*

О Янка Купала! Ты действительно могучий рыцарь истинного культа Женщины! Да здравствует бессмертный культ Женщины — Прекрасной дамы, Дульсинеи не только из Тобоса, но и из Цхалтубо! И вы, Янка Купала, в этом случае никем не превзойдены. На турнир с Вами, по всей вероятности, просто побоялся бы выйти Ваш самый близкий друг, которого Вы все же сагитировали ехать в Цхалтубо в марте уже 1941 года. Вы были здесь третий раз, он — первый. Вы третий раз восхищались прекрасной Элико. Колас — первый, но его Элико стала Тина Дмитриевна. Колас, правда, тоже не мог устоять перед ее красотой: ведь даже своей Дмитриевне — жене — писал: «Наша докторша, Тина Дмитриевна, грузинка, очень милый человек и прекрасная дивчина, которой можно только восхищаться...» Восхищаться?! И после «восхищаться» лишь многоточие?! А где стихи? Вы, Янка Купала, полный победитель в турнире народных поэтов Белоруссии по прославлению красоты наследниц руставелевских Тинатин и Нестан-Дарджан!..

— А кто сказал, что не за стихотворение «Генацвале» присуждена мне первая премия СССР? — шутил Купала за столиками, заставленными розами и шампанским, 15 марта 1941 года, в день появления постановления СНК СССР о присуждении ему этой премии.

— Никто не сказал, что «не за»...!.. — шутила Элико.

— Никто не сказал, что «не за»...!.. — поддержала Тина Дмитриевна.

И как сладко пахли розы в тот день в Цхалтубо! Будто никаких шипов на них никогда и не было. А Элико и Тина были в тот день еще более красивыми, чем когда-либо!..

Цхалтубо Купала и Колас покидали через неделю после присуждения Купале премии — 22 марта. Из Цхалтубо до Харькова ехали вместе. Праздничное настроение не покидало их обоих с самого 15 марта, хотя уже и пролетела целая неделя после этого. Колас воспринимал праздник Купалы как свой собственный, ведь это был их общий праздник, праздник белорусской литературы, Белоруссии. Чего, казалось, большего можно желать после 17 сентября 1939 года, после Белостока с его Народным Собранием и свершения исторической справедливости, получения равных прав на Западе и на Востоке быть самими собой, работать на себя, петь песни в полный голос? Чего больше? Разве что праздника песни, которая когда-то подняла народ в поход. Но они — Купала, Колас — меньше всего

ждали чего-нибудь подобного, на подобное рассчитывали. Ведь песня же их спета? Не песенка, а песня — в высоком звучании этих слов. Она спета, но разве ради каких-то будущих наград они ее пели? И в мыслях не было! Не было — и вдруг такое признание спетой песни! Вдруг праздник песни! Праздник после стольких перипетий, которые сейчас вспоминались им даже как какие-то курьезы.

— Чижик-пыжик, где ты был? — заговорщицки начинает Колас.

— Я в «Звезде» Купалу бил, — нараспев вторит Купала. И в один голос подхватывают:

*Рвал, старался, ослабел,
Надорвался, но не съел!*

Но разве бывает праздник без печального речитатива?! И уже через час-другой Купала и Колас сидят на скамье в купе рядом, словно на лавочке в саду Коласа в Минске за парком имени Горького, сидят и поют «Ой, в поле верба...», «За туманом ничего не видно» и, конечно же, «Зашло солнце, вошел месяц...». Импровизировал то Купала, то Колас, то в два голоса одновременно:

*У кричинки пели птички,
Были звезды — стали знички^[48]...
Гаснут звезды, словно спички...
Ой, ты, месяц, жнешь ты чисто,
Звезды в небе — не монисто...*

Где-то после полуночи под звездами харьковского неба Народные поэты расстались: Колас поехал на Гомель — в Минск, Купала — в Москву. Одному в купе Купале стало тоскливо. Спать не хотелось, постели он не расстилал. Сначала долго-долго всматривался в темноту, бежавшую за окном, то и дело прерывающуюся беглыми огнями полустанков и — более медлительными — станций. Начиная дремать и снова смотрел. От равномерного перестука колес было приятно, как от бесконечного веселого ритма. Колеса забаюкивали, тормоза выводили из приятной дремы, но снова те же колеса забаюкивали поэта. Не с ярмарки ате он едет! Едет от Эльбруса, от Ко-ласа. Не поезжанин! Везде родной дом, Родина! Кивает молча головой Купала в такт перестуку колес. «Поклон мой, поклон мой

народу за песни — народу...» Так начинается стихотворение — с конца:

*Поклон мой за песни — народу,
Как он научил — я слагаю,
Я начал их петь в непогоду,
Сегодня весну воспеваю.*

Мысль возвращается с «конца» — в «непогоду»:

*Народные думы и сказки
Меня окрыляли, бывало,
А молодость жаждала ласки,
А молодость ласки не знала.*

Всплывает строфа о «весне»:

*Все в жизни сегодня иначе, —
Приятны и веселы думы,
Душа не тоскует, не плачет,
Милы ей певучие шумы.*

*Сегодня с народом счастливым
Торжественно праздную праздник...*

Сколько промелькнуло быстрых полустанков, медлительных станций, Купала не считал. Но перед ним не на коробке от «Казбека», на чистом белом листке стихотворение. Округлый, как девичий, аккуратный почерк. Листок лежит на убранном уже после ужина столике, и над ним подпертая переплетенными пальцами рук поседевшая голова поэта; отчетливые волны морщин на лбу, замершие на мгновение в своем беге глаза закрыты. Спит Купала? Дремлет?..

На каком полустанке или, может, станции это случилось, Купала не запомнил. Но было это на рассвете, когда за окном вагона блекли уже звезды, а откуда-то с востока начинал процеживаться еще неуверенно пугливый свет утра, зеленовато-изумрудный; начинал процеживаться не в его окне, а в противоположных его окну, невидимых ему окнах. Вот тогда и

случилось... В купе слегка постучали, кто-то молодой — торопливые движения — широким взмахом открыл дверь. Без чемоданов, даже без авоськи, но с ясной улыбкой, синеглазый. Как Сергей Полуян, подумал Купала, а тот попросил разрешения войти, после кивка Купалы вошел и не садится.

— Присаживайтесь, кали ласка! — первое слово по-русски, дальше по-белорусски сказал Купала.

— Дзякую! — неожиданно для хозяина купе по-белорусски отозвался пассажир.

— Ну то!

Юноша сел. Видимо, студент, а может быть, уже и учитель: настолько молод, что трудно определить, сколько лет, кто он.

— Наверно, из Белоруссии? — спросил Купала.

— Из Полесья, откуда все славяне. Еще отец Максима Богдановича говорил об этом.

— Отец? Вы знаете отца Максима?

— Почему бы и нет? И вас узнал.

— Меня узнают часто.

— Пусть ласковый взор твой печалью не мглится...

— Он не мглится.

— А если говорить чистую правду?

Вместе глянули на белый листок бумаги со стихотворением, который лежал на столике между ними.

— Правда? — спросил юноша.

— Правда, — ответил поэт.

— Правда и это: «Э-гей, к солнцу, э-гей, к звездам». Вы, ставший теперь солнцем в созвездии — каком там? — Лиры, Лебеда, Ориона, неужели вы звали к солнцу в созвездиях Льва, Дракона? «Солнцу, звездам, орлам только равен», — кто равен? Был равен Гусляр, а теперь кто?..

Купалу удивило, что голос юноши, который спрашивал у него чистую правду, чем-то очень напоминал ему голос Ласовского, который, возможно, и в самом деле стал бы кем-то, если б был кем-нибудь одним, а не антикваром, и археологом, и критиком, и политиком.

«Правда? — думает Купала. — Литература вообще правдоискательница. Кто, где, когда был большим правдоискателем, чем крестьянин, — белорусский, русский, украинский, в XIX веке, в начале XX? Да и теперь...»

— Я думал о правдоискательстве, — говорит Купала.

— Знаю, — подтверждает юноша, — правдоискателем был и

Ласовский, о котором вы тоже только что подумали. «Правда, как огонь, и греет и светит, да рукой не возьмешь. Правда, как солнце, освещает всю землю, да никто не знает, что она такое. Правда, как срамная девка, продается на торгах, в молельнях, в хоромах, но никто ею сыт не бывает. Жрецы и волхвы оказались слугами чужой правды и именно поэтому потеряли чувство правды своей. Книжники торгуют правдой...»

— Я не торгую! — неожиданно резко говорит Купала. — Я слуга не чужой, а своей правды!

— Я вас не обвиняю, я — исследую, я — новый историк. Не узнали? Вы же сами ждали меня. У нового историка и новые слова, хотя эти новые часто хорошо забытые старые.

Юноша приводит слова В. И. Ленина о белорусах, и глаза его светятся живой идеей. Именно такой свет когда-то увиделся и Купале в глазах героя его пьесы «Разоренное гнездо» — Неизвестного. Но герои Купале почему-то всегда представлялись высокими, а неизвестный юноша был низкорослым, кряжистым. Он уже ни о чем не спрашивал Купалу, говорил сам:

— Вы — певец великой социалистической Родины, Страны Советов, дружбы народов СССР; вы — один из крупнейших символов славянского мира (окажется этот мир под угрозой, ваше имя среди первых, как щит, будет подниматься для его защиты); вы, за плечами которого не только «Слово о полку Игореве» — вся белорусская литература: Кирилл Туровский, Евфросинья Полоцкая, Франциск Скорина, Летописи, Статуты... Купала разве не знает, как глубоко связан он с прошлым белорусской литературы, начиная с того, как Сымон Будный поучал Радзивиллов, чтоб красотой своего родного языка забавляться рачили^[49], начиная с того, как Василь Тяпинский, имея в виду тех же Радзивиллов и всю ополяченную белорусскую знать, бросал им в глаза слова о «разбыдлении», об отступничестве; начиная с того, как заступался Мелешка за нашинца — простолюдина древней Белоруссии, чтоб и ему, обобранному панам и их слугами, было чем питаться, и как ненавидел тот же Мелешка радных баламутов, деятелей сейма, о которых говорил, что хотя и наша кость, да собачьим мясом обросла и смердит. А как связаны вы, Янка Купала — певец Молодой Беларуси — с Мелетием Смотрицким, с его плачем «Фринос»! Как и у него Мать — православная церковь, нищая, обираемая со всех сторон, так и у вас Мать-Беларусь корчилась в молитвах, в проклятиях отщепенцам, ренегатам, измена которых выворачивает фундамент материнского дома. А ваши призывы к борьбе — по откровенности и категоричности разве не уподобляются филиппикам

Афанасия Филипповича, его изречению: «Иди доставай-побеждай врагов земли белорусской!», с которым Афанасий искал когда-то заступничества для родной земли, веры и народности у русского царя Алексея Михайловича — в Москве?!

— Где же вы все-таки учились? — спросил Купала, когда юноша, кончив говорить, встал, как бы готовясь уходить.

— В Ленинграде, — с гордостью ответил юноша, — дипломную писал по «Новой земле» Якуба Коласа.

— Где ее можно прочесть?

— В Ленинградском университете, на филфаке. И извините, дорогой Иван Доминикович, если я сказал что-нибудь не так.

«Не так, не так, не так», — торопились колеса по стыкам рельсов. «Та-ак, та-ак, та-ак», — поддакивали, когда паровоз притормаживал. «Гм?! — улыбался Купала. — И надо же! Послушал бы его Коласок, что бы он запел?..» А поезд тем временем подъезжал к Москве. Репродуктор ожил. «С добрым утром, товарищи! Вы подъезжаете к сердцу Родины — Москве!..»

Купала стал собирать вещи, одеваться. «Где мой конь?» — повесил на левую руку свою клюку-тросточку с монограммами. В окнах вагона полно света, солнце над Москвой уже разгорелось, но все равно приятно слушать, что «утро красит нежным светом...». Утро действительно, как весна-красна, красило новый приезд Поэта в столицу, — приезд Поэта, отмеченного Премией. Это пел не только репродуктор, это пела и сама душа Купалы вместе с ним — звонко и многоголосо: «Кипучая, могучая, никем не победимая...»

Москву Купала любил. Впервые приехал он сюда еще осенью 1915 года. Настроение было неважное, ведь он, как сам писал тогда Б. И. Эпимах-Шипилло, не знал, какое лихо его ждало здесь завтра. И поэтому Москва ему тогда «не совсем» понравилась, «какая-то, — писал он Шипилло, — запутанная и не совсем ясная. Петроград более емко заполняет мысль своим величием и размахом». Но писал поэт о Москве тех же 1915–1916 годов из Минска И. А. Белоусову в 1919 году и вспоминал ее уже совсем по-иному: «Москва мне в то время очень понравилась, даже ничего не имел бы против тогда поселиться в ней на постоянное жительство...» Ничего не имел бы против, ведь женился, женила его Москва.

А в тридцатые годы он так зачастил в Москву, что уже в 1939–1940 годах Колас называл Купалу не иначе как только «наш москвич Янка». Но когда бы ни подъезжал «наш москвич Янка» к Москве, он всегда волновался. А сейчас еще никак не мог забыть нежданного попутчика-юношу, растревожившего вопросами. «Молодой — горячая голова! Но

разве не он сам, Купала, говорил когда-то о горячих головах Алеся Бурбиса, Самойло? Разве сам он не был когда-то горячей головой?.. Не все, конечно, понял, осмыслил этот юноша, — думал Купала, — молодое вино бурлит, бушует». Но не случайно называет Купала новую советскую молодежь Вернигорой. Он верит в светлое будущее этих низкорослых, кряжистых парней, верит, что они сумеют соединить Прошлое с Будущим...

На перроне Киевского вокзала Купалу ждали розы: в руках Нелли Елисейевой, и у Городецких — у Нимфы Алексеевны и Рогнеды Сергеевны, и у Костки Буйлянки. Купала, обнимая с охапкой роз всех своих московских друзей, пожалел, почему не написал, чтоб приехала на эти дни в Москву Владка.

6. POST SCRIPTUM ВИЛЬНЮСА И БЕЛЫХ НОЧЕЙ

Много лет прошло после августа 1915 года. Но Вильно, в котором Купала гостил 16–19 мая 1941 года, оставался в памяти, будто с тех пор и не минуло тридцать пять лет. Ехали в Вильнюс на правительственных машинах. Возглавлял делегацию секретарь ЦК КПБ по пропаганде Тимофей Сазонович Горбунов, входили в ее состав, кроме Купалы, Якуб Колас и Михаил Ларченко — тогда молодой критик и сотрудник Института литературы и искусства АН БССР. На полдороге остановились, как сказал Купала, попастись. Но не майский аромат свежих трав, не переливчатые трели соловьев над их привалом хмелили головы, радовали Купалу и Коласа, а приближение к Вильно. Они засыпали воспоминаниями своих благодарных слушателей — почтенного Тимофея Сазоновича и молоденького, кучерявого, как Михась Чарот, Михасина. Радости своей они не скрывали, и самый молодой из делегации — Михась Ларченко вскоре мог убедиться, что такое есть Вильно, чем было оно для Купалы и Коласа и сколько друзей они здесь, оказывается, имеют.

Целая толпа ждала белорусских писателей возле лучшей тогда виленской гостиницы «Бристоль». Впереди всех — Людас Гира. Объятия. Взволнованные первые слова встречи, несколько сосредоточенные, продуманные; с непрошеной слезинкой, скопившейся в уголке глаза, — после — в ресторане «Бристоль», в гостиничном номере Купалы после полуночи.

Рассказывает Людас Гира. Владимира Ивановича Самойло в Вильнюсе нет. Купале показывают окно его квартиры в «скворечне под крышей», как называл свое жилье на углу улиц Татарской и Людвисарской сам Владимир

Иванович. «Отошел от движения, — подтверждает Людас Гира слух, дошедший до Купалы еще в Минске. — Правда, — добавляет Людас, — потом опять наладил связь с ТБШ — Товариществом Белорусской Школы, но против революции стал выступать категорически — по-толстовски: не смена внешних социальных обстоятельств изменит человека, а его внутреннее духовное перерождение. Революция ему стала видеться только в образах ампирной мебели, которую блоковские двенадцать жгут на площадях или в «буржуйках», и в образах разбитых сервизных тарелочек с розами на доньшке — цветок алый, веточка зеленая...» «У кого это я их видел?» — вспоминал Купала.

— А кто стал его мадонной?.. — спросил.

— Шляхтянка. Приходила сперва только стирать, кое-что готовила в «скворечне под крышей». Потом родила сына. Сын говорил только по-польски. Только по-польски в последние годы говорил и малоизвестный польский журналист, проживающий в «скворечне под крышей»...

— Пеледа, Мария, где она?

— В Каунасе. С ней там и Стасюте — наша крестница, — отвечает Людас.

«Post scriptum Вильно — в Каунасе», — молча делает одно из своих жизненных заключений недавно еще такой возбужденный, а сейчас, за полночь, в номере гостиницы «Бристоль», такой притихший, грустный Купала.

— А что Лапкевич?

— Хлебом-солью встречал Красную Армию, на первом митинге в Вильно выступал с речью, а сейчас его на улицах так же не видно, как и Александра Власова... Где они, что с ними — неизвестно, как и про Владимира Самойло... Да, а знаешь ли ты, Янка, — спрашивал Людас, — может, слышал, как после твоего стихотворения отбивался Антон Лапкевич от Радослава Островского, от Акинчица, с которыми оказался было в их фашистском союзе. Антону в этом очень горячо помогал Самойло. Владимир Иванович вел гражданский суд над Островским и доказал виленской публике, что Островский и его жена, жар-псица, как ее называл Самойло, — платные агенты польских и немецких фашистов. Пришлось Островскому покинуть Вильно. Заводной все-таки был Владимир Иванович!..

Купала слушал эти рассказы и вспоминал второго своего учителя — Бронислава Игнатьевича Эпимах-Шипилло, с которым впервые познакомился здесь же, в Вильно, в 1909 году. В июле 1933 года он навел на него с Владиславой Францевной в Ленинграде — совсем уже

старенького, больного профессора. То была их последняя встреча. Выцвели пивные глаза, ой как выцвели, но радостью зажглись и они при виде ученика, Владиславы Францевны. Тогда Купала впервые познакомился с доцентом Пушкаревичем, опекуном старого профессора, о котором много слышал, но чью руку еще не пожимал. А было за что, ведь Пушкаревич еще в 1933 году начал работать над докторской по Купале и Коласу, перечеркивая фриче-бэндевские догмы литературы. Но никто не ведал в ту пору, что пути Пушкаревича и Бэнде тоже пересекутся — в блокадном Ленинграде. Пушкаревич из блокады живым не вышел, Бэнде вышел: и живым, и с ключами от квартиры на 4-й линии Васильевского острова. А после войны он даже решился защищать кандидатскую диссертацию по Янке Купале и Якубу Коласу, слово в слово повторяя все, что писал о них Пушкаревич. Сам Бэнде «перестраивался». Но плагиат был обнаружен, и вся беспринципность несостоятельной спекулятивности критика вопиюще раскрыла себя до конца. Раскрыла и не могла не раскрыть себя, как и любые спекулятивные претензии к поэзии истинной, к поэту, всегда остававшемуся и остающемуся в стократ выше их — неколебимо, монументально.

Глава двенадцатая

СЛИТЬСЯ С СОЛНЕЧНЫМ ЛУЧОМ!!!

1. МОСКВА. 7 ИЮЛЯ — 16 ОКТЯБРЯ

В Москву на своем автомобиле Купала добрался 7 июля 1941 года. Воспоминаний о Купале именно в Москве военной имеется больше всего, а из них наиболее интересные Максима Лужанина и Бориса Емельянова. Эту главу мы и начнем с воспоминаний очевидцев, и первое слово — Максиму Лужанину. Это к нему раздался звонок в день приезда Купалы в Москву, звонила Констанция Буйло.

— Приехал Купала. Хочет увидеться. — В голосе Констанции Буйло тревожные нотки. — Если можешь, не медли. Ему очень тяжело.

Максим Лужанин заторопился в гостиницу «Москва».

«В дверях номера на пятом этаже встретила обессиленная, бледная Владислава Францевна. Тихо говорит:

— Побудь с ним немного, я выйду в город.

Иван Доминикович, опершись на локоть, лежал на диване. Повернул на шаги голову, оторвав на минуту взгляд от окна, за которым стоял ясный, без облачка, день. Немного приподнялся.

— Лежите, не беспокойтесь, дядька Янка.

— Лежите! — горько повторил он. — Если б ты знал, сколько людей полегло. Как луг косой, за один день оголило. Я всю землю нашу проехал. Все с места тронулось. Только цветы цветут при дороге. Сегодня... Как глаза людские... Кажется, земля глядит тебе вслед...

И чтоб не показать слез, лег лицом к стене...

Вернулась Владислава Францевна. Лужанин стал прощаться. Купала сделал жест рукой: останься.

Время шло к вечеру. Приходили и уходили знакомые. Купала лежал неподвижно на диване.

— Уснул, измучился за дорогу, — говорила, провожая их, Владислава Францевна».

И опять Купала и Лужанин один на один. Лужанин молчал, понимая, что прерывать разговор Купалы с самим собой нельзя. Наконец Купала заговорил, поднявшись, стал ходить по комнате:

— Спасибо, что помолчал со мной. Вдвоем и молчать легче. Хотя и не говоришь, а все же как бы и советуешься. Понимаешь, какого совета я у тебя спрашивал?

Лужанин понимал.

— И та, что на свет пустила, осталась там. — Купала не сказал «мать» и проглотил вяжущий ком. — Обе в неволе оказались. И та, что породила, и та, что словом наградила. Одной, может, и в живых уже нет, а вторая опять в крови. И кто только ее не кровавил!..

...Постепенно сгущались сумерки. Купала включил свет, попросил пододвинуться к столу, где с самого начала разговора так и стояла неначатая бутылка «Цинандали». Золотистый напиток окрасил бокалы. Купала посмотрел сквозь вино на свет:

— И здесь есть Солнце! Много его надо человеку. Только не черствому существу. Тому, сколько ни лей, все напрасно, если в самом сердце нет солнечного лучика.

Купала поднял бокал и медленно, с перерывами, видимо, на ходу переводя пушкинскую строку: «Да здравствует солнце, да скроется тьма», сказал по-белорусски:

— Няхай жыве сонца, хай знішчыцца змрок!

...Стоял у окна, наблюдая, как непривычно рано начинает замедлять движение на главной улице столицы. Размышлял вслух, обрывал слова, не договаривая, но неизменно возвращался к одному:

— Вернемся.

Чтоб подтвердить веру поэта — да его же словами, — Лужанин неожиданно для себя вспомнил тогда, в сумерках, купаловские строки:

*Сноп к снопу и — в суслон, жатва наша будет,
Сто копен, миллион, полюбуйтесь, люди!*

— Помнишь? — Купала внимательно посмотрел на Максима Лужанина. — Давно уже написал я это. А оно взяло и ожило.

И Купала сел, обхватив руками колени, запел вполголоса:

— Сто копен, миллион...

«...Странно, даже немного жутко стало, — вспоминает Лужанин, — даже мурашки забегали по спине. Купала цел! Взъерошенный, в рубашке с расстегнутым воротом, с прядями волос, которые разлохмаченно топорщились из его всегда такой аккуратной прически. Пел! Он, который никогда, по крайней мере, на моих глазах, не присоединялся к хору в

дружеском застолье, кроме как улыбкой или кивком головы. Казалось, он близок к тому состоянию, когда певцы-импровизаторы начинают говорить стихами. Прямо на глазах к поэту возвращалась его песенная сила. Будто в подтверждение этому, он умолк, спросил:

— А мог бы ты сейчас писать? — И, не дождавшись ответа, сказал: — Я, кажется, буду...»

Лужанин заторопился оставить Купалу одного. Тогда уже два стихотворения могли грезиться поэту: «Белорусским партизанам» и «Грабитель». А может, что-нибудь из того, что он так и не написал? Во всяком случае, мы знаем, что под двумя этими стихотворениями стоит: «Москва. Чернореченское лесничество. 19 сентября 1941 г.». Ни до этих стихотворений, ни после них с начала войны Купала в 1941 году других стихов не писал. Но его творческая мысль работала очень напряженно и — это еще раз благодаря Максиму Лужанину — к его последним произведениям следует, видимо, отнести и сказку, которую он тогда же в Москве рассказал Лужанину (не одну ли из последних сказок Амброжика?).

Лужанин, правда, называет ее не сказкой, а преданием, которое мы тоже сейчас здесь приведем, заменив в нем только одну деталь: клен на тополь — тот, который уже печально чернел обугленными ветвями над руинами дома Купалы, который сгорел в Минске 24 июня 1941 года.

Предание это — о воскресшем пепле. В нем рассказывал Купала Лужанину вот о чем. Сильное войско напало на один небольшой остров, жители которого жили в мире и согласии и не хотели становиться невольниками. И стар и мал, вооружившись кто чем мог, стойко защищали каждую пядь своей земли. Прошел год и два, а неравная битва продолжалась. Народ верил, что сражается не зря, и это придавало ему силы. Чтоб запугать людей, завоеватели начали выжигать все, что попадалось на пути. Захватив одно селение, они согнали всех, кто в нем жил, под огромный тополь посреди улицы. Потом разбросали дома и сложили из них большой костер. День и ночь полыхало пламя, сгорели все люди, сгорело все до последнего бревнышка. Но старый тополь не поддался. Стоял, поднимая опаленные ветви, будто призывая к мщению.

Зашаркали жадные пилы, застучали хищные топоры. Злые люди старались уничтожить свидетеля своего преступления. Вздохнул тополь, покачнулся и со страшным треском и гулом рухнул наземь. А падая, дробил суком жерло в земле. И ударила оттуда струя, красная от тополиного сока и человеческой крови. Она била вверх, доставая до радуги, которая появилась в небе, и возвращалась назад блестящими светлыми каплями. Начало свершаться невиданное чудо. Как только упадет такая капля на пепел,

вместо сожженной хаты появляются две, с пня срубленного дерева вырастают два дерева, еще более красивых, вместо одного павшего встают два воина, чтобы взять меч погибшего.

— Разбойники кинулись на свои корабли, — рассказывал Купала Лужанину, — и все утонули в море, так как перестали понимать команды, обезумев от страха. А народ тот стал в два раза сильнее, живет он и поныне и верит, что пепел воскресает, стоит только крови невинного человека, соку обиженного дерева, струе оскорбленной земли слиться с солнечным лучом. Ведь от него же идет в рост все живое».

Был еще июль 1941 года. Что Купала-поэт мог противопоставить тактике выжженной земли, по всеуничтожающим законам которой шел через Беларусь враг, — что, кроме могучей фантазии народа, сказок Амброжика из Мочан, веры народа в живую воду и воскресение ив пепла?! И Купала противопоставлял эту свою веру Поэта силе, которая рвалась к стенам красной Москвы: и он действительно нашел в груди своей, казалось окаменевшей, онемевшей, силу, которая противостала силе, как «Слово о полку Игореве». Око за око! Зуб за зуб! Кровь за кровь!

*Партизаны, партизаны,
Белорусские сыны!
За оковы, кровь и раны
Режьте гадов окаянных, —
Все полечь они должны!*

*Матерей убитых тени,
Тени тех, кто пеплом стал,
Мертвые поля, селенья
Требуют такого мщенья,
Мир которого и не знал.*

*Не давайте гадам крылья
Над собой распростереть.
Ройте нечисти могилы,
Из живых тяните жилы,
Кровь за кровь, и смерть за смерть!*

Чернореченское лесничество по Московско-Казанской железной дороге было таким же мирным, как и в Левках под Оршей. Ведь тот же

лесник и та же лесничиха хозяевами в нем, которые хозяйничали когда-то в Левках. Николай Шиманский строил Купале в Левках дачу, а пока дачи не было, в его лесничевке, — в доме лесника, — среди вековых дубов жил Купала. Он, Купала, любил Николая и Марию Шиманских — этих добрых, славных тружеников леса, и хотя в Чернореченском лесничестве больше березы, чем дуба и сосны, возле людей давно знакомых, близких, казалось, что отсюда как бы ближе к Левкам, а порой даже забывалось, что ты не в самих Левках. Ведь на новое место Шиманские переехали, конечно же, со старой мебелью. Только стены другие, но тот же стол ампирной резьбы, в стиле ампир и кресла, те же часы тикают на столе, которые каждое утро будили Купалу в доме над кручей. И может, сама мебель, сами эти часы были тем последним толчком, что, как и в Левках, дал вдруг сердцу неслыханную силу. Хотя вдруг — это, видимо, неточно.

Сначала было молчание. Все началось с молчания. Видимо, еще с молчания в купе поезда Вербалис — Москва, в который он сел 22 июня где-то сразу после десяти часов утра в Каунасе. Потом был Вильнюс. Суматоха. Бомбежка. Разбитый вагон. Но с Минского вокзала в Дом писателя Купала 23 июня в пять или шесть часов утра приходит не один — с двумя женщинами — женами сов-партработников Литвы. Одна, совсем молодая, была с ребенком на руках. Опять сиротство! Купала не мог оставить на раздорожье сирот! Купала отводит обеих женщин в ЦК. Помогает им эвакуироваться, и только тогда с Владиславой Францевной и Марией Константиновной идут опять в СП, а потом в дом под тополем. Встретить Купалу на машине женщины не смогли, так как без Ку палы ее из гаража СПК не выпустили...

Этот день был вообще днем сплошного невезения. Матери Купалы ни в доме под тополем, ни у сестры Анти, куда она пошла будто бы прятаться в подвал от бомбежки, не оказалось. Люди сказали, что она вообще ушла с Антей в лес, и все поиски были напрасными. Перед отъездом в доме под тополем обедали, но кусок не лез в горло. Владка поддерживала: уезжаем ведь только в Левки. Перебудем там, незачем брать архив, да и мать найдется. В машину Владка грузила чемоданы, банки, склянки.

Уже в Левках из Орши позвонил Колас: он с семьей на станции. Купала привозит Коласа в Левки, но встреча невеселая. Мать! Купала молчит. 27 июня они в Левках расстаются. 30 июня покидает Левки и Купала с женой. Их ждут семь дней пути до Москвы.

И вдруг вставали перед ними в синем чистом небе радуги. Дождя нет, а радуги — откуда они? Не сквозь хрусталь ли слез народных преломляется дневной свет? Или, может, сквозь хрусталь слез, скапливающихся в глазах

Купалы?.. Сначала стал Купала черным, как земля; потом чернее угля сделалось его лицо, а глаза не понять какие — прячет все их, прячет...

Дед — седой, высокий, — раскинув крестом руки, вдруг встал на развилке дорог. Голос как у Амброжика:

— Слезу уроним — похороним! Слезу уроним — похороним!..

Видимо, сошел с ума. Машины, люди, обозы — мимо, на восток и на запад, а старик словно хочет остановить их.

К трупам на обочине люди привыкли, привыкли к свежим могилам, к воткнутым в них разбитым винтовкам. Но этот живой крест на раздорожье? Этот голос и облик, так напоминающие Амброжика!

Немой вопрос в глазах поэта. Зрачки расширены, черные-черные. Владке страшно. Купала молчит.

Купала не видел еще фашиста в лицо. Пролетали самолеты с черными крестами на крыльях, но в пике на их автомобиль не заходили, не завывали, едва не касаясь пропеллерами. Купала, Владка то не доезжают до бомбежки, то проезжают мимо ее жертв. Не доезжать — легче, переезжать — хоть глаза завязывай, а они же открыты — зрачки вон как расширены. Купала и так видит фашиста. Видит со дна памяти своих расширенных зрачков и поднимет после страшный, подобный чудищу образ грабителя, — поднимет в Чернореченском лесничестве в один день с громовым, призывным: «Партизаны, партизаны, белорусские сыны!»

Тихое лесничество Шиманских, мирная Чернореченская лесничевка — голосом белорусского Народного поэта вы стали звонкими, как вечевые колокола, слышными далеко вокруг! И если почти полмиллиона лесных солдат объединятся вскоре в отряды и бригады в белорусских борах и пущах, то не потому ли их столько соберется, что и слово поэта звало их сквозь все годы черной оккупации на бой с извергами? И если миллион захватчиков бесславно положит головы в борьбе с партизанами Белоруссии, то опять же не потому ли, что ненавистью к врагу острило партизанские пули все то же могучее слово Купалы, став стихами «Белорусским партизанам» и «Грабитель»?

Но в войне с фашистами перелома еще не было. Фашисты шли на Москву, и это обуславливало те действия, которые правительственные органы проводили в Москве во второй половине октября 1941 года. «14 октября, — вспоминает московский друг Купалы Борис Емельянов, — по приказу правительства формировались и отправлялись в глубокий тыл эшелоны. Отъезжали писатели. Утром Янка был колючим, как вытянутый из воды ерш.

— Никуда я не поеду, — бормотал он, — ни в какие Ташкенты. Что я, с

ума сошел? За семь тысяч верст киселя хлебать. Немцу в Москве не бывать — попомнишь мое слово. Я отъеду немного от Москвы, куда-нибудь в лесок, и остановлюсь. Потом вернусь.

Вдруг он беспокойно оглядел меня и спросил:

— Эшелоны переполнены?

И тут же сел за стол и написал записку в Союз писателей, в которой просил вместо него взять в эшелон меня.

Потом поднялся, забормотал что-то и стал выбрасывать из чемодана вещи.

— Надо жить легче. Никому не нужны эти тряпки.

Владислава Францевна заталкивала вещи назад в чемодан. «Дуэль» продолжалась минут пять. Наконец Янка не выдержал.

— Вот так всю жизнь, — сказал он, вздыхая. — Я одно, она другое, я одно, она другое.

Он пошел в спальню. Владислава Францевна побежала за ним. Когда я туда вошел, то застал уже картину трогательного семейного согласия. Оба они резали хлеб, сыр, масло и колбасу и раскладывали по кучкам.

— Это нам, это тебе, — говорил Янка.

— Это нам, это вам, — повторяла Владислава Францевна.

— Не возьму, — сказал я.

Они начали кричать на меня оба сразу. Получалось, что он тоже «всю жизнь» был такой-этакий и, когда ему говорили одно, он делал другое.

— Всю жизнь ты был эгоистом, — утверждал Купала.

— Не был, — протестовал я.

— Был...

Я взял сыр. Тогда ему в карман посыпались конфеты, пирожки, булки.

— Умереть с голода вы всегда успеете, — сказала Владислава Францевна.

Она вытащила из-под стола две большущие банки маринованных грибов, сунула мне в руки, и я стоял посреди комнаты, взволнованный и растерянный, не зная, что делать с этими стеклянными бомбами.

— Берите.

В глазах Владиславы Францевны были слезы. Я все понял. Я держал в руках хрупкую иллюзию вновь созданного Владиславой Францевной — вместо минского и оршанского — московского дома Купалы. И вот дома Купалы опять не будет — впереди только дорога — трудная дорога войны».

Человек знает, когда что у него в первый раз, но человек не знает, когда что у него в последний. В тот год много чего у Янки Купалы было в последний раз. В последний раз он прощался и с Борисом Емельяновым.

— Ну, будь, — сказал поэт другу. — Желаю счастья. — И как бы для себя повторил любимое выражение: — А что такое счастье, каждый понимает по-своему.

Но тут Купала вдруг с собой не согласился:

— Нет, нет! Теперь мы все ждем одного и того же счастья. Единственного, огромнейшего и общего. И оно придет, не может не прийти: иначе зачем же мы жили?..

И еще в тот же день, в который так и не распрощался Купала с Емельяновым, он говорил другу:

— Если б я не был поэтом и старым человеком, я бы хотел быть каменщиком после войны. У меня будет в Минске сначала комната. Не будет комнаты — будка будет какая-нибудь, палатка... Я буду спать на деревянных полатах и работать за кухонным столом. Я буду писать лучше, чем когда бы то ни было.

— ...Вырастут новые сады. Черенок от подмосковной яблони мне пришлешь. А если меня не будет, посади яблоню на могиле.

Купала распрощался с Емельяновым на следующий день, 16 октября. Он отправлялся дальше на восток, до того места, до которого довез его автомобиль.

2. В НОЧЬ ПОД НОВЫЙ, 1942 ГОД

Как уже третий месяц подряд, так и в эту ночь был-жил Купала в доме мельника на высоком правом берегу Волги в небольшом поселке Печищи.

Здесь, в Печищах, изо дня в день Купала оставался преимущественно один на один с окном — молчал с ним, всматривался больше в себя, чем в окно. Долго билась в осеннем окне ветка с одиноким листком, пока ноябрьский ветер с Волги не сорвал его. Возможно, это тот самый листик, а может, какой другой на некоторое время прилип к подоконнику, а после долго вмерзал, словно в слезы, в капли, стекающие с окна, за которым и с которым молчал Купала. Вмерз листик в лед, запорошило его снежком, и теперь он в ледяной оправе по ту сторону окна. Листик прошлого года. Нет, лета. Из прошедшего лета, ведь год еще не прошел, он пройдет только после вот этого долгого-долгого морозного вечера. И будет полночь, до которой пока что далеко; и придет в полночь из-за Волги, из-за Урала новый, 1942 год.

До Урала Купала не доехал. Да он и не рвался на Урал — только бы в какой-нибудь замосковский лесок. Но все же доехал до Чебоксар.

Забуксовал автомобиль, и Купала даже рад был, что он забуксовал. Стоп, машина, — и так далеко отъехали от Москвы. Но в Чебоксары приехал, как на довоенный Севан, ведь здесь дом чувашского поэта Семена Эльгера, с которым подружился в Армении, на Севане. Довоенное время, оно не кончилось с началом войны. Довоенная дружба, она в огне войны только по-настоящему крепла. Купала чувствовал, понимал это, может, больше, чем кто иной. Он жаждал веры, а дружба давала веру. Дружба спасала. Дружба — это коллектив, коллективом, всем миром всегда легче, и, возможно, потому так особенно могуче призывал поэт своей публицистикой сорок первого года к дружбе, к единению, что сам чувствовал себя, как чибис, одиноким. Образ чибиса напоминал ему и старую легенду, которую он опозитизировал еще в «Жалейке». Легенда осуждала чибиса за его отказ от совместного труда. А за что осужден на одиночество он? В легенде рассказывалось: настало время, когда высохли реки и родники и не стало на свете воды. Все люди, звери и птицы собрались, чтобы копать озеро. Чибис уклонился. А разве же он за всю свою жизнь хоть когда-нибудь уклонялся, чтоб не копать со своим народом наигромнейшее, наисветлейшее под солнцем озеро? За что же, в самом деле, ему такое наказание одиночеством здесь, в Печищах?

Одиноким был на мельнице, на правом берегу Волги Янка Купала, хотя с ним рядом Владка. Он знал, что мучит ее тем, что молчит, что не принимает ее знаков внимания, что раздражается более обычного. В новом году он станет лучше. Прости, Владка! Собирай сегодня новогодний ужин! Тряси последние припасы, которые по такому случаю очень будут кстати. Пригласим и мельника, и его жену, и не будем одинокими, а я пока постою у окна. Не дует, не бойся! Кашляю я не от этого, а от неизменной папиросы: на сердце тяжело — ты же знаешь!

Он стоит молчаливый который уже вечер, которую ночь. Если бы окно могло говорить, если б фиксировало его мысли! Мысли? Жизнь! Жизнь, встающую, как на экране, в квадрате окна или опять же на кресте белой оконной рамы?..

Квадрата Купала не любил: любил солнце, а поэтому любил круг, коло, да чтоб лучи от него, как от солнца, как спицы березовые в колесе, которое сжигали они детьми на Купалье, чтоб дожидаться нового солнца, нового Купалья. Он любил круг, солнце, а сам попадал в круги ада, порой и не воспринимая этого сразу. Через сколько кругов он прошел? Не считал. Прошел сквозь все, predetermined ему судьбою, и в каждом был как в омуте. Почему же, однако, омуты не засосали его, не затянули на дно? Там же вон какой водоворот, так крутит в этих омутах-вирах и на Свислочи, и

на Днепре! Купала только молча глазами улыбается: он же был не в омутах-вирах, а над ними! В водовороте — телом, над ним — духом, душой, поэзией. Поэзия — его спасательный круг, то, что не давало ему идти на дно, хотя омуты и засасывают.

И неправда это: на круги своя ничто не возвращается, на прожитые круги жизни. Можно вернуться на круг Отчизны, и он вернется, обязательно вернется, как солнце возвращается после ночи, чтобы снова отразиться ослепительным кругом в тихой глади утренних криниц.

Купала видит себя и белым хлопчиком-одуванчиком на телеге отца-арендатора, и светлым юношей с грустными глазами, и «молодым стариком» среди маладняковцев, и революционно радостным на трибуне посреди Площади Свободы с Голодедом, Червяковым, Гикало, и пожилым уже дядькой в Левках — рядом с Коласом в тихой радости рассвета над Днепром. Но вдруг обжигали память строки «Открытого письма»...

«Стиль! Стиль не мой!» — сколько раз кричал и сейчас кричит душой Купала, — ведь вот же мой стиль: «Голосом грома будем говорить... буквами молний будем вписывать свою историю в вековечную книгу истории народов. С цветистыми солнечными мыслями, с несокрушимой верой в лучшую долю и волю, пойдем все вперед и вперед под святым стягом вольной Беларуси. Борись и стань вольным, Белорусский народ!» Вот мой стиль — Купалы! Стал свободным мой народ и будет свободным. Вот мой стиль, моя душа:

*Не погаснут звезды в небе,
Пока будет небо!..*

*От стен Кремля, походкой юной,
Походкой гордой, человеческой
Идет, товарищи, Коммуна,
Чтоб вольный труд увековечить.*

«Идет! И увековечит! Вот идея моей жизни. Беспартийный большевик, я в это верю, как поверил когда-то в Молодую Беларусь. Правда моей жизни есть правда Белоруссии, моего народа. Что ж! Правда и то, что мой народ поздно проснулся. Но разве XX век — это действительно поздно? В самый раз, ведь это век революций, Ленина, нового социального обновления человечества. И я успел к этому обновлению, не опоздал».

Утром, слушая последние известия о боях под Москвой, Купала был

под Москвой — в пурге, в сорокаградусном морозе, с двадцатью восемью панфиловцами на Волоколамском шоссе, с безымянными бойцами, танкистами, летчиками, саперами под Каширой, Зарайском, Тулой, на Яхrome. А днем он мог возвращаться на любую параллель довоенной жизни, вечером — представлять себя в будущем. Или наоборот, утром — в будущем, днем — в прошлом, вечером — под Москвой. Вариации мыслей — бесконечные, и все, как стрелка компаса на север, острием все-таки в будущее. Но меньше всего северный магнитный полюс был на острие памяти Купалы. Магнитом притягивало его множество болевых точек, ибо болью отзывались в поэте давнее радостное и грустное, прошлое счастье и несчастье, болело все, что свершилось и не свершилось.

«Из самого далекого, — думает Купала, — осталась незавершенной поэма о ненависти, о Рогнеде, взятой насильно замуж князем Владимиром. О Рогнеде-полочанке. Рогнеде, которая воспитала своего единственного сына Изяслава в ненависти к отцу. Град Изяслава — Заславль, — это же близко от Минска и от его Вязьинки — родины. Но почему он не закончил той поэмы? Горислава или Гореслава называлась у него Рогнеда? Горислава или Гореслава это — и горе и гореть славою?»

Но сегодня сердце Купалы горит всеиспепеляющей ненавистью к фашистам за сожженную ими Родину. И желания у него только одни: если враг сорвет яблоко, созревшее в саду над Птичьей или Днепром, пусть оно взорвется в руках его гранатой! Если он сожнет горсть зерна над Неманом или Припятью, пусть зерна обернутся свинцовым дождем с неба и с крон ветвистых пущ! Если он подойдет к чистым студеным колодцам по дороге Минск — Москва, пусть они пересохнут, черной жаждой испепеляя черные рты захватчиков! Несущие ненависть невечны. Ненависть испепелит их самих! Славен тот, кто «чувства добрые в людях пробуждал». Бесславию — судьба захватчиков, падких на славу и на счастье людей...

Но что еще осталось у него незавершенным? Конечно же, песня счастья, песня объединения, осуществления мечты — воссоединенный народ. Но счастье уже и в том, что народ теперь объединен для совместной борьбы. В борьбе закалится это единство, единение до сих пор разъединенных. Счастье освобождения, мирное будущее, оно будет одно для всех, одна судьба на всех. И Купала еще напишет об этой общей судьбе... «Счастливыми мы будем снова... Отстроим города и села... Как развеялся, развеяться над нами стяг наш красный будет!..» Он, Купала, еще напишет об этом, обязательно напишет. Он напишет и о крестьянине-воине. Ведь если кто-нибудь и думал, что он полностью оплатил долг крестьянину, все сказал о нем, то только не он, Купала. И это особенно в

середине 30-х годов, когда писал левковские стихи, когда из библиотеки бывшего своего учителя Турчановича, которую в Минске сберегли его наследники, отложил для себя в сторону все, что нашел о крестьянских войнах, о нашествиях шведов и французов. В Москве, в июле этого, уходящего теперь уже года, как жалел он, что нет у него ни истории Карамзина, ни записок в четырех частях Хомякова — о 1812 годе, ни книжки о битве возле Лесной, которую Петр I назвал матерью Полтавской победы. Он определенно видел уже тогда, с тех далеких уже теперь срединных тридцатых годов, лица крестьян-повстанцев, крестьян-партизан. Как это плохо, что он не успел именно об этом написать! Как плохо!..

А если было что плохое, разве об этом теперь писать? Перед большим горем человек забывает все свои обиды — мелкие и крупные. Что прошлые обиды перед большим настоящим горем?! Перед его стихией, за тем рубежом, за которым осталось довоенное, все кажется мелким, уже не имеющим такого значения, как раньше.

Он не хочет вспоминать, но другие вспомнят о нем, довоенном. О том, как всегда неожиданно он появлялся в Доме писателя на тогдашней Советской улице, где одновременно ютилось и несколько редакций газет. Обходил редакции, одаривая девчат коробками конфет, обращался к засидевшейся редакционной молодежи:

— Так, может, сходим, хотя бы по бокалу пива выпьем, а то вы здесь заработались.

«Ну и шли. Гуськом — за ним», — это из воспоминаний Яна Скрыгана, который «никогда не видел, чтоб Купала ходил один — вечно за ним целый хвост молодых. А на руке у него висит киек. А он впереди. Лицо счастливое, хорошее, нет-нет да и промелькнет на нем улыбка. Повернется, что-нибудь скажет кому-либо через плечо, слегка кривя нижнюю губу...» Миколу Хведоровичу:

— И глухо и тихо, и далеко до лиха! — вспоминая о райском лесном уголке в окрестностях Копыля, где они вместе гостили.

Алесю Бачиле:

— Так сколько тысяч строк вы написали? — ведь что ты за поэт, если не тысячами строк пишешь?

Они вспомнят, как Купала ведет молодых в самый лучший довоенный кинотеатр Минска — в «Чырвоную зорку». Сколько брать билетов, он уже знает: на один билет меньше, чем вся компания. И он вручает по билету каждому, а о себе говорит: «Фильм в самом деле хороший, но я его смотрел». Молодые друзья Купалы идут в кино, а он направляется в хорошем настроении домой, ведь Владка уже ждет.

Они будут вспоминать о нем, довоенном, только о таком — радостном, солнечном...

«Счастье мира, почему же оно, однако, полностью познается только через тебя, война, через это вот одиночество в Печищах — возле замурованного морозом одинокого окна? — Нет, он, Купала, больше не поезжанин, не поезжанин в своем краю от Бреста до Владивостока и от Кушки до Таймыра! Но все же...

Год назад кто бы вообще в мире мог подумать, что они будут через год под Москвой, будут топтать Немиги кровавые берега, синие глаза васильков и незабудок, с которыми, как с людьми, он, Купала, так трудно расставался, так тяжело было покидать их в полоне черной свастики. Черный орел примостился на карнизе Дома Правительства, таращась хищным глазом, озирает всю его Беларусь. Боже! Не черное ли солнце всходит над Белоруссией? Купала помнит черное солнце в «Тихом Доне» Шолохова — над могилой, которую копает Григорий Аксинье.

«Над краем могилы солнце чернеет; краем могилы солнце чернеет, — думает Купала. — Ты, Шикльгруббер, копаешь эту могилу для Белоруссии — не выкопаешь, не доживешь до такого дня!»

Надволжский мороз вырисовывал на окне то ли ветвистые пальмы, то ли раскидистые букеты ржаных снопов, а может, прогнутые грани холодных искрящихся штыков. «Штыков, — решает Купала. — Нависайте же щетинисто, острые, гневные, напорись на них, нечисть, издавай свой последний «хайль»! До Москвы *неправдой* дойдешь, а назад не вернешься, как не вернулся Лжедмитрий, как не вернулась армада Наполеона!»

И вновь Купала видит себя на знаменитых Красных камнях в Кисловодске. Они сидят на них вдвоем с Петру-сем Бровкой. Эльбрус Купалу не слышит, но Бровка слышит...

Может, не только от одиночества, но и от того, что начатый разговор с Бровкой на Красных камнях в Кисловодске остался незаконченным, так стремится Купала в Москву.

Молча улыбается Купала. Видит себя за штурвалом в кабине самолета. На ногах унты. Это он фотографируется на аэродроме вблизи от Левков. Поют жаворонки. Июнь. Вот и до звезд близко: рукой можно пощупать на крыльях самолета. Был бы помоложе, можно было бы и взлета попросить. Был бы он не старым человеком, разве сидел бы он за печью в Печищах? Никогда! А в войну разве ж это занятие — рассуждать о счастье-несчастье? Но что ему остается, как не это занятие — в длинные ноябрьские вечера 1941 года и в еще более длинные — декабрьские, в самую длинную ночь — предновогоднюю?..

И не знает Купала, что он в эту ночь не только здесь: одинокий, возле одинокого окна. Он и здесь и не здесь, потому что он — это не только его сегодняшней усталый взгляд, не только его молчаливые, опущенные на подоконник руки. Он там. Он летит туда. Его руки, его очи, его сердце создали то, что неизмеримо выше его самого возле этой стылой полночной рамы — не звезд ли касается, не ветрами ли стало вьюжными, неодолимыми?

Встречали ли партизаны тот самолет в Припятской зоне, или в лесах Полотчины, на круче Днепровской, Неманской или Бужской?.. Кто об этом ему мог рассказать! Да и один разве самолет летел тогда курсом на запад — и в Беларусь, и на Украину, и на Литву, Латвию, Молдавию, летел с его словом, вез его слово, так же как патроны, мины, провиант, медикаменты, рации. С листовок Купала смотрел в глаза партизан таким, каким они его помнили в дни мира — доверительно, по-свойски, любя и веря:

*Партизаны, партизаны,
Белорусские сыны!*

Он звал их, он песней своей становился с ними плечо в плечо. Он в этой вьюге, что мела, заметала поляны, тропы, дороги, необозримые просторы, шел, шагал исполински, как и они. Он был в их памяти исполином, и его слова были для них обретением духовной силы, были силой, их вздымающей:

Партизаны, партизаны!..

Они переписывали слова листовки на последних клочках бумаги, за коптилкой — в сумерках землянок, эстафетой пересылали из отряда в отряд, из бригады в бригаду. Руки их зябли. Может, потому зябли и его руки, замершие на подоконнике в доме над Волжской кручей?..

Он тоже мечтал когда-то к штыку приравнять перо. Но разве не было теперь перо Купалы самым штыком, разящим врага наповал: штыком в руках сыновей белорусских, сыновей Купавы?! Его миниатюрное перо-винтовка — дар металлистов — сгорело в доме под тополем. Но разве оно сгорело, если слово Купалы разит врага, если то перо теперь стало огненным, ненавидящим врага пером, и огонь ненависти воспламеняет сердца белорусских партизан — сердца всех партизан Белоруссии, откуда

бы их ни закинула в Беларусь военная судьба — из-под Волги или из Сибири, с Кавказа или с Дона, с Амударьи или из Ташкента?!

Владка, Владочка! Но тебе все же легче. Мне бы сюда хотя бы кого-нибудь из ребят: в войну мужчина мужчину лучше понимает. И ты не обижайся, если была со мной не всегда счастлива. И все это глупости — французская кровь, мелеховская Аксинья. В каждой женщине — французская кровь, в каждой женщине — Аксинья. Каждая женщина как огонь и вода, как поэзия! Ведь каждая женщина и воспламеняет, и гасит, испепеляет и исцеляет. И только огонь войны лишь испепеляет. Но не он бессмертен — бессмертен огонь любви, поэзии.

Что останется? История. Остается всегда история. Если вулкан курится, он живет: может начаться извержение. Будет лава, которая станет новыми Красными камнями. История всегда остается, и камни остаются. Сакли горят, лес горит — Эльбрус остается. Спичка, угасая, ярче горит...

Горят и рукописи и сердца! Но всегда, однако, остается пепел, и главное — слиться пеплом с солнечным лучом. И, быть может, когда-нибудь, пусть не в XX веке — в XXI, но найдет разум человеческий способ читать пепел — сгоревшие написанные и ненаписанные письма, написанные и ненаписанные страницы дневника. Люди научатся читать пепел — Купала в это верит, и тогда будет до самого потаенного уголочка прочитано сердце любого человека. Будет! А пока люди могут читать только то, что не сгорело, что осталось стихами, поэмами, пьесами Купалы, люди узнают его только по тому, что он написал. А если и начнут что-то из написанного им отбрасывать, сжигать потомки? Пусть сжигают! Ведь все равно останется пепел, который когда-нибудь соединится с солнечным лучом!..

А счастье? Счастье уже в том, что ты вышел из тьмы, что ты Купала, отправившийся искать извечный цветок счастья и в этом поиске не потерял веру в людей; что у тебя есть твой народ, твоя Беларусь. Твое счастье и в том, что ты остался борцом. Счастье в борьбе. Вкус такого счастья ты, Купала, познал сполна.

А личное счастье? Купала и сам не знает, что было его настоящим личным счастьем: злосчастная ли любовь без взаимности или как будто бы счастливая во взаимности? Наверно, и та и эта, ведь и в той было свое счастье и несчастье, и в другой — свое счастье и несчастье.

И вдруг он видит себя в Селищах. Отец Доминик, мать Бонн, и все семеро детей. Отец не знает, что они за столом все семеро в последний раз. Никто не знает. Отец еще не знает, что сын пойдет искать цветок папоротника, что его сын — Купала. И каким он счастливым выглядит за

своим селищенским столом! Не знает...

А Купала счастлив, он знает уже о том, что пойдет искать цветок папоротника, не знает только, в скольких кругах ада побывает, прежде чем оказаться в высоком доме на крутом берегу Волги.

А разве это не счастье — получить такое имя, как у него, Яся Луцевича, Ивана Доминиковича? Называться в XX веке — *Купалой*.

Революция и Поэзия! Революция не могла без Поэзии, без Песни — с песней она рождалась и с песней она побеждала, с песнями будет продолжать свое победное шествие. И у Купалы все еще впереди, как у молодости, как у вечной молодости!..

Зашло солнце, взошел месяц...

Он любил тебя, народная песня, любил могущественного духом Шопена, но сейчас он не отрывается от репродуктора, едва услышит из его картонного черного круга звучание победного марша Хачатуряна. Теперь, как никогда раньше, он чувствует себя в походе, ритм сердца своего единит с ритмом походного марша, повторяя: «А кто там идет? А кто там идет?» Всей своей жизнью он давал ответ миру на этот вопрос. Поход в будущее продолжается, должно быть и продолжение песни. Гремите же, походные горны! Трубите бой! Приближайте победу! Я, Купала, — сердцем, песней — с вами!

*Партизаны, партизаны,
Белорусские сыны!*

Этот стих уже не только листовкой падает на белый снег лесных партизанских полян, на зеленую траву заречий, в зеленосумрачные чащи папоротников, дубрав. Слышите, он уже стал песней непорабощенного народа — она гремит среди боев, песня борьбы, песня непокоренных, и эхо разносит ее широко-широко, далеко-далеко — за горизонты — навстречу Победе. Ведь только тот не побеждает, кто не был борцом — за правду, за честь и за славу народа, за светлые идеалы человечества.

И над Волгой, над всей Белоруссией, над всеми фронтами, что к ней продвигались, в огне и крови звучало:

Зову вас к победе!

Зову вас к победе!..

...Пальто с большим рыжим меховым воротником (Купала всякий раз вспоминал Журана) висело на вешалке у дверей. Захотелось укутаться в него, позвать Владку, выйти под морозные надволжские звезды. Но было уже близко к полночи: радио, к счастью, работало. Левитан предоставлял слово для новогоднего приветствия советскому народу Клименту Ефремовичу Ворошилову. Приветствие слушали молча — Купала, Владка, Иван Няякшин с женой. На столе московская горькая и даже бутылочка клюквенного вина.

— И все же, Владка, как бы там ни было, все равно переживем, — сказал Купала — свое последнее «все равно».

— С Новым годом, с новым счастьем! — говорил Няякшин.

Слова воспринимались как самообман: какое счастье?..

— Сдвинется зима, и мы сдвинемся, — продолжал Купала, — но не на Казань — на Москву. На «Елисейские поля» к Елисееву. Грузинка поближе к Белорусскому вокзалу, а с Белорусского вокзала поближе к дому.

— Поближе, — подтвердила Владка.

После новогоднего застолья сон приходил тяжело. И было это то ли во сне, то ли в полусне — трудно сказать. И видел Купала огромное недостроенное здание, будто Вавилонская башня, возле которого людно, суетно, шумно, и каждый каждого понимает, каждый каждому улыбается, каждый каждого обнимает, — ведь все говорят на одном, понятном каждому, языке. А он, Купала, прислушивается к этому общему разговору молча, все понимает и рад, ведь это же осуществленная его мечта — свершившееся сокровенное: «Была бы мировая литература на одном языке, не было бы в ней никаких повторов, не пришлось бы тогда в сотый и в тысячный раз открывать воду и огонь, розы и звезды. И узнать бы ее всю, насколько бы это было легче?»

— А был бы ли тогда Купала?! — гулко разносится возглас в стенах огромного, высокого недостроенного здания: над ним звезды вместо крыши, а стены в нем без углов, только окна в стенах ряд над рядом, каждое без креста рамы...

— Пусть бы и не было, — отвечает Купала, — только бы люди один одного понимали, только бы одна песня счастья звучала на свете!..

Но вот Купала уже видит, что он свое сокровенное излагает не в огромном, высоком недостроенном здании, но в достроенном помещении,

только почему-то с провалившейся крышей, и строение это не такое высокое, не выше, чем Театр оперы и балета на Троицкой горе в Минске. Но и это здание, как и башня, которую он видел раньше, тоже круглое, а стены в нем выщерблены — под открытым небом над ним то ли рифами, клыками, пиками, то ли красными языками пламя ввысь поднимается. А в центре здания, как в цирке, арена. Гладиаторы на ней, что ли?..

«Венный город! — догадывается Купала. — Так и не доехал я до тебя, хотя и говорят, что все дороги...»

Галереи ожили. Шум, гам, ярость на арене и на галереях. Купала видит лица, безразличные ко всему, что происходит на арене. Их профили строгие, орлиные носы, высокие чистые лбы, волосы кудряшками, как у Аполлона. Но не Аполлоны. Над их лоджиями таблички, золото букв, которые, хотя в Колизее и полумрак, сверкают ярко. Купала читает: Август, Цезарь, Октавиан, Нерон, Антоний...

На арене — рев. И Купала видит — львы, красные, гривастые, разъяренные. Встали на задние лапы один против другого, пасти раскрыты, вот-вот полыхнет из них огонь. Но огонь не полыхает. И Купала удивляется тому, что видит: хвосты — как у львов, гривы — как у львов, а морды... Вот одна со скошенными глазами Луки Ипполитовича, другая... другого Луки — Афанасьевича... Слышно, как кто-то, выбежав на залитую кровью арену, декламирует:

— O tempora, o mores!

А с галерки, с самой верхотуры, другой голос, но очень знакомый. Купала узнал Амброжика. Амброжик кричит изо всей силы:

— Какая умора? Скажи лучше, чего эти-е львы бьются?

— Не чего, а из-за кого, следует спрашивать, — менторски поправляет дядьку Амброжика высокий кучерявый оратор в тунике.

— Так из-за кого, из-за кого? — допытывается Амброжик.

— Из-за него, — отвечает туника, ткнув своим длинным указательным пальцем в грудь Купалы. — За его душу...

В ложах продолжают аплодировать.

Да что же это делается? Не кто иной, а сам он, Купала, — с какого это яруса галереи? — срывается (слишком высунулся за мраморный край балюстрады?), летит (голова закружилась, что ли?), ветер свистит в ушах, а он летит. А на арене под ним все тот же оратор (тоже мне Цицерон нашелся!), голос его все отчетливей и отчетливей:

— Quo vadis?! Камо грядеши?!

Купала кричит ему:

— Не видишь?! Не иду, а лечу!..

.....

И уже не Купала, а Цицерон слышит:

— ...Лечу, чтоб слиться с солнечным лучом!..

— ...Э-гей, к солнцу, э-гей, к звездам!..

— ...Пусть ласковый взор ваш печалью не мглится!..

— ...Придет новый и мудрый историк...

.....

Купала проснулся в холодном поту, разбудив Владиславу Францевну.

— Что с тобой? — встревожилась она.

— Спи, спи, Владочка.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Янки Купалы не стало 28 июня 1942 года. Далеко была в ту фатальную минуту от своего Янки Владислава Францевна. Еще дальше — мать поэта Бенигна Ивановна. Для сына, говорят белорусы, если он в пути, — одна дорога, для ждущей матери — сто, а если это мать поэта, то и вся тысяча. Об этой тысяче, наверно, не могла не думать Бенигна Ивановна в оккупированном Минске, и, должно быть, материнское сердце почувствовало, что одна из них вдруг оборвалась. Почувствовало и пережить этого не смогло: 30 июня 1942 года и сердце матери поэта остановилось — через два дня после смерти поэта.

Хоронили их в один день — 1 июля 1942 года. Речь над Купалой произнес секретарь ЦК КП (б) Белоруссии Т. С. Горбунов. О славном пути «великого поэта, певца великого свободолюбивого народа», «титана поэтического дарования», классика белорусской литературы, поэта-революционера, одного из любимейших поэтов советских народов, одного из прекраснейших поэтов, который «внес белорусский национальный вклад в сокровищницу 300-миллионного славянства, в сокровищницу общечеловеческой культуры», говорил Тимофей Сазонович Горбунов.

И продолжала разливать зарево по всему небу до самых звезд одна из самых грозных войн, какой до этого не ведал мир. Огненная линия фронтов межой легла между могилами сына и матери.

На похороны Купалы из Печищ в Москву Владислава Францевна поспеть не смогла. Молчун Купала, всю жизнь не любивший писать письма, свое последнее письмо написал Владке и отправил из Москвы 19 июня 1942 года. Последним словом в нем стояло: «...Целую. Твой Янка».

Сегодня прах и сына, и матери, и Владиславы Францевны в одной земле, под одними соснами. На Военном кладбище в Минске виднеются рядом могилы двух великих сынов белорусского народа, двух первых народных поэтов Белоруссии — Янки Купалы и Якуба Коласа. Рядом с надгробием Купалы — могила Владиславы Францевны. Янка же Купала как бы на несколько десятков шагов не дошел в своем возвращении до той, которая породила его на свет, которую он некогда покидал, но к которой всегда возвращался. Теперь же все трое они рядом «видят сны о Беларуси» в лоне матери-земли, которая всех их породила, — в лоне матери-земли Беларуси.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ЯНКИ КУПАЛЫ

1882 — 25 июня (7 июля) в фольварке Вязынка Радошковичской волости бывшего Вилейского уезда Виленской губернии (сейчас Молодечненский район Минской области) в семье арендатора Доминика Онуфриевича и Бенигны Ивановны Луцевичей родился первый сын, Ясь — будущий поэт Янка Купала. Предки родителей Янки Купалы были из мелкой безземельной шляхты Минской губернии.

1887–1889 — Странствования отца поэта по разным имениям Борисовского и Минского уездов Минской губернии. В имении Сенница под Минском Ясь Луцевич посещает одну зиму Сенницкое народное училище, где учительницей была А. В. Солнцева.

1890 — Луцевичи переезжают в Минск. Отец, будучи извозчиком, тщетно пытается подготовить старшего сына к поступлению в какое-нибудь учебное заведение.

1891–1902 — Новые странствования Луцевичей-арендаторов от помещика к помещику по уездам центральной Минщины. Учеба будущего поэта у разных учителей-передвижников. Знакомство с Владимиром Ивановичем Самойло, который готовил Яся к поступлению в Минское реальное училище. Решение отца оставить старшего сына при арендаторстве. Учеба в Беларучском народном училище (1897–1898) и получение свидетельства об его окончании.

1902 — Смерть отца поэта, двух его младших сестер и брата.

1903–1904 — Отказ Яся Луцевича от арендаторства, первый его разрыв с родительским домом, начало жизненных университетов поэта: работа домашним учителем, писарем у судебного следователя, конторщиком и младшим приказчиком в имении. Болезнь матери и возвращение сына к ней, переезд семьи из Селищей Гайно-Слободской

волости Борисовского уезда в Боровцы Минского уезда. Первые поэтические опыты на польском и белорусском языках. Знакомство с революционными прокламациями и творчеством белорусских писателей XIX века Ф. Богушевича и В. Дунина-Мартинкевича и принятие решения «писать только по-белорусски».

1905 — Май, 15. В прогрессивной минской газете «Сѣверо-Западный край» опубликовано первое произведение Янки Купалы — стихотворение «Мужик».

1906–1908 — Второй уход из дому — продолжение жизненных университетов: служба чернорабочим и помощником винокура на винокуренных заводах в деревнях Семково (возле Минска), Яхимовщина (возле Молодечно), Дольный Снов (возле Барановичей).

1908 — Выход в Петербурге первого сборника — «Жалейка».

1908–1909 — Первый приезд в Вильно, работа в редакции газеты «Наша нива» и библиотекарем в библиотеке Б. Л. Даниловича.

1909–1913 — Петербургский период жизни. Покровительство профессора Б. И. Эпимах-Шипилло, на квартире у которого живет Янка Купала. Учеба на общеобразовательных курсах А. С. Черняева.

1910 — Выход в Петербурге второго сборника — «Гусляр».

1911 — В журнале «Современный мир (№ 2)» появилась статья М. Горького «О писателях-самоучках» с горьковским переводом стихотворения «А кто там идет?..».

1912 — Июнь, 3. Закончена комедия «Павлинка» — первое сценическое произведение поэта.

Июль, 26. Первая встреча Янки Купалы с Якубом Коласом на родине последнего — в деревне Миколаевщина возле Столбцов (Минская область).

1913 — Апрель. Выход третьей дооктябрьской книжки поэта — «Дорогой жизни».

Июнь — июль. Завершены поэмы «Бондаровна», «Могила льва», «Она и я».

Сентябрь. Закончена драма «Разоренное гнездо». Второй приезд в Вильно, работа секретарем в «Белорусском издательском товариществе», а затем в редакции «Нашей нивы».

1914–1915 — Редактирование «Нашей нивы».

1915 — **Август, 8.** Янка Купала вынужден покинуть Вильно в связи с приближением к нему кайзеровских войск. Начало безвременья, долгих скитаний и творческого спада.

1916 — **Январь, 23.** Женитьба в Москве на Владиславе Францевне Станкевич.

Призыв в армию. Служба в качестве старшего рабочего дорожно-строительного отряда Варшавского округа путей сообщения в Минске, а затем в Полоцке.

1917 — Переезд в Смоленск как раз в дни Великой Октябрьской социалистической революции.

1918 — **Июль, 21.** И. Д. Луцевич зачислен в Смоленске агентом отдела снабжения Западной области.

Сентябрь. Начало подготовки к изданию в Москве перевода на русский язык «Избранных произведений».

Октябрь. Начало нового творческого подъема. Появление многих стихотворений, в том числе «Своему народу», «На сход», «Время», «Спадчина», «Поезжане», которыми поэт приветствовал революцию.

1919 — **Январь, 21.** Переезд на постоянное местожительство в Минск. Работа библиотекарем в Народном комиссариате просвещения при Белорусском народном доме.

Октябрь, 30. Завершен прозаический перевод «Слова о полку Игореве».

1920 — **Январь** — **март.** Три месяца в больнице с тяжелым заболеванием — гнойным воспалением аппендицита.

1921 — **Апрель** — **май.** Перевод на белорусский язык «Интернационала» Эжена Потье.

Август, 9. Создание стихотворения, посвященного Степану Булату,

белорусскому политическому деятелю, коммунисту.

Сентябрь, 5. Окончен поэтический перевод «Слова о полку Игореве».

1922 — Начало года. Купала — один из создателей Института белорусской культуры.

Август, 31. Завершена комедия «Тутошние».

Ноябрь — декабрь. Вместе с Якубом Коласом и другими готовит издание первого в Белоруссии ежемесячного литературного журнала «Полымя» (первый номер «Полымя» вышел в декабре этого года).

На протяжении года. Выход первого сборника советского времени «Наследие». Избрание действительным членом Института белорусской культуры.

1923 — Стихотворением «Орлятам» Янка Купала приветствует выход белорусского молодежного литературного журнала «Маладняк» и создание одноименной литературной организации.

1924 — Опубликована в переводе Янки Купалы поэма украинского поэта В. Полищука «Ленин» («Полымя», № 1). Написана поэма «Неназванное».

1925 — Выход сборника «Неназванное». В связи с 20-летием литературной деятельности СНК БССР присвоил Янке Купале звание народного поэта Белоруссии, освободив от занимаемых должностей и назначив пожизненную пенсию.

Сентябрь — октябрь. Первая заграничная командировка в Чехословакию и Германию.

1927 — Август — октябрь. Вместе с женой в Карловых Варах на лечении.

1928 — Февраль. На собрании научных сотрудников Белгосуниверситета и писателей избран председателем Комитета научных сотрудников и писателей БССР по защите Белорусской крестьянско-рабочей громады, репрессированной в буржуазно-помещичьей Польше.

Сентябрь. Впервые на лечении в Кисловодске.

Декабрь. Избран академиком АН БССР.

1929 — Май, 15. Избран членом ЦИК БССР девятого созыва.

Май, 30. Принимает участие во встрече на станции Негорелое М. Горького, возвращающегося из Италии.

Июнь, 29. Избран действительным членом АН Украинской ССР.

1930 — Торжества в честь 25-летия литературной деятельности в Минске и в Москве. Слово о поэте в Комакадемии в Москве сказал народный комиссар просвещения РСФСР А. В. Луначарский. Начало нападок на творчество поэта вульгарно-социологических, критиков.

1932 — Май, 15. В газете «Литература и искусстве» Купала приветствует постановление ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных организаций», покончившее с групповщиной в литературной жизни республики.

На протяжении года. Празднование 50-летия со дня рождения; начало работы над переводами из «Кобзаря» Т. Шевченко.

1933 — Февраль — март. Участие в работе первого расширенного пленума оргкомитета СП БССР. Введен вместе с Я. Коласом в состав оргкомитета СП БССР.

Май — июнь. Находится в колхозе имени Белорусского военного округа Любанского района. Материалы из жизни коммунаров и рабочих этого колхоза легли в основу поэмы «Над рекой Орессой».

Июль, 6—13. В Ленинграде. Посетил завод «Красный путиловец» и умирающего профессора Б. И. Эпимах-Шипило.

1934 — Август — сентябрь. Участие в работе I Всесоюзного съезда советских писателей. Избирается членом Правления СП СССР.

1935 — Вновь избран членом ЦИК БССР. Участвует вместе с Яку бом Коласом в работе VII Всесоюзного съезда Советов.

28 мая СНК БССР принял постановление «О 30-летнем юбилее литературной деятельности народного поэта республики Янки Купалы». СНК БССР дарит Купале легковой автомобиль. Летом Купала в колхозе «X съезд Советов» (деревня Левки Оршанского района) создает большой так называемый Левковский цикл лирических стихов.

11 июля Купала награжден Почетной грамотой БССР. В октябре — в Чехословакии в составе делегации советских писателей и журналистов (вместе с А. Толстым, А. Фадеевым, А. Караваевой и др.).

1936 — Июнь. В Москве на похоронах М. Горького. Пишет стихотворение «Памяти Максима Горького».

Ноябрь — декабрь. Участвует в работе VIII Чрезвычайного съезда Советов СССР.

Выход сборника «Песня строительства».

1937 — Выход сборника «Белоруссии орденосной».

1938 — Купала болеет. В начале года — в Кисловодске, летом — в Левках, Городище (возле Минска) и в Копыле Минской области, в ноябре — в Цхалтубо, Тбилиси, Сухуми.

1939 — Январь, 31. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Ленина «за выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной литературы».

Февраль. Избран в состав президиума Правления СП СССР.

Март. Вышел из печати «Кобзарь» Т. Шевченко под редакцией Я. Купалы и Я. Коласа.

Сентябрь. Участвует в работе VII пленума Правления СП СССР, посвященного 1000-летию армянского народного эпоса «Давид Сасунский».

Сентябрь — октябрь. Пишет цикл стихов «На западнобелорусские мотивы».

Октябрь, 28–30. Принимает участие в работе Народного Собрания Западной Белоруссии в Белостоке, которое приняло Декларацию о включении Западной Белоруссии в состав БССР.

Декабрь, 24. Избрание депутатом Минского городского Совета.

1940 — Март, 24. Избран депутатом Верховного Совета БССР.

Июнь. В Москве на Декаде белорусского искусства.

26 июня награжден Почетной грамотой Верховного Совета Грузинской ССР за популяризацию грузинской литературы.

Ноябрь, 26. Выступает в Колонном зале Дома союзов в Москве на вечере, посвященном памяти А. Мицкевича.

На протяжении года. Празднование 25-летия творческой деятельности, завершённое творческим вечером в Московском клубе писателей 26 декабря.

1941 — Март, 15. Постановлением СНК СССР Я. Купале присуждена

Государственная премия СССР за сборник стихотворений «От сердца».

Май. В Вильнюсе. Встреча с народным поэтом Литвы Людасом Гирой.

Июнь. Принимает участие в работе Первого съезда писателей Латвийской ССР. Возвращаясь из Риги, заезжает в Каунас, где застаёт его начало Великой Отечественной войны. В Минск возвращается 23-го, на даче в Левках — 24—30-го.

Июль, 7. Вместе с женой приезжает в Москву.

Август, 10–11. Принимает участие в первом Всеславянском митинге в Москве. Живет в начале месяца вместе с Я. Коласом в Клязьме, в конце месяца переезжает в Чернореченское лесничество на Московско-Казанской железной дороге.

Сентябрь, 19. Пишет стихотворения «Белорусским партизанам» и «Грабитель».

Октябрь — ноябрь. По дороге в Казань останавливается вначале в Чебоксарах, затем — в поселке Печищи, с выездами в Казань.

1942 — Январь, 18. Выступил в Казани на радиомитинге представителей белорусского народа с речью.

Март, 12. Принял участие в научной сессии АН БССР в Казани, выступив с докладом «Отечественная война и белорусская интеллигенция».

Май, 19. Написал стихотворение «Вновь счастье обретем и волю».

Июнь, 28. Трагическая гибель Янки Купалы.

ИЛЛЮСТРАЦІИ



Янка Купала в дeтcтвe.



Вязинка — место рождения поэта.

Линогравюра Микола Купавы.



Мать поэта — Бенigna Ивановна Луцевич.



Отец поэта — Доминик Онуфриевич Луцевич.



Гусляр. По мотивам поэмы Янки Купалы «Курган».

Иллюстрация Василя Шеренговича.



Она и я. По мотивам одноименной поэмы Янки Купалы.

Иллюстрация Василя Шеренговича.



Владимир Иванович Самойло.



Винокурный завод в Яхимовщине возле Молодечно, где в 1906–1907 годах работал Янка Купала.



Молодой Янка Купала. 1908 г.



Лаздину Пеледа (Мария) — литовская писательница.



Тётка (Алоиза Пашкевич).



Здание редакции газеты «Наша нива».



«Наша нива» — первая белорусская газета.



Панорама старого Вильнюса.

Гравюра Миколы Купавы.



Янка Купала с беларускімі студэнтамі в Петербурге. 1910 г.



Профессор Б. И. Эжимах-Шпилло.



Петербургский кабинет Янки Купалы в квартире Б. И. Эжимах-Шпилло.



Павлина Меделка — первая исполнительница роли Павлинки в одноименной пьесе Янки Купалы. Петербург, 1913 г.



Владислава Станкевичанка. 1913 г.



Янка Купала. 1912 г.



Янка Купала и Владислава Станкевичанка в день свадьбы. 1916 г.



Номер газеты «Советская Беларусь», посвященный юбилею Янки Купалы. 1925 г.



Народные поэты Белорусской ССР Янка Купала и Якуб Колас. 1935 г.



Янка Купала.



Памятник Янке Купале в Минске.

Скульптор А. Аникейчик.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЯНКИ КУПАЛЫ НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ

- Збор творау. Т. 1–6. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1925–1932.
Збор творау. Т. 1–6. Мінск, Выдавецтва АН БССР, 1952–1954.
Збор творау. Т. 1–6. Мінск, Выдавецтва АН БССР, 1961–1963.
Збор творау. Т. 1–7. Мінск, «Навука і тэхніка», 1972–1976.
Жалейка. (Зборнік вершау). Пецяўбург, «Загляне сонца і у наша аконца», 1908.
Гусяр. (Зборнік вершау). Пецяўбург, Выданне А. Грыневіча, 1910 — латынскім шрыфтам.
Адвечная песня. (Паэма). Пецяўбург, Выданне А. Грыневіча, 1910.
Сон на кургане. (Паэма). Пецяўбург, «Загляне сонца і у наша аконца», 1912.
Шляхам жыцця. (Зборнік вершау). Пецяўбург, «Загляне сонца і у наша аконца», 1913.
Паўлінка. Сцэны з шляхоцкага жыцця у 2-х актах. Пецяўбург, «Загляне сонца і у наша аконца», 1913.
Раскіданае гняздо. Драма у 5-ці актах. Вільня, Выдавецтва Мінскага Камісарыята асветы, 1919.
Спадчына. (Вершы). Мінск, Белкаапвыдавецкае таварыства «Адраджэнне», 1922.
Безназоўнае. Зборнік вершау. Мінск, Белдзяржвыд., 1925.
Творы. 1918–1928. Мінск, Белдзяржвыд., 1930.
Над ракою Арэсай. (Паэма). Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1933.
Песня будаўніцтву. Вершы. Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1936.
Беларусі ардэнаноснай. (Вершы). Мінск, Дзяржвыд. БССР, 1937.
Ад сэрца. (Вершы). Мінск, Дзяржвыд. пры СНК БССР, 1940.
Публіцыстыка. Мінск, «Мастацкая літаратура», 1972.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ Я. КУПАЛЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

- Собрание сочинений. Т. 1–3. М., «Худож. лит.», 1982.
Избранные стихотворения в переводах русских поэтов. С биогр.

- очерком и портретом. Собрал и редактировал И. Белоусов. М., 1919.
Сборник стихов. М. — Л., Госиздат, 1930.
Над рекой Орессой. Поэма. М., Гослитиздат, 1933.
Избранные стихи и поэмы. 1906–1935. М., Гослитиздат, 1935.
Избранные произведения. М., Гослитиздат, 1938.
Пьесы. М. — Л., «Искусство», 1940.
От сердца. Стихи и поэмы (1933–1941). М., Гослитиздат, 1941.
Избранные произведения. В одном томе. М., ОГИЗ, 1943.
Избранное. Стихи и поэмы. М. — Л., Гослитиздат, 1950.
Собрание стихотворений. Л., «Сов. писатель», 1950 (Б-ка поэта. Большая серия).
Избранные произведения. В 2-х т. М., Гослитиздат, 1953.
Драматические произведения. М., «Искусство», 1955.
Стихотворения. Л., «Сов. писатель», 1956 (Б-ка поэта. Малая серия).
Стихотворения. М., Гослитиздат, 1959 (Б-ка сов. поэзии).
Стихотворения. М., Гослитиздат, 1962.
Купала Я. Стихотворения и поэмы. — Колас Я. Стихотворения и поэмы. М., «Худож. лит.», 1969 (Б-ка всемирной л-ры).
Избранное. Л., «Сов. писатель», 1973 (Б-ка поэта. Большая серия).
Стихотворения и поэмы. Пер. Н. Кислика. Минск, «Мастацкая літаратура», 1979.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ

И ТВОРЧЕСТВЕ ЯНКИ КУПАЛЫ

- Янка Купала у літаратурнай крытыцы. Мінск, 1928.
Янка Купала. (Зборнік матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці народнага паэта БССР Янкі Купалы). Мінск, Выдавецтва АН БССР, 1952.
Янка Купала. Зборнік матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці паэта. Мінск, Выдавецтва АН БССР, 1955.
Любімы паэт беларускага народа. Мінск, Выдавецтва АН БССР, 1960.
Народны паэт Беларусь Мінск, Выдавецтва АН БССР, 1962.
Такі ён быў. Успаміны пра Янку Купалу. Мінск, «Мастацкая літаратура», 1975.
Успаміны пра Янку Купалу. Мінск, «Мастацкая літаратура», 1982.
Янка Купала у беларускім мастацтве. Зборнік матэрыялаў. Мінск,

Выдавецтва АН БССР, 1958.

Народныя песняры. Да 90-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа. Зборнік артыкулаў. Мінск, Выдавецтва БДУ імя У. І. Леніна, 1972.

Пуцявінамі Янкі Купалы. Дакументы і матэрыялы. Укладальнік Г. В. Кісялёў. Мінск, «Навука і тэхніка», 1981.

Песні беларускай валадар. Мінск, Выдавецтва БДУ імя У. І. Ле-ніна, 1981.

Купалава і Коласава слова. Зборнік артыкулаў, Мінск, 1981 (Мінскі пед. ін-т імя А. М. Горкага).

Янка Купала і Якуб Колас. Некаторыя аспекты творчасці. Мінск, «Вышэйшая школа», 1982.

Янка Купала. Жыццё і творчасць. Альбом. Мінск, Дзяржаўнае вучэбна-педагагічнае выдавецтва Міністэрства асветы БССР, 1959.

Янка Купала. Жыццё і творчасць. Альбом. Мінск, «Народная асвета», 1972.

Бібліяграфія твораў Янкі Купалы. Ч. I. 1905–1917. Мінск, Выдавецтва АН БССР, 1955; Ч. II. 1917–1942. Мінск, Выдавецтва АН БССР, 1957; Ч. III. 1942–1960. Мінск, «Навука і тэхніка», 1972.

Янка Купала у літаратурнай крытыцы і мастацтвазнаўстве. Бібліяграфія. Мінск, «Навука і тэхніка», 1980.

Мозольков Е. Янка Купала. Жыццё і творчасць. М., 5-е изд. 1961.

Івашын В. Янка Купала. Творчасць перыяду рэвалюцыі 1905–1907 гг. Мінск, Выдавецтва АН БССР, 1952.

Ярош М. Драматургія Янкі Купалы. Мінск, Выдавецтва АН БССР, 1959.

Ярош М. Янка Купала і беларуская паэзія. Мінск, «Навука і тэхніка», 1971.

Ярош М. Пясняр роднай зямлі. Мінск, «Навука і тэхніка», 1982.

Навуменка І. Я. Янка Купала. Духоўны воблік героя. Мінск, «Вышэйшая школа». 1967; 2-е изд. доп., 1980.

Березкин Г. Мир Купалы. М., «Сов. писатель», 1973.

Бярозкін Р. Свет Купалы. — Звенні. Мінск, «Мастацкая літаратура», 1981.

Макарэвіч А. Ад песень і думак народных. Мінск, «Навука і тэхніка», 1965.

Макарэвіч А. Фальклорныя матывы у драматургі Янкі Купалы. Мінск, «Навука і тэхніка», 1969.

Шарахоўскі Я. Пясняр народных дум. (Нарыс жыцця і дзейнасці Купалы). Дакастрычніцкі перыяд. Мінск, «Навука і тэхніка», 1970.

Шарахоускі Я. Пясняр народных дум. Нарыс жыцця і дзейнасці Янкі Купалы. Савецкі перыяд. Мінск, «Навука і тэхніка», 1976.

Шотт И. Фольклор в творчестве Янки Купалы (дореволюционный период). М., «Наука», 1968.

Гульман Р. Тэксталагія творау Янкі Купалы. Мінск, «Навука і тэхніка», 1971.

Гаробчанка Т. Купалаўскія вобразы на беларускай сцэне. Мінск, «Навука і тэхніка», 1976.

Рагойша В. Напісана рукой Купалы. Архіўныя знаходкі, Мінск, Выдавецтва БДУ імя У. І. Леніна, 1981.

INFO

Лойко О. А.

Л 72 Янка Купала (Авториз. пер. с белорус. Г. Бубнова, И. Бурсова; Предисл. И. Шамякина. — М.: Мол. гвардия, 1982. — 351 с., ил. — (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр. Вып. 13 (630).

В пер.: 1 р. 40 к. 150000 экз.

Л 4702120200 — 300/078(02)—82 Без объявл

ББК 83.3Бел7

8С (Бел)2

ИВ № 3228

Олег Антонович Лойко

ЯНКА КУПАЛА

Редактор *В. Калугин*

Серийная обложка *Ю. Арндта*,

фотомонтаж на обложке *Л. Томчиной*

Художественные редакторы *Т. Войткевич, А. Степанова*

Технический редактор *Е. Брауде*

Корректоры *В. Авдеева, Т. Пескова*

Сдано в набор 10.06.82. Подписано в печать 13.12.82. А13356. Формат 84x108/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 18,48+0,94 вкл. Учетно-изд. л. 19,7. Тираж 150 000 экз. (1-й завод — 75 000 экз.). Цена 1 р. 40 к. Заказ 985.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Суццевская, 21.

Примечания

1

Зверобой (*бел.*).

Арендатор — в условиях пореформенной Белоруссии безземельный крестьянин или мелкий шляхтич, вынужденный арендовать помещичью землю, не имея на нее никаких прав и выплачивая непомерную арендную плату.

3

«Возьми три рубля! Иди купи веревку...» (польск.)

4

За две головы беру, как за два погребения... (польск)

5

Все равно (*польск.*).

Перевод В. Рождественского.

Я есть, я был, я буду (*старослав.*).

Католический приход.

«Quo vadis?» — название романа Г. Сенкевича о Древнем Риме. «Камо грядеши?» — перевод на старославянский язык датского «Quo vadis?» — «Куда идешь?».

Герой поэмы А. Мицкевича «Дяды».

Перевод В. Левина.

Перевод М. Горького.

Учитель (польск.).

России (*польск.*).

15

Не ожидал (*польск.*).

Волока — старинная мера земли, около 20 десятин.

Цветок (бел.).

Юношеская любовь А Мицкевича.

По-белорусски «обман» — мана.

Перевод М. Исаковского.

Священный огонь у литовцев-язычников.

Александр Блок. Основные мотивы поэзии. Туманы, Минск, 1909.

«Говори со мной, говори!» (польск.)

Виленская улица, № 36, квартира 11. Клише сохраняются.

Прототип Пранцыся Пусторевича.

Прототип Адольфа Быковского.

Вурбис А. Л. (1885–1922) — белорусский общественный деятель.

Буйпицкий И. Т. (1861–1917) — основатель белорусского профессионального театра.

Те самые, с дарственной надписью: «Отцу «Павлинки» от белорусских студентов»...

Полтора месяца, с 1 августа 1914 года, «Наша нива» — семь номеров — выходила в половинном объеме — одинарным листком.

Перевод В. Шефнера.

Февраль (белорус.).

Белорусская народная республика, провозглашенная буржуазными националистами как марионеточное государство в условиях оккупации Белоруссии немецкими войсками.

Перевод Э. Багрицкого.

Псевдоним белорусского писателя Я. Дылы.

Тыква (*белорус.*).

Члены литературного объединения «Молодняк».

Город в Северной Италии, славившийся в XV–XVII веках своим университетом.

Мачанка — мучное блюдо из сала, мяса, колбасы, приправ. *Верещака*, *тыцкало* — разновидности этого блюда.

Журавины — клюква (*белорус.*).

Члены литературно-творческих объединений «Маладняк» («Молодняк»), «Узвышша» («Возвышенность»), «Польмя» («Пламя») и БелАПП (Белорусская ассоциация пролетарских писателей и поэтов).

Кветочки — цветочки (*белорус.*).

Мова — язык, речь (*белорус.*).

Котлице — место, на котором когда-то стоял хутор (*белорус.*).

Defenzywa — охранная полиция в Польше в 1918–1939 годах (*польск.*).

Мужчин, женщин (*польск.*).

Окарина — итальянский народный музыкальный инструмент — глиняная дудка, звуком напоминающая флейту,

Падучие звезды (*белорус.*).

Рачили — имели в удовольствие (*древнебел.*).